

З.Н.ГИППИУС
З.Н.ГИППИУС
ЗАБЫТАЯ
КНИГА


ЗАБЫТАЯ
КНИГА

З.Н.ГИППИУС

СОБРАНИЕ СТИХОВ. 1889—1903

М., Скорпион, 1904

СОБРАНИЕ СТИХОВ. КНИГА ВТОРАЯ. 1903—1909

М., Мусагет, 1910

СТИХИ. ДНЕВНИК 1911—1921

Берлин, Слово, 1922

СИЯНИЯ

Париж, Дом книги, 1938

ЖИВЫЕ ЛИЦА

Прага, Пламя, 1925

З. Н. ГИППИУС

СТИХОТВОРЕНИЯ
ЖИВЫЕ ЛИЦА



Москва
«Художественная литература»
1991

ББК 84Р1
Г50

Вступительная статья, составление,
подготовка текста, комментарий

Н. А. Богомолова

Оформление художника

А. Семенова

Г $\frac{4702010106-414}{028(01)-91}$ без объявл.

ISBN 5-280-01327-7

ЛЮБОВЬ — ОДНА

(О творчестве Зинаиды Гиппиус)

Без этой фигуры представить себе русскую литературу самого конца прошлого и первой половины нынешнего века — невозможно. Зинаиду Гиппиус можно было любить и можно было едва ли не презирать, относиться к ней уважительно и с пренебрежением, но нельзя было закрыть глаза и сделать вид, что ее нет в литературе. Поэт, прозаик, авторитетный критик, душа многих общественных предприятий, непосредственно влиявших на литературу, она и сама не могла представить себя вне литературной и общественной жизни. Ее острый ум и блистательные беседы заставляли собеседников изощрять свои не только литературные, но и духовные способности, тренировать интеллект, оттачивать аргументацию в спорах. Само присутствие Гиппиус в литературе требовало от современников высвобождать те смыслы, которые были глубоко заложены в память и сознание. Гиппиус и Блок, Гиппиус и Брюсов, Гиппиус и Андрей Белый, Гиппиус и Горький — этот ряд можно длить и длить, но для серьезного разговора обо всех подобных темах надо прежде всего знать тексты Гиппиус — стихи, прозу, критику, дневники, письма, политические статьи...

Книга, которую получает сегодня читатель,— одна из первых, если не вообще первая на территории России после 1918 года. Тогда в холодном, голодном и темном Петрограде Гиппиус издала сборник, характерно названный «Последние стихи». Они были последними потому, что писались в последние дни мира, который она могла ненавидеть, но вне которого жизни себе не представляла. Ее пророчества о революции были всегда сугубо утопичными, и потому реальность той России, которая открылась ее глазам в конце 1917, в 1918 и 1919 годах (из

Петрограда она вместе с мужем Д. С. Мережковским и ближайшим другом Д. В. Философовым уехала 24 декабря 1919 года), не просто ужаснула ее, но вызвала почти невероятное для нас ощущение — ощущение скуки: «Даже в землетрясении, в гибели и несчастии совсем внешнем, больше жизни и больше смысла, чем в самой гуще ныне происходящего,— только начинающего свой круг, быть может» [1]. В революции ее ужаснула безличность массы, полностью подчиненной организующей воле сверху. В отличие от Блока, Белого, Ходасевича, многих молодых русских писателей того времени, она решительно отказывала революции в стихийном характере, в свободной воле людей, ее составляющих (и здесь она парадоксальным образом совпала с более поздней сталинской концепцией революции как подчинения стихийной силы нерушимой железной воле партии). Россия этого времени представлялась ей парализованной страной, которой управляет кучка трусливых, но могущественных вождей, опирающихся на жестокую вненациональную силу (в дневнике эта сила конкретизирована как латышские, башкирские и китайские полки). В отечестве уже не остается ничего дорогого ее столь неуспокоенному сознанию, направленному на выявление духовных возможностей человека.

С самых же первых революционных дней Гиппиус отчетливо заявляет о неприятии свершившегося и до конца жизни остается противником всего, что делается в России и СССР. Для нее не было и не могло быть примирения с новым строем, и это надо помнить совершенно отчетливо. Но нельзя помнить только это и вычеркивать имя Гиппиус из литературы лишь потому, что она заняла политическую позицию врага. Остается искусство, остаются стихи и проза, мемуары и критические статьи, воссоздающие духовный облик незаурядного человека, обладающего своим собственным взглядом на мир, задумывавшегося над теми проблемами, которые относятся к числу ключевых во всем существовании человечества на земле, видевшего нередко то, что оставалось скрытым для глаз других людей. Без произведений Зинаиды Гиппиус не только представление о литературе начала века будет неполным,— но само представление о широте русской мысли окажется недостаточным. Потому-то самые резкие и несправедливые ее высказывания должны войти в ту перекличку голосов, которую мы теперь стараемся расслышать, вглядываясь в русскую культуру начала двадцатого века,— одну из самых богатых и самых противоречивых культур, созданных историей человечества.

---

[1] Гиппиус Зинаида. Петербургские дневники (1914—1919). Нью-Йорк, 1982, с. 283.

* * *

«Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переменившего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию (в Москву) в XVI, кажется, веке из Мекленбурга» [1]. Впрочем, русской крови в Гиппиус было явно больше, чем немецкой: ее бабушка с отцовской стороны и мать были русскими. Отец служил по юридическому ведомству и жил в разных городах, которые Гиппиус с семьей объездила: Белеве (где она родилась 8 ноября 1869 года), Туле, Саратове, Харькове, Петербурге, Нежине. «Отец мой, все время прихварывавший, сильно простудился и умер (9-го марта 1881 г.) от острого туберкулеза. Умер молодым — ему не было еще 35 лет. После него осталось довольно много литературного материала (он писал для себя, никогда не печатал). Писал стихи, переводил Ленау и Байрона, перевел, между прочим, всего Каина» [2].

Бессистемное домашнее образование вполне соответствовало складу характера Гиппиус, которая, бурно увлекаясь интересовавшими ее темами, могла быть поразительно равнодушна ко всему прочему. На фоне интереса всей семьи к искусству выглядело совершенно естественным то, что с раннего детства она обращается к поэзии. В начале 1902 года она писала Брюсову: «В 1880 году, то есть когда мне было 11 лет, я уже писала стихи (причем очень верила во «вдохновение» и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги). Стихи мои всем казались «испорченностью», но я их не скрывала. Были довольно однообразны, не сохранились, но вот помню кусочки одного из самых первых:

Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю.

Любить людей — сам будешь в горе.
Всех не утешишь все равно.
Мир — не бездонное ли море?
О мире я забыл давно.

Я на печаль смотрю с улыбкой,
От жалоб я храню себя.
Я прожил жизнь мою в ошибках,
Но человека не любя...[3]

---

[1] Гиппиус З. Автобиографическая заметка.— Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 1914, с. 173.

[2] Там же, с. 174.

[3] ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 36. Выделено самой Гиппиус.

В ноябре 1888 года в журнале «Северный вестник» появилось первое стихотворение Гиппиус, а в январе 1889 года она вышла замуж за поэта Д. С. Мережковского. Уже на исходе жизни, начиная книгу о нем, она писала: «Мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день» [1].

Дальнейшая ее жизнь нашла отражение в мемуарах, которые читатель получает с выходом этой книги. Потому скажем лишь очень кратко о самом главном: оказавшись в Петербурге, Гиппиус попадает в литературную среду, причем группировавшуюся не только вокруг поддерживавшего ее журнала «Северный вестник», но и в гораздо более широкую, где были и молодые тогда поэты, и почтенные старые литераторы, и университетские профессора. Редактор «Северного вестника» Л. Я. Гуревич вспоминала о ней в те годы: «Худенькая, узенькая, с фигурою, какие потом называли декадентскими, в полукоротком платье, с острым и нежным, будто чахоточным лицом в ореоле пышных золотых волос, ниспадающих сзади толстою косою, с светлыми прищуренными глазами, в которых было что-то зовущее и насмешливое, она не могла не обращать на себя всеобщего внимания, прельщая одних, смущая и раздражая других. Голос у нее был ломкий, крикливо-детский и дерзкий. И вела она себя как балованная, слегка ломающаяся девочка: откусывала зубами кусочки сахару, которые клала «на прибавку» в стакан чаю гостям, и говорила с вызывающим смехом ребячливо откровенные вещи» [2]. Среди поклонников не только ее таланта, но и красоты был известный в то время поэт Н. М. Минский, несколько позже — критик А. Л. Волынский. Однако, сколько можно судить по записям в интимном дневнике Гиппиус, ни разу ее «влюбленность» (частое для нее слово) не переходила в настоящую любовь и отношения неизменно оставались чисто платоническими.

Брак с Мережковским был для Гиппиус источником не только литературных знакомств и связей, но и сильнейшим стимулом к собственному идейному самоопределению. В 1890-е годы Мережковский активно вырабатывал систему взглядов, в становлении которой Гиппиус принимала деятельнейшее участие, так что некоторые мемуаристы даже писали о том, что большинство идей Мережковского было заимствовано им у Гиппиус и лишь разработано самостоятельно. Сейчас это уже трудно утверждать с полной определенностью,

---

[1] Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 5.

[2] Русская литература XX века, т. 1, с. 240.

но, во всяком случае, сказать о некоей совместной воле к сотворению идейных концепций необходимо.

Особенно усилилась активность Гиппиус к концу девяностых годов, когда для нее и для Мережковского на первое место вышли проблемы нового религиозного сознания, а центр литературной деятельности переместился из «Северного вестника» в «Мир искусства».

В самые первые годы двадцатого века религиозное дело Мережковских получает свое материальное воплощение: в конце 1901 года они с присоединившимся незадолго до того к ним Д. В. Философовым создают свою собственную церковь и начинают в ней богослужения, а 29 ноября 1901 года в зале Географического общества состоялось первое Религиозно-философское собрание, которые Гиппиус долгое время считала едва ли не главным делом своей жизни.

С 1903 года стал выходить журнал «Новый путь», главными вдохновителями которого были Мережковские и — конкретнее — именно Гиппиус. После закрытия собраний 5 апреля 1903 года и все более нарастающих трудностей с ведением журнала Гиппиус в конце концов теряет к нему интерес и уходит в другие сферы деятельности. В годы революции 1905 года на первый план вышли проблемы общественные. Общее направление исканий Гиппиус в те годы точно определено З. Минц: «...годы Первой русской революции — это время наибольшего политического радикализма Мережковских. Враждебные марксизму, они, однако, сближаются с эсерами и особенно — с неопределенным «неонародничеством» второй половины 1900-х гг.» [1]. Природа и эволюция этого радикализма еще нуждаются в исследовании и осмыслении, но ясно уже и сейчас, что более всего он проявлялся в сфере духовных и религиозных исканий, когда «общественность» неизбежно возводилась к сфере интересов отдельной личности. Будучи в годы Первой революции решительной противницей идей Вяч. Иванова, она, очевидно, могла бы согласиться с его мыслями, изложенными несколько позднее, в промежутке между Февралем и Октябрем: «Революция или оставит на месте России «груду тлеющих костей», или будет ее действительным перерождением и как бы новым, впервые полным и сознательным воплощением народного духа. Для истинного свершения своего в указанном смысле она должна явить целостное и, следовательно, прежде всего религиозное самоопределение народа» [2].

---

[1] Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими.— Блоковский сборник, IV. Тарту, 1981, с. 157.

[2] «Народоправство», 1917, № 14, с. 5.

Потому парижские годы Мережковских (они уехали туда 14 марта 1906 года и вернулись летом 1908-го) стали годами не только политических поисков, но и временем окончательного оформления религиозных чаяний той малой ячейки, которая оформлялась в церковь Третьего Завета.

Вернувшись в Россию, Мережковские оказались в новой для себя литературной ситуации: на них смотрят как на прославленных писателей, обладающих большим авторитетом, явно выходящим за пределы того сравнительно узкого круга, в каком они вращались в начале века. Мережковский на некоторое время становится редактором беллетристического отдела почтенного журнала «Русская мысль», Гиппиус регулярно там печатается (и не только при Мережковском, но и при сменившем его Брюсове). Религиозные искания в эти годы отодвигаются на второй план, уступая задачам собственно литературным и отчасти общественным.

Многое в их жизни опрокинул 1914 год. Война с самого начала была осознана Гиппиус как губительное событие в жизни всей Европы, а особенно России: «Как-то вечером собрались у Славинского ⟨...⟩ Говорили все. Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну по существу, как таковую, отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыш новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников» [1]. Распад самодержавия, с такой психологической отчетливостью описанный в «Маленьком Анином домике», вызывал все большее презрение, и Февральскую революцию Гиппиус восторженно приветствовала, видя в ней возможность коренного изменения судеб России, возрождение идей, вдохновлявших еще декабристов. В первые же дни Октября для нее все рухнуло: «Вот холодная черная ночь 24—25 Октября. Я и Д. С., закутанные, стоим на нашем балконе и смотрим на небо. Оно в огнях. Это обстрел Зимнего дворца ⟨...⟩ На другой день,— черный, темный, мы вышли с Д. С. на улицу. Как скользко, студено, черно... Подушка навалилась — на город? На Россию? Хуже......» [2]

После перехода польской границы, Гиппиус, Мережковский и Философов на некоторое время обосновываются в Варшаве, где занимаются агитационной деятельностью, много печата-

---

[1] Гиппиус Зинаида. Петербургские дневники, с. 100—101.
[2] Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. с. 226.

ются в газете «Свобода», полностью подчиняясь ее политической программе. Однако вскоре Мережковские разочаровались и в личности Пилсудского, в котором на какое-то время увидели человека, способного спасти не только Польшу, но и Россию, а также в тактике их близкого друга Б. Савинкова. Вскоре после подписания мира между Польшей и Советской Россией, 20 октября 1920 года Мережковские покинули Варшаву (Философов так там и остался). Через Висбаден они перебираются во Францию, где живут уже до самой смерти. Однако в эти последние двадцать пять лет творческая и жизненная активность Гиппиус явно уменьшается: постоянной работы в газете или журнале у нее не было, книги удавалось издавать с трудом, все меньше находилось желающих принимать участие в кружках. Мережковские оказывались во все большей и большей изоляции, которая скрашивалась только заботами нескольких верных друзей, особенно постоянного их секретаря В. А. Злобина.

Нередко приходилось читать о сотрудничестве Гиппиус с немцами во время фашистской оккупации. Согласно разысканиям ее наиболее компетентного биографа Темиры Пахмусс, эти сведения оказываются неверными. Она презирала Гитлера и ненавидела его тоталитарный режим, однако в принципе считала, что если ему удастся сокрушить советскую власть, то даже его правление будет оправдано. Но после вторжения Гитлера во Францию Гиппиус заняла по отношению к Германии непримиримую позицию, сохраняя надменное молчание. К сожалению, этого не сделал Мережковский: в 1939 году он выступил по радио с речью, в которой «сравнивал Гитлера с Жанной д'Арк, призванной спасти мир от власти дьявола, говорил о победе духовных ценностей, которые несут на своих штыках немецкие рыцари-воины, и о гибели материализма, которому во всем мире пришел конец» [1]. Чуть ниже тот же мемуарист вспоминает: «Мережковского, как говорили потом уже, после освобождения, увлекли на немецкое радио В. Злобин и одна их иностранная знакомая, думая, что подобное выступление может облегчить их материальное положение,— без ведома З. Гиппиус, которая якобы чуть не умерла от возмущения и негодования, когда узнала о злополучной речи» [2]. Наконец, в письме к Темире Пахмусс он же написал: «После речи она сказала Дмитрию Сергеевичу: «Теперь мы погибли!» [3]

---

[1] Терапиано Юрий. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. 1924—1974. Париж — Нью-Йорк, 1987, с. 94.

[2] Там же, с. 95.

[3] Pachmuss Temira. Zinaida Hippius. An Intellectual Profile. Carbondale e. a., 1971, p. 283.

Впрочем, Мережковский прожил после этого недолго: он скончался 7 декабря 1941 года. Гиппиус пережила его менее чем на четыре года и умерла 9 сентября 1945-го. За два года до смерти она начала книгу о Мережковском, и хотя некоторые их знакомые пишут, что умственные способности Гиппиус в это время оказались резко ограниченными, текст книги, как представляется, доказывает обратное. Книга оборвалась буквально на полуслове, как на полуслове оборвалась сама жизнь Зинаиды Гиппиус, за много лет писательской своей биографии так и не обретшей внутренней успокоенности.

По-настоящему о творчестве Гиппиус на русском языке еще должны быть написаны книги, исследующие ее биографию, восстанавливающие канву ее журнальных и газетных предприятий, рассказывающие о внутренней истории Религиозно-философских собраний, говорящие о взаимоотношениях Гиппиус с крупнейшими русскими писателями и мыслителями своего времени. Пытаться определить ее писательскую индивидуальность, принципы ее мировоззрения без всего этого было бы в высшей степени самонадеянно. Поэтому, представляя поэзию и мемуары Гиппиус современному читателю, мы попробуем лишь в самых общих чертах восстановить то, что удается определить с достаточной степенью несомненности, то, о чем достоверно известно.

И прежде всего следует сказать, что наиболее чуткие критики, да и сама Гиппиус говорили, что ее стихи и рассказы, романы и повести, критические статьи и мемуары вовсе не представляют собой явления, обладающего принципиальной самоценностью.

Рецензируя сборник ее рассказов «Алый меч», В. Я. Брюсов писал: «Почти все последние рассказы г-жи Гиппиус тенденциозны. По-видимому, автор и писал их не столько по побуждениям чисто художественным, сколько с целью выявить, выразить ту или иную отвлеченную мысль» [1]. Правда, в начале рецензии он оговаривается, что относит это лишь к прозе Гиппиус, тогда как ее стихи перерастают рамки этой чистой тенденциозности. Но если вспомнить, что сама она говорила о своих стихах как о молитвах (а ведь суть молитвы не в ее форме и не в безукоризненной точности слов, а единственно в смысле), что в предисловии ко вполне беспомощным стихам Б. Савинкова всерьез писала об их значении для русской литературы, да и вообще упорно отстаивала право представлять в качестве художественного явления «человеческие документы», то есть сколь угодно мало обработанные сви-

---

[1] Золотое руно, 1906, № 12, с. 154.

детельства человека о своем душевном опыте, то, очевидно, следует признать, что и разговор о ее собственном творчестве следует начинать не с того, что находится непосредственно в нем, на страницах книг, а с той духовной реальности, с которой начинается путь к произведению.

Рассказывая о разных принципах отношения к жизни у себя и у Мережковского, Гиппиус вспоминала: «У него — медленный и постоянный *рост*, в одном и том же направлении, но смена как бы *фаз*; изменение (без измены). У меня остается раз данное, все равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется. Росту предела или ограничения мы не можем видеть (кроме смерти, если дело идет о человеке). А распускающемуся цветку этот предел видим, знаем заранее» [1]. Казалось бы, это рассуждение вступает в противоречие с не раз вспоминавшимися различными мемуаристами прихотливыми капризами ума Гиппиус, неожиданными изгибами душевной и духовной биографии, переходами от одного строя мыслей к другому, казавшемуся прямо противоположным. Но подобная самооценка должна в то же время побудить исследователя отыскать в миросозерцании Гиппиус основные, опорные константы, которые могли бы приоткрыть дверь в ее творчество.

В одном из стихотворений, не вошедших в прижизненные книги стихов, Гиппиус дала свою формулу ви́дения мира:

Тройною бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам.
И разве поэты не говорят
Только об этом?
Только об этом?

Тройная правда — и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте.
Только об этом думает Бог:
О человеке.
Любви.
И Смерти [2].

Человек, Любовь, Смерть, Бог — вот главные темы, вокруг которых неизменно концентрируется творчество Гиппиус, и эта концентрация является отражением идейных исканий, заполняющих все существо поэта.

---

[1] Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский, с. 42.

[2] Современные записки, 1927, кн. XXXI, с. 247.

Главное в этой тетраде, конечно,— Бог. В полноте судить о проблемах религиозного мышления Гиппиус пока что явно рано. Дело здесь не только в том, что многие документы ее миросозерцания пока что не стали не только предметом рассмотрения, но даже и не опубликованы, а прежде всего в том, что важнейшие аспекты этого миросозерцания остаются в сфере «несказáнного», невыразимы человеческими словами. Если это было так для Гиппиус, привыкшей открыто обсуждать самые насущные проблемы религиозного сознания со знакомыми, полузнакомыми и вовсе незнакомыми людьми, то тем более это верно для нас, во многом утративших ключи к самому строю мысли, в котором развивались идеи Гиппиус.

Если все же попробовать сделать это, назвать таинственное своим именем, то вернее всего начать с формулировки, данной ей самой в автобиографии: «Центр же, сущность коренного миросозерцания, к которому привел меня последовательный путь,— невыразима «только в словах». Схематически, отчасти символически, сущность эта представляется в виде всеобъемлющего мирового Треугольника, в виде постоянного соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных, всегда трех — и всегда составляющих Одно.

Воплощение этого миросозерцания в словах и, главное, *в жизни* — необходимо, и оно будет. Не под силу нам — сделают другие. Это все равно,— лишь бы было» [1].

Тройственность природы мироздания открывается Гиппиус в самых различных сферах бытия, от самых фундаментальных до низших, относящихся к частной жизни отдельного человека. Впрочем, определение «низшие» здесь не вполне точно, ибо в мире Гиппиус (как, впрочем, и в представлении большинства русских символистов) все переплетено неразрывно, и в клочке, вырванном из мироздания, все оно отражается так же отчетливо, как и во всем своем объеме, микрокосм есть точное подобие макрокосма.

Для того чтобы представить себе, как эта тройственность распространялась на все миросозерцание, выслушаем мнение основательного знатока жизни и творчества Гиппиус: «Гиппиус также различала три фазы в своей концепции истории человечества и его будущего. Эти фазы представляют три различных царства: царство Бога-Отца — царство Ветхого Завета; царство Бога-Сына, Иисуса Христа — царство Нового Завета и нынешняя фаза в религиозной эволюции человечества, и царство Бога — Духа Святого, Вечной Женщины-Матери — цар-

[1] Русская литература XX века, с. 177.

ство Третьего Завета, который откроется человечеству в будущем. Царство Ветхого Завета открыло Божью мощь и власть как правду; царство Нового Завета открывает правду как любовь, а царство Третьего Завета откроет любовь как свободу. Третье и последнее царство, Царство Третьего Человечества, разрешит все существующие неразрешимые антитезы — пол и аскетизм, индивидуализм и общественность, рабство и свобода, атеизм и религиозность, ненависть и любовь» [1].

И в эту тройственность должен войти человек в трех своих ипостасях, символизируемых числами 1, 2 и 3. 1 — это человек как личность, лишенная внешних связей и тем самым обреченная на безнадежное существование в мире. Это тем более важно, что на основании такого представления Гиппиус решительно отвергает индивидуализм, столь важный для раннего русского символизма в его декадентских изводах. Ни сологубовский солипсизм, ни подчеркнутое прославление отдельной личности, стоящей вне человеческих мерок, характерное для раннего Брюсова, ни тем более декадентские выходки поэтов типа Александра Добролюбова для Гиппиус как внутренняя движущая сила не существовали. Непременной стадией бытия для нее становилось 2 — объединение двух личностей в любви, в некоем идеальном действе, из которого практически устранена «похоть» (как то и происходило в реальном тройственном союзе Мережковских и Философова) и стремление к деторождению, но зато особое значение приобретает духовное единение двух человеческих индивидуальностей, опять-таки «нераздельных и неслиянных». Но полное свое разрешение любовь могла найти только в том случае, если к двоим присоединяется третий — Бог, незримо, но явственно присутствующий в их союзе. Завершение мистического треугольника придает особую крепость и нерушимость всему происходящему.

С точки зрения современного человека, воспринимающего «несказа́нности» Гиппиус без их личностного мистического ореола, это может выглядеть смешным, наивным, утопическим. Однако именно на этом основании базировалось все миросозерцание Гиппиус, становившееся основой не только для нового религиозного действа, реально существовавшего в природе, но и для ее творческого развития как поэта, прозаика, критика. И все же, видимо, если бы творчество Гиппиус было ценно только этим, то есть выражением нового религиозного сознания, представлением о грядущем Царстве Третьего Завета, о новой церкви, основанной Мережковскими и

---

[1] Pachmuss Temira. Op. cit., p. 104—105.

Философовым [1], то вряд ли бы мы с таким интересом перечитывали ее произведения сейчас. Религиозные идеи Гиппиус, находившиеся в совершенно особой сфере по отношению к историческому христианству и исторической церкви [2], имели слишком малое распространение при жизни, а после смерти Мережковских и вообще ушли из сознания русского общества. Но творчество ее, помимо значения религиозного и мировоззренческого, несет в себе значение и чисто художественное, не пропадающее со временем, как не может пропасть явление искусства вообще.

В книге, находящейся перед глазами читателя, публикуются те части литературного наследия Гиппиус, которые, с нашей точки зрения, сохранили свое значение для современности в наибольшей степени: стихи и мемуары. Стихотворения дают представление о той жизни духа, которая была столь напряженна у Гиппиус все ее долгие годы, а мемуары представляют ее отношения со многими выдающимися русскими писателями, причем рисуются в них не только портреты различных людей, но и вполне отчетливо виден портрет самой Гиппиус.

Нынешнему читателю, привыкшему иметь дело с поэзией А. Ахматовой или М. Цветаевой, стихи Гиппиус могут показаться странными, не вмещающимися в традиционное представление о «женской поэзии». Прежде всего — она ведет речь все время от лица мужчины. В одном из немногих случаев, когда стихотворение было написано в женском роде, Гиппиус сразу же столкнулась с волной непонимания и неприятия, ее героиня (причем вполне абстрактная — Боль) была отождествлена критиками и пародистами с ею самой, и анекдотические выводы, сделанные из этого отождествления, были тут же сделаны достоянием прессы. В стихах хотели видеть истинное лицо поэтессы, тогда как она предпочитала прятаться за маской некоего отстраненного повествователя.

---

[1] Наиболее подробное описание этой церкви, ее обрядности и символики содержится в дневнике Гиппиус, озаглавленном «О Бывшем» (Возрождение, 1970, № 218—220). В литературе, доступной советскому читателю, назовем воспоминания М. Шагинян «Человек и время».

[2] Довольно скептически настроенный по отношению к этой идее Брюсов записывал в дневнике: «После говорили о церкви, близки ли они к ней. Шла речь о том, должно ли причащаться.— Я думаю, что если б я умирала, меня причастил бы ты, сказала Зиночка Д. С. Он же колебался, не лучше ли позвать священника, но после решил, что и его может причастить Зиночка. ⟨...⟩ Все это не в шутку, а просто серьезно. О том, что такое ад и рай. Спорили долго, совершился ли уже страшный суд в мире феноменальном или нет. Бред и нелепость» (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16).

И смешно искать в ее стихах открытого выражения эмоций, непосредственных переживаний, той спонтанности чувства, что характерна, скажем, для Цветаевой. В одном из писем к писательнице В. Д. Комаровой Гиппиус так сформулировала основной принцип своего писательства: «Я, без всякой «женской» скромности, очень искренно считаю себя неспособной к вещам трезвым, сочным, как я выразилась — «из плоти и крови». Именно теперь я пишу подобную вещь (в последний раз!) и с каждой строкой в отчаянии повторяю: не то! не то! И веселья никакого нет в писании, душа участвует лишь наполовину, и я с нетерпением жду момента, когда опять начну что-нибудь в моем духе — на пол-аршина от земли» [1]. Написано это о прозе, но и в стихах, которым Гиппиус придавала особое значение [2], тоже есть подобное же отношение к материалу. Они всегда несколько абстрагированы от времени и места действия и в большинстве случаев представляют собой текст или развивающий какую-то идею в чистой форме, как идеальное представление, или же существующий в виде прямой молитвы. В ранней книге Мариэтты Шагинян, посвященной поэзии Гиппиус, даже сделаны подсчеты: «Перед нами в обеих книгах всего 161 стихотворение. Из них более пятидесяти являются выражением отношения автора к Богу, прямого или косвенного, с неизменным упоминанием имени Божьего; причем одиннадцать из этих стихотворений ⟨...⟩ суть прямые — по форме и содержанию — молитвы, сознательно облеченные автором в стихотворную форму» [3]. Вряд ли такое ответственное заявление могло быть сделано без санкции самой поэтессы, с которой Шагинян долгое время тесно общалась.

И действительно, многие стихотворения Гиппиус являются перед нами не как молитвы в том переносном смысле этого слова, в каком всякая истинная поэзия есть молитва, то есть словесно сформулированное отношение к мирозданию, а как молитвы конкретные, созданные в состоянии предельно обостренной нужды в ответе, причем ответе действенном. Очевид-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154.

[2] В том же письме она говорила: «Ничто в мире не доставляет мне такого наслаждения, как писание стихов — может быть, потому, что я пишу по одному стихотворению в год — приблизительно. Но зато после каждого я хожу целый день как влюбленная, и нужно некоторое время, чтобы придти в себя».

[3] Шагинян Мариэтта. О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус. М., 1912, с. 11. В список стихотворений-молитв она занесла следующие: «Молитва», «Стук», «Дорога», «Нескорбному Учителю», «Христу», «О другом», «Страх и Смерть», «Божья тварь», «Брачное кольцо», «Оправдание», «Возьми меня».

но, эта «предельность» [1] и производит столь сильное впечатление на читающего стихи Гиппиус и сейчас. Известна фраза Блока, определившего поэзию Ахматовой так: «Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом». Очевидно, что по отношению к Ахматовой это несправедливо, но зато обратное по отношению к Гиппиус справедливо вполне. Она действительно пишет свои стихи как бы в постоянном предстоянии пред Богом, и отсюда проистекают и сильные, и слабые стороны ее поэзии. Напряженность чувства, искренность мысли, обостренное ощущение всякого душевного излома, всякой перемены в том изменчивом строе души, который вызвал стихотворение к жизни,— все это заставляет прислушиваться к ее словам. В то же время постоянное стремление каждую минуту чувствовать себя «пред Богом», ведущее к искусственному взвинчиванию переживаний, ведет к тому, что всякая «несказáнность» стремится непременно быть названной, и из этого проистекает шокировавшая многих современников поэтессы устремленность к «последним вопросам», незаметно переходящая в легкомысленное жонглирование высокими понятиями. Читая стихи Гиппиус, надо помнить и то ощущение, которое испытала при первом знакомстве с Мережковскими выдающаяся русская женщина — мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева: «Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу:

— С кем вы — с Христом или с Антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны, что революция — это раскрытие Третьего Завета. Слышу бесконечный поток последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная обнаженность, все наружу, все почти бесстыдно 〈...〉 Разве я не среди безответственных слов, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освобождаться» [2].

Для нашего времени это ощущение уже почти утеряно, поскольку изменилась атмосфера, окружающая сегодняшнего читателя в повседневности. Но помнить об этой грани творчества Гиппиус необходимо. Необходимо сказать и о том, что в своей уверенности в собственной правоте Гиппиус далеко не

---

[1] Как писала та же Шагинян: «Когда уже нельзя идти дальше, душа останавливается, замкнутая, у крайних границ, еще не раздвинутых,— и минута ее запечатлевается автором в стихотворении» (Шагинян Мариэтта. О блаженстве имущего, с. 16).

[2] Александр Блок в воспоминаниях современников, т. II. М., 1980, с. 63—64.

всегда была склонна слышать другие голоса, имеющие собственную правду, собственное представление о мире и о законах, определяющих его бытие. С наибольшей наглядностью это выразилось в стихах, написанных сразу же после Октябрьской революции. Разглядев одну сторону происходящего, Гиппиус описала ее с той художественной силой, которая делает стихотворение убедительным, заставляет в него поверить, даже если ты не согласен с автором. Была ли сторона, увиденная поэтессой в революции, на самом деле? Бесспорно, была. Но видеть только ее, слушать только этот голос, замыкать свой слух от музыки революции и слышать лишь ее вой и визг, было одним из проявлений односторонности поэтессы в ее отчаянной борьбе за собственное понимание сущности мира.

Рассказ о поэзии Гиппиус будет заведомо неполным, если не сказать о том значении, которое она приобрела в истории русского стиха. Гиппиус была одной из первых, кто начал еще давным-давно, в конце XIX века, разрабатывать нестандартные метры и ритмы, экспериментировать со строфикой (в частности, оригинально разрабатывать русский сонет). В свои книги она избегала включать открытые эксперименты, но стоит отметить, что многое в них предвосхищает искания футуристов. Скажем, поиски рифмы к главенствующему в стихотворении или строке слову, как то было со словом «истина», сразу вызывают в памяти современного историка поэзии строки из статьи Маяковского «Как делать стихи»: «Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало» [1]. А цитируемые в воспоминаниях о Брюсове «Несогласные рифмы», опубликованные в 1911 году, отвергают претензии футуристов, заявлявших: «Передняя рифма (Давид Бурлюк), средняя, обратная рифмы (Маяковский) разработаны нами»[2]. Но и основная рифма, которой так широко пользуются в наши дни Евтушенко и Ахмадулина, также была опробована Гиппиус. На фоне достаточно гладких стихов конца XIX века, когда почти никто из поэтов не решался систематически выходить за пределы классической метрики, Гиппиус давала образцы новизны не только в содержательной стороне стиха, но и в его форме. Да и в начале двадцатого века, когда эксперимент стал для поэтики понятием вполне законным, она демонстрировала свое умение отыскать в русском стихе те возможности, которые нередко даже не подозревались.

---

[1] Маяковский Владимир. Полн. собр. соч., т. 12. М., 1959, с. 106.

[2] Там же, т. 13, с. 246.

Одним словом, стихотворения Гиппиус — от самых первых и до самых последних, вошедших в сборник «Сияния»,— бесспорно, мечены неповторимым клеймом автора, знаком его поэтической индивидуальности, делающей понятие «поэзия Зинаиды Гиппиус» совершенно конкретным, сразу вызывающим в памяти не отдельные удачные строки, а впечатление о целостном художественном мире, наделенном своими законами, своими внешними формами, своей логикой, географией, течением времени,— словом, всем тем, что мы требуем от мира настоящего поэта.

Этот внутренний мир, теснейшим образом связанный с внутренним миром Гиппиус-человека, главенствует и в мемуарной книге «Живые лица», впервые представляемой советскому читателю. Шесть очерков, объединенных в два выпуска пражского издания, вводят в наше поле зрения Блока, Брюсова, Сологуба, Розанова и старших современников Гиппиус, уже для нее отодвигавшихся в область предания (Плещеева, Полонского, Майкова, Григоровича, Вейнберга, Суворина...). Но, как и во всяких мемуарах, личности эти показаны нам не в объективности их существования, а в том восприятии, которое было обусловлено личностью мемуаристки. Повторимся: так происходит всегда. Но в случае с «Живыми лицами» об этом надо говорить постоянно и особенно настойчиво, поскольку чрезвычайно сильная и оригинальная личность Гиппиус преломляет события и впечатления от них таким образом, что нередко может создаться впечатление определенно кривого зеркала. Внутренно безответственный Блок, растерянный под демонической маской Брюсов, барственный Плещеев, духовно живой и внутренно молодой Суворин,— как все это не похоже на наши традиционные представления о них! Время от времени возникает потребность возразить Гиппиус, крикнуть: «Нет! не так! не верю!» — но силой своего таланта она продолжает убеждать и заставляет в конце концов поверить, что ее персонажи были именно такими.

Немного опомнившись, отойдя от непосредственного впечатления, вспомнив другие воспоминания и суждения, начинаешь понимать, что большая правда мемуаров Гиппиус состоит в том, что ее герои были *и* такими, могли восприниматься *и* так, как воспринимала их она. И тогда действительно начинаешь припоминать, что в Блоке было нечто от вечного ребенка, окруженного любящей родней, от которой он то спасался и убегал, то возвращался в их любезные объятия; начинаешь по-иному оценивать черновики брюсовских писем к Гиппиус, где он нарочито изощряет свою мысль и чувство, чтобы создать впечатление большей глубины, а Гип-

пиус легко парирует его изощренности, как бы даже не замечая их; начинаешь понимать справедливость концепции людей шестидесятых годов как внешних материалистов, но в глубине души так глубоко и чисто верующих в грядущее торжество правды и справедливости, что оказываются всего на шаг от той веры, которую Гиппиус исповедовала всю свою жизнь...

Конечно, как единственный источник ее мемуары приняты быть не могут,— слишком много субъективного вложила в них Гиппиус, слишком решительно она открещивается от тех воспоминаний, которые выглядят для нее нелестными. Так, в «Моем лунном друге» она стремится объяснить нередкие охлаждения в отношениях с Блоком причинами чисто внешними, не имеющими связи с внутренним смыслом существования двух поэтов, тогда как на самом деле (и это отлично показано З. Г. Минц [1]) встречи и расхождения Блока с Гиппиус и Мережковским были вызваны глубинными обстоятельствами его духовного развития, в существовании которого, впрочем, Гиппиус вообще сомневалась. Столь же тщательно она затушевывает историю с исключением Розанова из Религиозно-философских собраний, которая для Мережковского, незадолго до того уличенного тем же Розановым в связях с Сувориным и готовности печататься в «Новом времени», выглядит весьма некрасиво (впрочем, мы вовсе не имеем в виду, что Розанов в данной ситуации был невинен). Возводит она немало напраслины и на Брюсова, и на Горького, что легко опровергается документами и воспоминаниями других их современников, не верить которым в данном случае нельзя.

Так что скажем читателю, желающему сквозь мемуары Гиппиус увидеть эпоху такой, какова она была на самом деле, что это можно сделать лишь в том случае, если постоянно сличать описанное с другими мемуарами и документами, имея постоянно в виду, что и в любых других мемуарах, сколь бы добросовестны они ни были, могут встречаться и субъективные толкования, и ошибки памяти, и излишняя доверчивость к слухам; да и документы, по мудрому слову Тынянова, могут «врать, как люди».

Но и в этом случае воспоминания ее останутся ценнейшим историческим источником не только потому, что рассказывают об очень значительных событиях, о которых не мог рассказать никто другой, но и потому, что через текст мы видим саму Гиппиус, лицо для русской культуры того времени чрезвычайно важное. Не прячась за мнимую объективность,

---

[1] См.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими.— Блоковский сборник, IV. Тарту, 1981.

она рисует сложную картину, в которой явственно очерчивает свое собственное место, тем самым делая воспоминания свидетельством вдвойне ценным. В этом свете приобретают свое значение умолчания, намеренные и ненамеренные искажения действительности: они в той же степени, что и произнесенное, дают читателям «Живых лиц» возможность увидеть и понять роль Гиппиус в литературном и общественном движении эпохи.

* * *

Долгое время официозное литературоведение пыталось выбросить Зинаиду Гиппиус из истории русской культуры начала века, сделать вид, что весьма нелестные (что вполне естественно) горьковские оценки полностью исчерпывают необходимость говорить о Гиппиус как о писателе и как о деятеле культуры. На самом же деле это приводило лишь к одному: к возникновению различных мифов, которые то низвергали ее творчество безо всяких оговорок (как, впрочем, и творчество Сологуба, Ходасевича, Гумилева, Набокова — и несть числа прочим), то, муссируясь в неофициальном мышлении, придавали ему значение чрезвычайное. Нынешнее издание — первая ступень к тому, чтобы можно было оценить сделанное ею без гнева и пристрастия, с той полнотой знания, которая только и может создать живую картину жизни литературных и идейных исканий как в сфере религиозных, так и в сфере чисто общественных, политических столкновений, без чего невозможно понять наше прошлое, а следовательно — и наше настоящее, столь нуждающееся в оценке и истолковании.

Н. А. Богомолов

СТИХОТВОРЕНИЯ

СОБРАНИЕ СТИХОВ. 1889-1903

НЕОБХОДИМОЕ О СТИХАХ

Стихи мои я в первый раз выпускаю отдельной книгой, и мне почти жаль, что я это делаю. Не потому, что их написано за пятнадцать лет слишком мало для книги, и не потому, что считаю мою книгу хуже всех, без счета издающихся стихотворных сборников: нет, я думаю — она и хуже, и лучше многих; но мне жаль создавать нечто совершенно бесцельное и никому не нужное. Собрание, книга стихов *в данное время* — есть самая бесцельная, ненужная вещь. Я не хочу этим сказать, что стихи не нужны. Напротив, я утверждаю, что стихи нужны, даже необходимы, естественны и вечны. Было время, когда всем казались нужными целые книги стихов, когда они читались сплошь, понимались и принимались. Время это — прошлое, не наше. Современному читателю не нужен, бесполезен сборник современных стихов. Это и не может быть иначе, и вина (если тут есть вина) лежит столько же на читателях, сколько на авторах. Ведь и те, и другие — одинаковые дети своего времени. Ему подчиняясь, современный поэт утончился и обособился, отделился как человек (и, естественно, как стихотворец) от человека, рядом стоящего, ушел даже не в индивидуализм, а в тесную субъективность. Именно обособился, перенес центр тяжести в свою особенность, и поет о ней, потому что в ней видит свой путь, святое своей души. Это может казаться печальным, но тут нет ничего безнадежного или мелкого; и опечаленных пусть утешает мысль, что это — современное, а все «современное» — временно. Неизбежная одинокая дорога, быть может, ведет нас, и в области поэзии, к новому, еще более полному, общению. Но возвращусь к тому, что есть.

Я считаю естественной и необходимейшей потреб-

ностью человеческой природы — молитву. Каждый человек непременно молится или стремится к молитве,— все равно, сознает он это или нет, все равно, в какую форму выливается у него молитва и к какому Богу обращена. Форма зависит от способностей и наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение в частности, словесная музыка — это лишь одна из форм, которую принимает в нашей душе молитва. Поэзия, как определил ее Баратынский,— «есть полное ощущение данной минуты». Быть может, это определение слишком обще для молитвы,— но как оно близко к ней!

И вот мы, современные стихописатели, покорные вечному закону человеческой природы, молимся — в стихах, как умеем, то неудачно, то удачно, но всегда берем наше «свое», наш центр, все наше данное «я» в данную минуту (таковы законы молитвы); виноваты ли мы, что каждое «я» теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от другого «я» и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение,— отражение мгновенной полноты нашего сердца. Но другому, у которого заветное «свое» — другое, непонятна и чужда моя молитва. Сознание одиночества еще более отрывает людей друг от друга, обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем,— говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя.

Некоторые из нас, стыдясь и печалясь, совсем оставляют стихотворную форму, как слишком явно молитвенную, и облекают иной, сложной и туманной, плотью свое божественное устремление.

Если есть где-нибудь один, кто поймет нашу молитву,— он поймет ее и сквозь печаль тумана. Но есть ли он? Есть ли чудо?

Я считаю мои стихи (независимо от того, бездарны они или талантливы,— не мне судить, да и это к делу не относится) — очень современными в данном значении слова, то есть очень обособленными, своеструнными, в своеструнности однообразными, а потому для других ненужными. Соединение же их в одной книге — должно казаться просто утомительным. Книга стихотворений — даже и не вполне «обособленного» автора — чаще всего утомительна. Ведь все-таки каждому стихотворению соответствует полное ощущение автором д а н н о й минуты

оно вылилось — стихотворение кончилось; следующее — следующая минута,— уже иная; они разделены временем, жизнью; а читатель перебегает тут же с одной страницы на другую, и смены, скользя, только утомляют глаза и слух.

Но, повторяю, было время, когда стихи принимались и понимались всеми, не утомляли, не раздражали, были нужны всем. И не оттого, что прежние поэты писали прекрасные стихи, а теперешние пишут плохие; что толкуют о вырождении стиха, об исчезновении поэтических талантов! Исчезли не таланты, не стихи — исчезла возможность общения именно в молитве, общность молитвенного порыва. Я утверждаю, что стремление к ритму, к музыке речи, к воплощению внутреннего трепета в правильные переливы слов — всегда связано с устремлением молитвенным, религиозным, по-ту-сторонним,— с самым таинственным, глубоким ядром человеческой души, и что все стихи всех действительно поэтов — молитвы. Молитвенны стихи и прежних наших стихотворцев,— тех, в свое время принятых, понятных. Был и будет Пушкин; он принят навсегда, он был и будет нужен; его песни, он сам — как солнце; он вечен, всепроникающ, но — как солнце — неподвижен. То, что *есть* молитвы Пушкина,— не утоляет нашего порыва, не уничтожает нашего искания: он — не цель, не конечный предел, а лишь некоторое условие существования этого порыва, как солнце не жизнь, а только одно из условий жизни. Пушкин — вне времени, зато он и вне нашего пути, исторического и быстрого.

Но вот Некрасов, поэт во времени, любимый и всем в свое время нужный. И его «гражданские» песни — были молитвами. Но молитвы эти оказались у него общими с его современниками. Дрожали общие струны, пелись хвалы общему Богу. Каковы они были — все равно. Они замолкли и уже не воскреснут как молитвословия. Но они звучали широко и были нужны, они были — общими. Теперь — у каждого из нас отдельный, сознанный или несознанный — но свой Бог, а потому так грустны, беспомощны и бездейственны наши одинокие, лишь нам и дорогие молитвы.

Есть и в прошлом один нам подобный, «ненужный всем» поэт: Тютчев. Любят ли его «все», понятны ли «всем» его странные, лунные гимны, которых он сам стыдился перед другими, записывал на клочках, о которых избегал говорить? Каким бесцельным казался и кажется

он! Если мы, редкие, немногие из теперешних, почуяли близость его и его Бога, сливаемся сердцем с его славословиями,— то ведь нас так мало! И даже для нас он, Тютчев, все-таки — из прошлого, и его Бог не всегда, не всей полностью — наш Бог...

Я намеренно не вхожу здесь в оценку величины и малости того или другого поэта. Вопрос о силе таланта не имеет значения для тех мыслей, которые мне хотелось высказать. Я думаю, явись теперь, в наше трудное, острое время стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный,— и он очутился бы один на своей узкой вершине; только зубец его скалы был бы выше — ближе к небу — и еще менее внятным казалось бы его молитвенное пенье. Пока мы не найдем общего Бога или хоть не поймем, что стремимся все к Нему, Единственному,— до тех пор наши молитвы — наши стихи — живые для каждого из нас,— будут непонятны и не нужны ни для кого.

З. Гиппиус

СОБРАНИЕ СТИХОВ

ПЕСНЯ

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,—
С вечернею зарею.

И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным...
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...

И это желание не знаю, откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

93

ПОСВЯЩЕНИЕ

Небеса унылы и низки,
    Но я знаю — дух мой высок.
Мы с тобою так странно близки,
    И каждый из нас одинок.

Беспощадна моя дорога,
    Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя, как Бога,—
    Любовь мою душу спасет.

Если я на пути устану,
    Начну малодушно роптать,
Если я на себя восстану
    И счастья осмелюсь желать,—

Не покинь меня без возврата
    В туманные, трудные дни.
Умоляю, слабого брата
    Утешь, пожалей, обмани.

Мы с тобою единственно близки,
    Мы оба идем на восток.
Небеса злорадны и низки,
    Но я верю — дух наш высок.

94

ОТРАДА

Мой друг, меня сомненья не тревожат.
Я смерти близость чувствовал давно.
В могиле, там, куда меня положат,
Я знаю, сыро, душно и темно.

Но не в земле — я буду здесь, с тобою,
В дыханьи ветра, в солнечных лучах,
Я буду в море бледною волною
И облачною тенью в небесах.

И будет мне чужда земная сладость,
И даже сердцу милая печаль,
Как чужды звездам счастие и радость...
Но мне сознанья моего не жаль,

Покоя жду... Душа моя устала...
Зовет к себе меня природа-мать...
И так легко, и тяжесть жизни спала...
О, милый друг, отрадно умирать!

89

БАЛЛАДА

Сырые проходы
Под светлым Днепром.
Старинные своды,
Поросшие мхом.

В глубокой пещере
Горит огонек,
На кованой двери
Тяжелый замок.

И капли, как слезы,
На сводах дрожат.
Затворника грезы
Ночные томят.

Давно уж не спится...
Лампаду зажег,
Хотел он молиться,
Молиться не мог.

— Ты видишь, Спаситель,
Измучился я,
Открой мне, Учитель,
Где правда Твоя!

Посты и вериги —
Не Божий завет.
Христос, в Твоей книге
Прощенье и свет.

Я помню: в оконце
Взглянул я на сад;
Там милое солнце,—
Я солнцу был рад.

Там в зарослях темных
Меня не найдут,
Там птичек бездомных
Зеленый приют.

Там плачут сирени
От утренних рос,
Колеблются тени
Прозрачных берез.

Там чайки мелькают
По вольной реке
И дети играют
На влажном песке.

Я счастлив, как дети,
И понял я вновь,
Что в Божьем завете
Простая любовь.

Темно в моей келье...
Измучился я,
А жизнь,— и веселье,
И правда Твоя,—

Не в пыльных страницах,
Не в тусклых свечах,
А в небе, и птицах,
И звездных лучах.

С любовью, о Боже,
Взглянул я на все:
Ведь это — дороже,
Ведь это — Твое!

. . . .

90

НИКОГДА

Предутренний месяц на небе лежит.
Я к месяцу еду, снег чуткий скрипит.

На дерзостный лик я смотрю неустанно,
И он отвечает улыбкою странной.

И странное слово припомнилось мне,
Я все повторяю его в тишине.

Печальнее месяца свет, недвижимей,
Быстрей мчатся кони и неутомимей.

Скользят мои сани легко, без следа,
А я все твержу: никогда, никогда!..

О, ты ль это, слово, знакомое слово?
Но ты мне не страшно, боюсь я иного...

Не страшен и месяца мертвенный свет...
Мне страшно, что страха в душе моей нет.

Лишь холод безгорестный сердце ласкает,
А месяц склоняется — и умирает.

93

БЕССИЛИЕ

Смотрю на море жадными очами,
К земле прикованный, на берегу...
Стою над пропастью — над небесами —
И улететь к лазури не могу.

Не ведаю, восстать иль покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить...
Мне близок Бог — но не могу молиться,
Хочу любви — и не могу любить.

Я к солнцу, к солнцу руки простираю
И вижу полог бледных облаков...
Мне кажется, что истину я знаю —
И только для нее не знаю слов.

93

СНЕЖНЫЕ ХЛОПЬЯ

Глухим путем, неезженым,
На бледном склоне дня,
Иду в лесу оснеженном,
Печаль ведет меня.

Молчит дорога странная,
Молчит неверный лес...
Не мгла ползет туманная
С безжизненных небес —

То вьются хлопья снежные
И, мягкой пеленой,
Бесшумные, безбрежные,
Ложатся предо мной.

Пушисты хлопья белые,
Как пчел веселых рой,
Играют хлопья смелые
И гонятся за мной,

И падают, и падают...
К земле все ближе твердь...
Но странно сердце радуют
Безмолвие и смерть.

Мешается, сливается
Действительность и сон,
Все ниже опускается
Зловещий небосклон —

И я иду и падаю,
Покорствуя судьбе,
С неведомой отрадою
И мыслью — о тебе.

Люблю недостижимое,
Чего, быть может, нет...
Дитя мое любимое,
Единственный мой свет!

Твое дыханье нежное
Я чувствую во сне,
И покрывало снежное
Легко и сладко мне.

Я знаю, близко вечное,
Я слышу, стынет кровь...
Молчанье бесконечное...
И сумрак... И любовь.

94

СОНЕТ

Не страшно мне прикосновенье стали
И острота и холод лезвия.
Но слишком тупо кольца жизни сжали
И, медленные, душат, как змея.
Но пусть развеются мои печали,
Им не открою больше сердца я...
Они далекими отныне стали,
Как ты, любовь ненужная моя!

Пусть душит жизнь, но мне уже не душно.
Достигнута последняя ступень.
И, если смерть придет, за ней послушно
Пойду в ее безгорестную тень: —
Так осенью, светло и равнодушно,
На бледном небе умирает день.

94

ЦВЕТЫ НОЧИ

О, ночному часу не верьте!
Он исполнен злой красоты.
В этот час люди близки к смерти,
Только странно живы цветы.

Темны, теплы тихие стены,
И давно камин без огня...
И я жду от цветов измены,—
Ненавидят цветы меня.

Среди них мне жарко, тревожно
Аромат их душен и смел,—
Но уйти от них невозможно,
Но нельзя избежать их стрел.

Свет вечерний лучи бросает
Сквозь кровавый шелк на листы...
Тело нежное оживает,
Пробудились злые цветы.

С ядовитого арума мерно
Капли падают на ковер...

Все таинственно, все неверно...
И мне тихий чудится спор.

Шелестят, шевелятся, дышат,
Как враги, за мною следят.
Все, что думаю,— знают, слышат,
И меня отравить хотят.

О, часу ночному не верьте!
Берегитесь злой красоты.
В этот час мы все ближе к смерти,
Только живы одни цветы.

94

ГРИЗЕЛЬДА

Над озером, высоко,
Где узкое окно,
Гризельды светлоокой
Стучит веретено.

В покое отдаленном
И в замке — тишина.
Лишь в озере зеленом
Колышется волна.

Гризельда не устанет,
Свивая бледный лен,
Не выдаст, не обманет
Вернейшая из жен.

Неслыханные беды
Она перенесла:
Искал над ней победы
Сам Повелитель Зла.

Любовною отравой,
И дерзостной игрой,
Манил ее он славой,
Весельем, красотой...

Ей были искушенья
Таинственных утех,

Все радости забвенья,
И все, чем сладок грех.

Но Сатана смирился,
Гризельдой побежден.
И враг людской склонился
Пред лучшею из жен.

Чье ныне злое око
Нарушит тишину,
Хоть рыцарь и далеко
Уехал на войну?

Ряд мирных утешений
Гризельде предстоит;
Обняв ее колени,
Кудрявый мальчик спит.

И в сводчатом покое
Святая тишина.
Их двое, только двое:
Ребенок и она.

У ней льняные косы
И бархатный убор.
За озером — утесы
И цепи вольных гор.

Гризельда смотрит в воду,
Нежданно смущена,
И мнится, про свободу
Лепечет ей волна,

Про волю, дерзновенье,
И поцелуй, и смех...
Лепечет, что смиренье
Есть величайший грех.

Прошли былые беды,
О, верная жена!
Но радостью ль победы
Душа твоя полна?

Все тише ропот прялки,
Не вьется бледный лен...

О, мир обмана жалкий!
О, добродетель жен!

Гризельда победила,
Душа ее светла...
А все ж какая сила
У духа лжи и зла!

Увы! твой муж далеко
И помнит ли жену?
Окно твое высоко,
Душа твоя в плену.

И сердце снова жаждет
Таинственных утех...
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?

О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?

95

ОДНООБРАЗИЕ

В вечерний час уединенья,
Уныния и утомленья,
    Один, на шатких ступенях,
Ищу напрасно утешенья,
Моей тревоги утоленья
    В недвижных, стынущих водах.

Лучей последних отраженья,
Как небывалые виденья,
    Лежат на сонных облаках.
От тишины оцепененья
Душа моя пóлна смятенья...
О, если бы хоть тень движенья,
    Хоть звук в тяжелых камышах!

Но знаю, миру нет прощенья,
Печали сердца нет забвенья,

И нет молчанью разрешенья,
И все навек без измененья
И на земле, и в небесах.

95

ИДИ ЗА МНОЙ

Полуувядших лилий аромат
Мои мечтанья легкие туманит.
Мне лилии о смерти говорят,
О времени, когда меня не станет.

Мир — успокоенной душе моей.
Ничто ее не радует, не ранит.
Не забывай моих последних дней,
Пойми меня, когда меня не станет.

Я знаю, друг, дорога не длинна
И скоро тело бедное устанет.
Но ведаю: любовь, как смерть, сильна.
Люби меня, когда меня не станет.

Мне чудится таинственный обет...
И, ведаю, он сердца не обманет,—
Забвения тебе в разлуке нет!
Иди за мной, когда меня не станет.

95

ОСЕНЬ

Длиннее, чернее
Холодные ночи,
А дни все короче
И небо светлее.
Терновник далекий
И реже и суше,
И ветер в осоке,
Где берег высокий,
Протяжней и глуше
Вода остывает,
Замолкла плотина,
И тяжкая тина
Ко дну оседает.

Бестрепетно Осень
Пустыми очами
Глядит меж стволами
Задумчивых сосен,
Прямых, тонколистых
Берез золотистых,—
И нити, как Парка,
Седой паутины
Свивает и тянет
По гроздьям рябины,
И ласково манит
В глубь сонного парка...
Там сумрак, там сладость,
Все Осени внемлет,
И тихая радость
Мне душу объемлет.
Приветствую смерть я
С бездумной отрадой,
И муки бессмертья
Не надо, не надо!
Скользят, улетают —
Бесплотные — тают
Последние тени
Последних волнений,
Живых утомлений —
Пред отдыхом вечным...
Пускай без видений,
Покорный покою,
Усну под землею
Я сном бесконечным...

95

К ПРУДУ

Не осуждай меня, пойми:
Я не хочу тебя обидеть,
Но слишком больно ненавидеть,—
Я не умею жить с людьми.

И знаю, с ними — задохнусь.
Я весь иной, я чуждой веры.
Их ласки жалки, ссоры серы...
Пусти меня! Я их боюсь.

Не знаю сам, куда пойду.
Они везде, их слишком много...
Спущусь тропинкою отлогой
К давно затихшему пруду.

Они и тут — но отвернусь,
Следов их наблюдать не стану,
Пускай обман — я рад обману...
Уединенью предаюсь.

Вода прозрачнее стекла.
Над ней и в ней кусты рябины.
Вдыхаю запах бледной тины...
Вода немая умерла,

И неподвижен тихий пруд...
Но тишине не доверяю,
И вновь душа трепещет,— знаю,
Они меня и здесь найдут.

И слышу, кто-то шепчет мне:
«Скорей, скорей! Уединенье,
Забвение, освобожденье —
Лишь там... внизу... на дне... на дне...»

95

КРИК

Изнемогаю от усталости,
    Душа изранена, в крови...
Ужели нет над нами жалости,
    Ужель над нами нет любви?

Мы исполняем волю строгую,
    Как тени, тихо, без следа,
Неумолимою дорогою
    Идем — неведомо куда.

И ноша жизни, ноша крестная
    Чем далее, тем тяжелей...
И ждет кончина неизвестная
    У вечно запертых дверей.

Без ропота, без удивления
    Мы делаем, что хочет Бог.
Он создал нас без вдохновения
    И полюбить, создав, не мог.

Мы падаем, толпа бессильная,
    Бессильно веря в чудеса,
А сверху, как плита могильная,
    Слепые давят небеса.

96

ЛЮБОВЬ — ОДНА

Единый раз вскипает пеной
    И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
    Измены нет: любовь — одна.

Мы негодуем, иль играем,
    Иль лжем — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
    Душа одна — любовь одна.

Однообразно и пустынно
    Однообразием сильна,
Проходит жизнь... И в жизни длинной
    Любовь одна, всегда одна.

Лишь в неизменном — бесконечность,
    Лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
    И все ясней: любовь одна.

Любви мы платим нашей кровью,
    Но верная душа — верна,
И любим мы одной любовью...
    Любовь одна, как смерть одна.

96

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНЬЕ

Час одиночества укромный,
Снегов молчанье за окном,
Тепло... Цветы... Свет лампы томный —
И письма старые кругом.

Бегут мгновения немые...
Дыханье слышу тишины...
И милы мне листы живые
Живой и нежной старины.

Истлело все, что было тленьем,
Осталась радость чистоты.
И я с глубоким умиленьем
Читаю бледные листы.

«Любовью, смерти неподвластной,
Люблю всегда, люблю навек...»
Искал победы не напрасно
Над смертью смелый человек.

Душа, быть может, разлюбила —
Что нам до мимолетных снов?
Хранит таинственная сила
Бессмертие рожденных слов.

Они когда-то прозвучали...
Пусть лжив торжественный обет,
Пускай забыты все печали —
Словам, словам забвенья нет!

Теснятся буквы черным роем,
Неверность верную храня,
И чистотою, и покоем
От лжи их веет на меня.

Живите, звуков сочетанья,
И повторяйтесь без конца.
Вы, сердца смертного созданья,
Сильнее своего творца.

. . . .

Летит мгновенье за мгновеньем,
Молчат снега, и спят цветы...
И я смотрю с благоговеньем
На побледневшие листы.

96

ТЫ ЛЮБИШЬ?

Был человек. И умер для меня.
И, знаю, вспоминать о нем не надо.
Концу всегда, как смерти, сердце радо,
Концу земной любви — закату дня.

Уснувшего я берегу покой.
Да будет легкою земля забвенья!
Распались тихо старой цепи звенья...
Но злая жизнь меня свела — с тобой.

Когда бываем мы наедине —
Тот, мертвый, третий — вечно между нами.
Твоими на меня глядит очами
И думает тобою — обо мне.

Увы! в тебе, как и, бывало, в нем,
Не верность — но и не измена...
И слышу страшный, томный запах тлена
В твоих речах, движениях,— во всем.

Безогненного чувства твоего,
Чрез мертвеца в тебе,— не принимаю;
И неизменно-строгим сердцем знаю,
Что не люблю тебя, как и его.

96

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю...
Я все уединенное,
Неявное люблю.

Я — раб моих таинственных,
Необычайных снов...
Но для речей единственных
Не знаю здешних слов...

96

РОДИНА

В темнице сидит, заключенный
Под крепкою стражей,
Неведомый рыцарь, плененный
Изменою вражей.

И думает рыцарь, горюя:
«Не жалко мне жизни,
Мне страшно одно, что умру я
Далекий отчизне.

Стремлюся я к ней неизменно
Из чуждого края
И думать о ней, незабвенной,
Хочу, умирая».

Но ворон на прутья решетки
Садится беззвучно.
«Что рыцарь задумался, кроткий?
Иль рыцарю скучно?»

Тревогою сердце забилось,
И рыцарю мнится —
С недоброю вестью явилась
Недобрая птица.

«Тебя не посмею спугнуть я,
Ты здешний — я дальний...
Молю, не цепляйся за прутья,
О ворон печальный!

Меня с моей думой бесплодной
Оставь, кто б ты ни был».
Ответствует гость благородный:
«Я вестником прибыл.

Ты родину любишь земную,
О ней помышляешь.
Скажу тебе правду иную —
Ты правды не знаешь.

Отчизна тебе изменила,
Навеки ты пленный;

Но мира она не купила
  Напрасной изменой:

Предавшую предали снова —
  Лукаво напали,
К защите была не готова,
  И родину взяли.

Покрыта позором и кровью,
  Исполнена страха...
Ужели ты любишь любовью
  Достойное праха?»

Но рыцарь вскочил, пораженный
  Неслыханной вестью,
Объят его дух возмущенный
  И гневом, и местью;

Он ворона гонит с укором
  От окон темницы...
Но вдруг отступил он под взором
  Таинственной птицы.

И снова спокойно и внятно,
  Как будто с участьем,
Сказал ему гость непонятный:
  «Смирись пред несчастьем.

Истлело достойное тленья,
  Все призрак, что было.
Мы живы лишь силой смиренья,
  Единою силой.

Не веруй, о рыцарь мой, доле
  Постыдной надежде.
Не думай, что был ты на воле
  Когда-либо прежде.

Пойми — это сон был свободы,
  Пустой и короткий.
Ты прожил все долгие годы
  В плену, за решеткой.

Ты рвался к далекой отчизне,
  Любя и страдая.

Есть родина, чуждая жизни,
И вечно живая».

Умолк... И шуршат только перья
О прутья лениво.
И рыцарь молчит у преддверья
Свободы нелживой.

97

СОНЕТ

Один я в келии неосвещенной.
С предутреннего неба, из окна,
Глядит немилая, холодная весна.
Но, неприветным взором не смущенной,
Своей душе, в безмолвие влюбленной,
Не страшно быть одной, в тени, без сна.
И слышу я, как шепчет тишина
О тайнах красоты невоплощенной.

Лишь неразгаданным мечтанья полны.
Не жду и не хочу прихода дня.
Гармония неслышная таится
В тенях, в нетрепетной заре... И мнится:
Созвучий нерожденных вкруг меня
Поют и плещут жалобные волны.

97

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Я вижу край небес в дали безбрежной
И ясную зарю.
С моей душой, безумной и мятежной,
С душою говорю.

И если боль ее земная мучит —
Она должна молчать.
Ее заря небесная научит
Безмолвно умирать.

Не забывай Господнего завета,
Душа,— молчи, смирись...

Полна бесстрастья, холода и света
　Бледнеющая высь.

Повеяло нездешнею прохладой
　От медленной зари.
Ни счастия, ни радости — не надо.
　Гори, заря, гори!

97

ПЫЛЬ

Моя душа во власти страха
И горькой жалости земной.
Напрасно я бегу от праха —
Я всюду с ним, и он со мной.

Мне в очи смотрит ночь нагая,
Унылая, как темный день.
Лишь тучи, низко набегая,
Дают ей мертвенную тень.

И ветер, встав на миг единый,
Дождем дохнул — и вмиг исчез.
Волокна серой паутины
Плывут и тянутся с небес.

Ползут, как дни земных событий,
Однообразны и мутны.
Но сеть из этих легких нитей
Тяжеле смертной пелены.

И в прахе душном, в дыме пыльном,
К последней гибели спеша,
Напрасно в ужасе бессильном
Оковы жизни рвет душа.

А капли тонкие по крыше
Едва стучат, как в робком сне.
Молю вас, капли, тише, тише...
О, тише плачьте обо мне!

97

ВЕЧЕР

Июльская гроза, шумя, прошла,
И тучи уплывают полосою.
Лазурь неясная опять светла...
Мы лесом едем, влажною тропою.

Спускается на землю бледный мрак.
Сквозь дым небесный виден месяц юный,
И конь все больше замедляет шаг,
И вожжи тонкие дрожат, как струны.

Порою туч затихнувшую тьму
Вдруг молния безгромная разрежет.
Легко и вольно сердцу моему,
И ветер, пролетая, листья нежит.

Колеса не стучат по колеям.
Отяжелев, поникли долу ветки...
А с тихих нив и с поля к небесам
Туманный пар плывет, живой и редкий...

Как никогда, я чувствую — я твой,
О милая и строгая природа!
Живу в тебе, потом умру с тобой...
В душе моей покорность — и свобода.

97

МОЛИТВА

Тени луны неподвижные...
Небо серебряно-черное...
Тени, как смерть, неподвижные...
Живо ли сердце покорное?

Кто-то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную,
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную.

Жизни мне дал унижение,
Боль мне послал непонятную...
К Давшему мне унижение
Шлю я молитву невнятную.

Сжалься, о Боже, над слабостью
Сердца, Тобой сотворенного,
Над бесконечною слабостью
Сердца, стыдом утомленного.

Я — это Ты, о Неведомый,
Ты — в моем сердце, Обиженный,
Так подними же, Неведомый,
Дух Твой, Тобою униженный,

Прежнее дай мне безмолвие,
О, возврати меня вечности...
Дай погрузиться в безмолвие,
Дай отдохнуть в бесконечности!..

97

СЕРЕНАДА

Из лунного тумана
    Рождаются мечты.
Пускай, моя Светлана,
    Меня не любишь ты.

Пусть будет робкий лепет
    Неуловимо тих,
Пусть тайным будет трепет
    Незвучных струн моих.

Награды не желая,
    Душа моя горит.
Мой голос, дорогая,
    К тебе не долетит.

Я счастье ненавижу,
    Я радость не терплю.
О, пусть тебя не вижу,
    Тем глубже я люблю.

Да будет то, что будет,
    Светла печаль моя.
С тобой нас Бог рассудит —
    И к Богу ближе я.

Ищу мою отраду
В себе — люблю тебя.
И эту серенаду
Слагаю для себя.

97

СНЕГ

Опять он падает, чудесно молчаливый,
Легко колеблется и опускается...
Как сердцу сладостен полет его счастливый!
Несуществующий, он вновь рождается...

Все тот же, вновь пришел, неведомо откуда,
В нем холода соблазны, в нем забвение...
Я жду его всегда, как жду от Бога чуда,
И странное с ним знаю единение.

Пускай уйдет опять — но не страшна утрата.
Мне радостен его отход таинственный.
Я вечно буду ждать безмолвного возврата,
Тебя, о ласковый, тебя, единственный.

Он тихо падает, и медленный и властный...
Безмерно счастлив я его победою...
Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный,
Тебя люблю... За что люблю — не ведаю...

97

АПЕЛЬСИННЫЕ ЦВЕТЫ

H. B⟨rique⟩t

О, берегитесь, убегайте
От жизни легкой пустоты.
И прах земной не принимайте
За апельсинные цветы.

Под серым небом Таормины
Среди глубин некрасоты
На миг припомнились единый
Мне апельсинные цветы.

Поверьте, встречи нет случайной,—
Как мало их средь суеты!
И наша встреча дышит тайной,
Как апельсинные цветы.

Вы счастья ищете напрасно,
О, вы боитесь высоты!
А счастье может быть прекрасно,
Как апельсинные цветы.

Любите смелость нежеланья,
Любите радости молчанья,
Неисполнимые мечты,
Любите тайну нашей встречи,
И все несќазанные речи,
И апельсинные цветы.

97

ЛЕСТНИЦА

Сны странные порой нисходят на меня.
И снилось мне: наверх, туда, к вечерним теням,
На склоне серого и ветреного дня
Мы шли с тобой вдвоем, по каменным ступеням.

С неласковой для нас небесной высоты
Такой неласковою веяло прохладой;
И апельсинные невинные цветы
Благоухали там, за низкою оградой.

Я что-то важное и злое говорил...
Улыбку помню я, испуганно-немую...
И было ясно мне: тебя я не любил,
Тебя, недавнюю, случайную, чужую...

Но стало больно, странно сердцу моему,
И мысль внезапная мне душу осветила:
О, нелюбимая, не знаю почему,
Но жду твоей любви! Хочу, чтоб ты любила!

97

УЛЫБКА

Поверьте, нет, меня не соблазнит
Печалей прежних путь давно пройденный.
Увы! душа покорная хранит
Их горький след, ничем не истребленный.

Года идут, но сердце вечно то же.
Ничто для нас не возвратится вновь,
И ныне мне всех радостей дороже
Моя неразделенная любовь.

Ни счастья в ней, ни страха, ни стыда.
Куда ведет она меня — не знаю...
И лишь в одном душа моя тверда:
Я изменяюсь,— но не изменяю.

97

МГНОВЕНИЕ

Сквозь окна светится небо высокое,
Вечернее небо, тихое, ясное.
Плачет от счастия сердце мое одинокое,
Радо оно, что небо такое прекрасное.

Горит тихий, предночный свет,
От света исходит радость моя.
И в мире теперь никого нет.
В мире только Бог, небо и я.

98

КРУГИ

Я помню: мы вдвоем сидели на скамейке.
Пред нами был покинутый источник
и тихая зелень.
Я говорил о Боге, о созерцании и жизни...
И, чтоб понятней было моему ребенку,
я легкие круги чертил на песке.
И год минул. И нежная, как мать, печаль
меня на ту скамейку привела.
Вот покинутый источник,
та же тихая зелень,

те же мысли о Боге, о жизни.
Только нет безвинно умерших, невоскресших
слов,
и нет дождем смытых,
землей скрытых,
моих ясных, легких кругов.

99

ПОСЛЕДНЕЕ

Порой всему, как дети, люди рады,
И в легкости своей живут веселой.
О, пусть они смеются! Нет отрады
Смотреть во тьму души моей тяжелой.

Я не нарушу радости мгновенной,
Я не открою им дверей сознанья,
И ныне, в гордости моей смиренной,
Даю обет великого молчанья.

В безмолвьи прохожу я мимо, мимо,
Закрыв лицо,— в неузнанные дали,
Куда ведут меня неумолимо
Жестокие и смелые печали.

00

ПРОГУЛКА ВДВОЕМ

Дорога все выше да выше,
Все гуще зеленые сени,
Внизу — чуть виднеются крыши,
В долине — лиловые тени,
Дорога все выше, да выше...
Мы с нею давно уж в пути
И знаю — нам надо идти.

Мы слабы и очень устали,
Но вверх все идем мы послушно.
Под кленами мы отдыхали,
Но было под кленами душно...
Мы слабы и очень устали.
Я ведал, что трудны пути,
Но верил, что надо идти.

Она — все слабее и тише...
Ее поддержать я пытался,
Но путь становился все выше,
Все круче наверх подымался,
И шла она тише, да тише...
  И стала она на пути.
  Не знала, что надо идти.

И было на сердце тревожно...
Я больше помочь не умею.
Остаться в пути невозможно,
Спускаться назад я не смею,
И было на сердце тревожно.
  Она испугалась пути,
  Она не посмела дойти.

И вот я бреду одинокий,
А полдень тяжелый и жаркий...
Тропой каменистой, широкой
Иду я в бестенности яркой,
Иду все наверх, одинокий...
  Я бросил ее на пути.
  Я знаю: я должен идти.

00

СОБЛАЗН

П. П. Перцову

Великие мне были искушенья,
Я головы пред ними не склонил.
Но есть соблазн... соблазн уединенья...
Его доныне я не победил.

Зовет меня лампада в тесной келье,
Многообразие последней тишины,
Блаженного молчания веселье —
И нежное вниманье сатаны.

Он служит: то светильник зажигает,
То рясу мне поправит на груди,
То спавшие мне четки подымает
И шепчет: «С Нами будь, не уходи!

Ужель ты одиночества не любишь?
Уединение — великий храм.
С людьми... их не спасешь, себя погубишь,
А здесь, один, ты равен будешь Нам.

Ты будешь и не слышать и не видеть,
С тобою только Мы да тишина.
Ведь тот, кто любит, должен ненавидеть,
А ненависть от Нас запрещена.

Давно тебе моя любезна нежность...
Мы вместе, вместе... и всегда одни;
Как сладостна спасенья безмятежность!
Как радостны лампадные огни!»
. . . .

О, мука! О, любовь! О, искушенья!
Я головы пред вами не склонил.
Но есть соблазн,— соблазн уединенья,
Его никто еще не победил.

00

СТУК

Полночная тень. Тишина.
Стук сердца и стук часов.
Как ночь непонятно черна!
Как тяжек ее покров!

Но знаю: бессильных сердец
Еще неподвижней мрак.
Тебе я молюсь, о Отец!
Подай мне голос иль знак!

Сильней, чем себя и людей,
Я душу свою люблю.
И надвое волей моей
Я душу переломлю.

И стала живой тишина.
В ней, темной, слышу ответ:
Пусть ночь бесконечно длинна,—
Из тьмы да родится свет!

00

ТАМ

Я в лодке Харона с гребцом безучастным.
Как олово, густы тяжелые воды.
Туманная сырость над Стиксом безгласным.
Из темного камня небесные своды.
Вот Лета. Не слышу я лепета Леты.
Беззвучны удары раскидистых весел.
На камень небесный багровые светы
Фонарь наш неяркий и трепетный бросил.
Вода непрозрачна и скована ленью...
Разбужены светом, испуганы тенью,
Преследуют лодку в бесшумной тревоге
Тупая сова, две летучие мыши,
Упырь тонкокрылый, седой и безногий...
Но лодка скользит не быстрей и не тише.
Упырь меня тронул крылом своим влажным...
Бездумно слежу я за стаей послушной,
И все мне здесь кажется странно-неважным,
И сердце, как там, на земле,— равнодушно.
Я помню, конца мы искали порою,
И ждали, и верили смертной надежде...
Но смерть оказалась такой же пустою,
И так же мне скучно, как было и прежде.
Ни боли, ни счастья, ни страха, ни мира,
Нет даже забвения в ропоте Леты...
Над Стиксом безгласным туманно и сыро,
И алые бродят по камням отсветы.

00

ЛЮБОВЬ

В моей душе нет места для страданья:
  Моя душа — любовь.
Она разрушила свои желанья,
  Чтоб воскресить их вновь.

В начале было Слово. Ждите Слова.
  Откроется оно.
Что совершалось — да свершится снова,
  И вы, и Он — одно.

Последний свет равно на всех прольется,
  По знаку одному.

Идите все, кто плачет и смеется,
Идите все — к Нему.

К Нему придем в земном освобожденьи
И будут чудеса.
И будет все в одном соединеньи —
Земля и небеса.

00

КОНЕЦ

Огонь под золою дышал незаметней,
Последняя искра, дрожа, угасала,
На небе весеннем заря догорала,
И был пред тобою я все безответней,
И слушал без слов, как любовь умирала.

Я ведал душой, навсегда покоренной,
Что слов я твоих не постигну случайных,
Как ты не поймешь моих радостей тайных
И, чуждая вечно всему, что бездонно,
Зари в небесах не увидишь бескрайных.

Мне было не грустно, мне было не больно
Я думал о том, как ты много хотела,
И мало свершила, и мало посмела;
Я думал о том, как в душе моей вольно,
О том, что заря в небесах — догорела...

01

ДАР

Ни о чем я Тебя просить не смею,
все надобное мне — Ты знаешь сам;
но жизнь мою — то, что имею,—
несу ныне к Твоим ногам.
Тебе Мария умыла ноги,
и Ты ее с миром отпустил;
верю, примешь и мой дар убогий,
и меня простишь, как ее простил.

01

НЕСКОРБНОМУ УЧИТЕЛЮ

Иисус в одежде белой,
Прости печаль мою!
Тебе я дух несмелый
И тяжесть отдаю.
Иисус, детей надежда!
Прости, что я скорблю!
Темна моя одежда,
Но я Тебя люблю.

01

ПРЕДЕЛ

Д. В. Философову

Сердце исполнено счастьем желанья,
Счастьем возможности и ожиданья,—
Но и трепещет оно и боится,
Что ожидание — может свершиться...
Полностью жизни принять мы не смеем,
Тяжести счастья поднять не умеем,
Звуков хотим — но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов томимся,
Вечно их любим, вечно страдая,—
И умираем, не достигая...

01

ХРИСТУ

Мы не жили — и умираем
Среди тьмы.
Ты вернешься... Но как узнаем
Тебя — мы?

Все дрожим и себя стыдимся,
Тяжел мрак.
Мы молчаний Твоих боимся...
О, дай знак!

Если нет на земле надежды —
То все прах.

Дай коснуться Твоей одежды,
    Забыть страх.

Ты во дни, когда был меж нами,
    Сказал Сам:
«Не оставлю вас сиротами,
    Приду к вам».

Нет Тебя. Душа не готова,
    Не бил час.
Но мы верим,— Ты будешь снова
    Среди нас.

01

ТИХОЕ ПЛАМЯ

Я сам найду мою отраду.
Здесь все мое, здесь только я.
Затеплю тихую лампаду,
Люблю ее. Она моя.

Как пламя робкое мне мило!
Не ослепляет и не жжет.
Зачем мне грубое светило
Недосягаемых высот?
. . . .

Увы! Заря меня тревожит
Сквозь шелк содвинутых завес,
Огонь трепещущий не может
Бороться с пламенем небес.

Лампада робкая бледнеет...
Вот первый луч — вот алый меч...
И плачет сердце... Не умеет
Огня лампадного сберечь!

01

МЕРТВАЯ ЗАРЯ

Пусть загорается денница,
В душе погибшей — смерти мгла.
Душа, как раненая птица,
Рвалась взлететь — но не могла.

И клонит долу грех великий,
И тяжесть мне не по плечам.
И кто-то жадный, темноликий
Ко мне приходит по ночам.

И вот — за кровь плачу я кровью.
Друзья! Вы мне не помогли,
В тот час, когда спасти любовью
Вы сердце слабое могли.

О, я вины не налагаю:
Я в ваши верую пути,
Но гаснет дух... И ныне — знаю —
Мне с вами вместе не идти.

01

ГЛУХОТА

Часы стучат невнятные,
Нет полной тишины.
Все горести — понятные,
Все радости — скучны.

Угроза одиночества,
Свидания обет...
Не верю я в пророчества
Ни счастия, ни бед.

Не жду необычайного:
Все просто и мертво.
Ни страшного, ни тайного
Нет в жизни ничего.

Везде однообразие,
Мы — дети без Отца,
И близко безобразие
Последнего конца.

Но слабости смирения
Я душу не отдам.
Не надо искупления
Кощунственным словам!

01

ПЕСНИ РУСАЛОК

(Из драмы «Святая кровь»)

I

Мы белые дочери
озера светлого,
от чистоты и прохлады мы родились.
Пена, и тина, и травы нас нежат,
легкий, пустой камыш ласкает;
зимой подо льдом, как под теплым стеклом,
мы спим, и нам снится лето.
Все благо: и жизнь! и явь! и сон!

Мы солнца смертельно-горячего
не знаем, не видели;
но мы знаем его отражение,—
мы тихую знаем луну.
Влажная, кроткая, милая, чистая,
ночью серебряной вся золотистая,
она — как русалка — добрая...
Все благо: и жизнь! и мы! и луна!

У берега, меж камышами,
скользит и тает бледный туман.
Мы ведаем: лето сменится зимою,
зима — весною много раз,
и час наступит сокровенный,
как все часы — благословенный,
когда мы в белый туман растаем,
и белый туман растает.
И новые будут русалки,
и будет луна им светить,—
и так же с туманом они растают.
Все благо: и жизнь! и мы! и свет! и смерть!

II

Вода в камышах колыхается.
В небе загорелись зеленые звезды.
Над лесом луна подымается.
Смотрите, сестрицы, гаснут звезды!
Туман, как живой, извивается...
Туман — это наша душа водяная.

Он редеет и, тая, скрывается...
Туман — наша жизнь и наша смерть водяная.
В эту ночь мы все живы да радостны,
веселье наше — как лунный свет.
Давайте ж перекликнемся,
все друг дружке голос подадим!

Мы, озерные, речные, лесные,
долинные, пустынные,
подземные и наземные,
великие и малые,
мохнатые и голые,
все друг дружке о себе знать дадим!
О-йе! О-йе!
Отвечайте, братцы! Отвечайте, сестрицы!

01

ДО ДНА

Тебя приветствую, мое поражение,
тебя и победу я люблю равно;
на дне моей гордости лежит смирение,
и радость, и боль — всегда одно.

Над водами, стихнувшими в безмятежности
вечера ясного,— все бродит туман;
в последней жестокости — есть бездонность нежности
и в Божией правде — Божий обман.

Люблю я отчаяние мое безмерное,
нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
надо всякую чашу пить — до дна.

01

В ГОСТИНОЙ

Серая комната. Речи неспешные,
Даже не страшные, даже не грешные,
Не умиленные, не оскорбленные,
Мертвые люди, собой утомленные...
Я им подражаю. Никого не люблю.
Ничего не знаю. Я тихо сплю.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет»,— не слиты,
Не слиты — сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно, и мертво.
Но ждет их воскресенье,
И ждут они его.
Концов концы коснутся —
Другие «да» и «нет»,
И «да» и «нет» проснутся,
Сплетенные сольются,
И смерть их будет — Свет.

01

ЛУГОВЫЕ ЛЮТИКИ

А. М⟨еньшо⟩ву

Мы — то же цветенье
Средь луга цветного,
Мы — то же растенье,
Но роста иного.
Нас выгнало выше,
А братья отстали.
Росли ль они тише?
Друг к другу припали,
Так ровно и цепко,
Головка с головкой...
Стоят они крепко,
Стоять им так ловко...
Ковер все плотнее,
Весь низкий, весь ниже...
Нам — небо виднее,
И солнце нам ближе,
Ручей нам и звонок,
И песнь его громче,—
Но стебель наш тонок,
Мы ломче, мы ломче...

02

ЗЕМЛЯ

Минута бессилья...
    Минута раздумия...
И сломлены крылья
    Святого безумия.

Стою над могилой,
    Где спит дерзновение...
О, все это было —
    Веселье, волнение,

И радость во взоре
    Молитвенно-чистая,
Весенние зори,
    Сирень восьмилистая...

Ужель это было?
    Какое обманное!
Стою над могилой
    С надеждою странною...

Под пылью и прахом
    Ищу я движения,
С молитвой, со страхом
    Я жду — воскресения...

Но ждать все страшнее...
    Стою без защиты я...
Смеется, чернея,
    Могила открытая;

Я требую чуда
    Душою всесильною...
Но веет оттуда —
    Землею могильною...

02

КРОВЬ

Я призываю Любовь,
Я открываю Ей сердце.
    Алая, алая кровь,
    Тихое, тихое сердце.

Руку мою приготовь,
Верой овей мое сердце.
Алая, алая кровь.
Тихое, тихое сердце.

Тайному не прекословь.
В Тайне теперь мое сердце.
Алая, алая кровь,
Тихое, тихое сердце.

Путь наш единый, Любовь!
Слей нас в единое сердце!
Алая, алая кровь,
Вещее, вещее сердце...

01

ИСТИНА ИЛИ СЧАСТЬЕ?

В. К.

Вам страшно за меня — а мне за вас.
Но разный страх мы разумеем.
Пусть схожие мечтания у нас,—
Мы разной жалостью жалеем.

Вам жаль «по-человечески» меня.
Так зол и тяжек путь исканий!
И мне дороги тихой, без огня
Желали б вы, боясь страданий.

Но вас — «по-Божьему» жалею я.
Кого люблю — люблю для Бога.
И будет тем светлей душа моя,
Чем ваша огненней дорога.

Я тихой пристани для вас боюсь,
Уединенья знаю власть я;
И не о счастии для вас молюсь —
О том молюсь, что выше счастья.

02

НЕ ЗНАЮ

Мое одиночество — бездонное, безгранное;
но такое душное; такое тесное;
приползло ко мне чудовище, ласковое, странное,
мне в глаза глядит и что-то думает — неизвестное.

Все зовет меня куда-то и сулит спасение — неизвестное;
и душа во мне горит... ему принадлежу отныне я;
все зовет меня и обещает радость и мученье крестное,
и свободу от любви и от уныния.

Но как отречься от любви и от уныния?
Еще надеждою душа моя окована.
Уйти не смею я... И для меня есть скиния,—
но я не знаю, где она мне уготована.

01

ХРИСТИАНИН

По Ефр. Сирину

Все прах и тлен, все гниль и грех,
Позор — любовь, безумство — смех,
Повсюду мрак, повсюду смрад,
И проклят мир, и проклят брат.

Хочу оков, хочу цепей...
Идите прочь с моих путей!
К Нему — мой вздох, к Нему — мой стон,
В затвор иду — в затворе Он!

01

ДРУГОЙ ХРИСТИАНИН

Никто меня не поймет —
и не должен никто понять.
Мне душу страдание жжет,
и радость мешает страдать.

Тяжелые слезы свечей
и шелест чуть слышных слов...

В сияньи лампадных лучей
поникшие стебли цветов,

рассвет несветлого дня, —
все — тайны последней залог...
И, тайну мою храня,
один я иду за порог.

Со мною меч — мой оплот,
я крепко держу рукоять...
Никто меня не поймет —
и не должен никто понять.

01

«Я»

(От чужого имени)

Я Богом оскорблен навек.
За это я в Него не верю.
Я самый жалкий человек,
Я перед всеми лицемерю.

Во мне — ко мне — больная страсть:
В себя гляжу, сужу да мерю...
О, если б сила! Если б — власть!
Но я, любя, в себя не верю.

И все дрожу, и всех боюсь,
Глаза людей меня пугают...
Я не даюсь, я сторонюсь,
Они меня не угадают.

А все ж уйти я не могу;
С людьми мечтаю, негодую...
Стараясь скрыть от них, что лгу,
О правде Божией толкую,—

И так веду мою игру,
Хоть притворяться надоело...
Есмь — только я... И я — умру!
До правды мне какое дело?

Но не уйду; я слишком слаб;
В лучах любви чужой я греюсь;

Людей и лжи я вечный раб
И на свободу не надеюсь.

Порой хочу я всех проклясть —
И лишь несмело обижаю...
Во мне — ко мне — больная страсть.
Люблю себя — и презираю.

01

ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ ХРИСТИАНИНА

А. К⟨арташеву⟩

По долгу бремя жизни нес
Я, долгу мрачному послушен.
Мне мир казался миром слез,
И к смерти был я равнодушен.

Несправедливостью судеб
Я огорчался в час раздумий,
Но зарабатывал мой хлеб
Без возмущений и безумий.

Не ненавидел никого,
И не любил я через меру.
В конец, блаженный для всего,
Хранил заботливую веру.

Всегда скромны мои мечты,—
Мечтал о том лишь, что возможно...
И от соблазнов красоты
Я удалялся осторожно.

Я тихо жил — умру легко;
Был ни веселым, ни унылым;
Не заносился высоко
И брал лишь то, что мне по силам.

Я, раб Господень (имя рек),
Кончиной близкою утешен.
Я очень скромный человек;
Господь простит мне, в чем и грешен.

02

КАК ВСЕ

Не хочу, ничего не хочу,
Принимаю все так, как есть.
Изменять ничего не хочу.
Я дышу, я живу, я молчу.

Принимаю и то, чему быть.
Принимаю болезнь и смерть.
Да исполнится все, чему быть!
Не хочу ни ломать, ни творить.

И к чему оно все — Бог весть!
Но да будет все так, как есть.
Нерушимы земля и твердь.
Неизменны и жизнь, и смерть.

01

СМИРЕННОСТЬ

Учитель жизни всех нас любит
И дал нам силы — по судьбе.
Смиренномудрие нас губит
    И страсть к себе.

Глаза и лица закрываем,
Бежим от узкого пути...
Зачем мы лжем? Мы знаем, знаем,
    Куда идти!

01

О ДРУГОМ

Господь. Отец.
Мое начало. Мой конец.
Тебя, в Ком Сын, Тебя, Кто в Сыне,
Во имя Сына прошу я ныне
И зажигаю пред Тобой
Мою свечу.
Господь. Отец. Спаси, укрой —
Кого хочу.

Тобою дух мой воскресает.
Я не о всех прошу, о Боже,
Но лишь о том,
Кто предо мною погибает,
Чье мне спасение дороже,
О нем — одном.

Прими, Господь, мое хотенье!
О, жги меня, как я — свечу,
Но ниспошли освобожденье,
Твою любовь, Твое спасенье —
Кому хочу.

01

СТРАХ И СМЕРТЬ

Я в себе, от себя, не боюсь ничего,
Ни забвенья, ни страсти.
Не боюсь ни унынья, ни сна моего —
Ибо все в моей власти.

Не боюсь ничего и в других, от других;
К ним нейду за наградой;
Ибо в людях люблю не себя... И от них
Ничего мне не надо.

И за правду мою не боюсь никогда,
Ибо верю в хотенье.
И греха не боюсь, ни обид, ни труда...
Для греха — есть прощенье.

Лишь одно, перед чем я навеки без сил,—
Страх последней разлуки.
Я услышу холодное веянье крыл...
Я не вынесу муки.

О Господь мой и Бог! Пожалей, успокой,
Мы так слабы и наги!
Дай мне сил перед Ней, чистоты пред Тобой
И пред жизнью — отваги...

01

ШВЕЯ

Уж третий день ни с кем не говорю...
А мысли — жадные и злые.
Болит спина; куда ни посмотрю —
Повсюду пятна голубые.

Церковный колокол гудел; умолк;
Я все наедине с собою.
Скрипит и гнется жарко-алый шелк
Под неумелою иглою.

На всех явлениях лежит печать.
Одно с другим как будто слито.
Приняв одно — стараюсь угадать
За ним другое,— то, что скрыто.

И этот шелк мне кажется — Огнем.
И вот уж не огнем — а Кровью.
А кровь — лишь знак того, что мы зовем
На бедном языке — Любовью.

Любовь — лишь звук... Но в этот поздний час
Того, что дальше — не открою.
Нет, не огонь, не кровь... а лишь атлас
Скрипит под робкою иглою.

01

ОГРАДА

В пути мои погасли очи.
Давно иду, давно молчу.
Вот на заре последней ночи
Я в дверь последнюю стучу.
Но там, за стрельчатой оградой —
Молчанье, мрак и тишина.
Мне достучаться надо, надо,
Мне надо отдыха и сна...
Ужель за подвиг нет награды?
Я чашу пил мою до дна...
Но там, за стрелами ограды —
Молчанье, мрак и тишина.

Стучу, кричу: нас было трое,
И вот я ныне одинок.
Те двое — выбрали иное,
Я их молил, но что я мог?
О, если б и они желали,
Как я — любили... мы теперь
Все трое вместе бы стучали
Последней ночью в эту дверь.
Какою было бы отрадой
Их умолить... но все враги.
И вновь стучу. И за оградой
Вот чьи-то тихие шаги.
Но между ним и мной — ограда.
Я слышу только шелест крыл
И голос — легкий, как прохлада.
Он говорит: «А ты — любил?
Вас было трое. Трех мы знаем,
Троим — вам быть здесь суждено.
Мы эти двери открываем
Лишь тем, кто вместе — и одно.
Ты шел за вечною усладой,
Пришел один, спасал себя...
Но будет вечно за оградой,
Кто к ней приходит — не любя».

И не открылись двери сада;
Ни оправданья, ни венца;
Темна высокая ограда...
Мне достучаться надо, надо,
Молюсь, стучу, зову Отца —
Но нет любви — темна ограда,
Но нет любви — и нет Конца.

02

СОСНЫ

Желанья все безмернее,
Все мысли об одном.
Окно мое вечернее,
И сосны под окном.

Стволы у них багровые,
Колюч угрюмый сад.
Суровые, сосновые
Стволы скрипят, скрипят.

Безмернее хотения,
Мечтания острей —
Но это боль сомнения
У запертых дверей.

А сосны все качаются
И все шумят, шумят,
Как будто насмехаются,
Как будто говорят:

«Бескрылые, бессильные,
Унылые мечты.
Взгляни: мы тоже пыльные,
Сухие, как и ты.

Качаемся, беспечные,
Нет лета, нет зимы...
Мы мертвые, мы вечные,
Твоя душа — и мы.

Твоя душа, в мятежности,
Свершений не дала.
Твоя душа без нежности,
А сердце — как игла».

Не слушаю, не слушаю,
Проклятье, иглы, вам!
И злому равнодушию
Себя я не предам,

Любви хочу и веры я...
Но спит душа моя.
Смеются сосны серые,
Колючие — как я.

02

СНЫ

Все дождик да дождик... Все так же качается
Под мокрым балконом верхушка сосны...
О, дни мои мертвые! Ночь надвигается —
И я оживаю. И жизнь моя — сны.

И вплоть до зари, пробуждения вестницы,—
Я в мире свершений. Я радостно сплю.
Вот узкие окна... И белые лестницы...
И все, кто мне дорог... И все, что люблю.

Притихшие дети, веселые странники,
И те, кто боялся, что сил не дано...
Все ныне со мною, все ныне избранники,
Одною любовью мы слиты в одно.

Какие тяжелые волны курения,
Какие цветы небывалой весны,
Какие молитвы, какие служения...
. . . .
Какие живые, великие сны!

01

ТЕТРАДЬ ЛЮБВИ

(Надпись на конверте)

Сегодня заря встает из-за туч.
Пологом туч от меня она спрятана.
Не свет и не мгла... И темен сургуч,
Которым «Любовь» моя запечатана.

И хочется мне печати сломать...
Но воля моя смирением связана.
Пусть вечно закрытой лежит тетрадь,
Пусть будет Любовь моя — недосказана.

01

ДВА СОНЕТА

Л. С. Баксту

I

СПАСЕНИЕ

Мы судим, говорим порою так прекрасно,
И мнится — силы нам великие даны.
Мы проповедуем, собой упоены,
И всех зовем к себе решительно и властно.

Увы нам: мы идем дорогою опасной.
Пред скорбию чужой молчать обречены,—
Мы так беспомощны, так жалки и смешны,
Когда помочь другим пытаемся напрасно.

Утешит в горести, поможет только тот,
Кто радостен и прост, и верит неизменно,
Что жизнь — веселие, что все — благословенно;
Кто любит без тоски и как дитя живет.
Пред силой истинной склоняюсь я смиренно:
Не мы спасаем мир: любовь его спасет.

II

НИТЬ

Через тропинку в лес, в уютности приветной,
Весельем солнечным и тенью облита,
Нить паутинная, упруга и чиста,
Повисла в небесах; и дрожью незаметной
Колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно;
Она крепка, тонка, прозрачна и проста.
Разрезана небес живая пустота
Сверкающей чертой — струною многоцветной.

Одно неясное привыкли мы ценить.
В запутанных узлах, с какой-то страстью ложной,
Мы ищем тонкости, не веря, что возможно
Величье с простотой в душе соединить.
Но жалко, мертвенно и грубо все, что сложно;
А тонкая душа — проста, как эта нить.

01

ВМЕСТЕ

Я чту Высокого,
Его завет.
Для одинокого —
Победы нет.
Но путь единственный
Душе открыт,
И зов таинственный,

Как клич воинственный,
Звучит, звучит...
Господь прозрение
Нам ныне дал;
Для достижения —
Дорогу тесную,
Пусть дерзновенную,
Но неизменную,
Одну — совместную —
Он указал.

02

ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ?

В. Ф. Нувелю

Грех — маломыслие и малодеянье,
Самонелюбие — самовлюбленность,
И равнодушное саморассеянье,
И успокоенная упоенность.

Грех — легкочувствие и легкодумие,
Полупроказливость — полуволненье.
Благоразумное полубезумие,
Полувнимание — полузабвенье.

Грех — жить без дерзости и без мечтания,
Не признаваемым — и не гонимым.
Не знать ни ужаса, ни упования,
И быть приемлемым, но не любимым.

К стыду и гордости — равнопрезрение...
Всему покорственный привет без битвы...
Тяжеле всех грехов — Богоубьение,
Жизнь без проклятия — и без молитвы.

02

СТАРИКОВЫ РЕЧИ

Иль дует от оконницы?
Я кутаюсь, я зябну у огня...
Ломоты да бессонницы
Измучили, ослабили меня.

Гляжу на уголь тлеющий,
На жалобный, на пепельный налет,
И в памяти слабеющей
Все прошлое, вся жизнь моя встает.

Грехи да заблуждения...
Но буду ли их ныне вспоминать?
Великого учения
Премудрую постиг я благодать.

Погибель и несчастие —
Лишь в суетной покорности страстям.
Явил Господь бесстрастие,
Бесстрастие Он заповедал нам.

Любовь — но не любовную,
Греховную, рожденную в огне,
А чистую, бескровную —
Духовную — Он посылает мне.

Изменникам — прощение,
Друзьям моим и недругам — привет...
О, вечное смирение!
О, сладостный, о, радостный завет!

Все плоть моя послушнее...
Распаяно последнее звено.
Чем сердце равнодушнее,
Тем Господу угоднее оно.

Гляжу в очаг, на тление...
От тления лишь дух освобожден.
Какое умиление!
В нечестии весь мир,— а я спасен!

02

ПОЦЕЛУЙ

Когда, Аньес, мою улыбку
К твоим устам я приближаю,
Не убегай пугливой рыбкой,
Что будет — я и сам не знаю.

Я знаю радость приближенья,
Веселье дум моих мятежных;
Но в цепь соединю ль мгновенья?
И губ твоих коснусь ли нежных?

Взгляни, не бойся: взор мой ясен,
А сердце трепетно и живо.
Миг обещанья так прекрасен!
Аньес... Не будь нетерпелива...

И удаление, и теснасть
Равны — в обоих есть тревожность.
Аньес, люблю я неизвестность,
Не исполнение — возможность.

Дрожат уста твои, не зная,
Какой огонь я берегу им...
Аньес... Аньес... и только края
Коснусь скользящим поцелуем...

03

ПЬЯВКИ

Там, где заводь тихая, где молчит река,
Липнут пьявки черные к корню тростника.

В страшный час прозрения, на закате дней,
Вижу пьявок, липнущих и к душе моей.

Но душа усталая мертвенно тиха.
Пьявки, пьявки черные жадного греха!

02

МУЧЕНИЦА

Кровью и огнем меня покрыли,
Будут жечь, и резать, и колоть,
Уголь алый к сердцу положили,
И горит моя живая плоть.

Если смерть — светло я умираю,
Если гибель — я светло сгорю.

И мучителей моих я — не прощаю,
Но за муку — их благодарю.

Ибо радость из-под муки рвется,
И надеждой кажется мне кровь.
Пусть она за эту радость льется,
За Того, к кому моя любовь.

02

ЧАСЫ СТОЯТ

Часы остановились. Движенья больше нет.
Стоит, не разгораясь, за окнами рассвет.

На скатерти холодной неубранный прибор,
Как саван белый, складки свисают на ковер.

И в лампе не мерцает блестящая дуга...
Я слушаю молчанье, как слушают врага.

Ничто не изменилось, ничто не отошло;
Но вдруг отяжелело, само в себе вросло.

Ничто не изменилось с тех пор, как умер звук,
Но точно где-то властно сомкнули тайный круг.

И все, чем мы за краткость, за легкость дорожим —
Вдруг сделалось бессмертным, и вечным — и чужим.

Застыло, каменея, как тело мертвеца...
Стремленье — но без воли. Конец — но без конца.

И вечности безглазой беззвучен строй и лад.
Остановилось время. Часы, часы стоят!

02

АЛМАЗ

Д. В. Философову

Вечер был ясный, предвесенний, холодный,
зеленая небесная высота — тиха.
И был тот вечер — Господу неугодный,
была годовщина нашего невольного греха.

В этот вечер, будто стеклянный — звонкий,
на воспоминание и боль мы осуждены.
И глянул из-за угла месяц тонкий
нам в глаза с нехорошей, с левой стороны.

В этот вечер, в этот вечер веселый,
смеялся месяц, узкий, как золотая нить.
Люди вынесли гроб, белый, тяжелый,
и на дроги с усилием старались положить.

Мы думали о том, что есть у нас брат — Иуда,
что предал он на грех, на кровь — не нас...
Но не страшен нам вечер; мы ждем чуда,
ибо сердце у нас острое, как алмаз.

29.3.02

ЧИСЛА

Бездонного, предчувственного смысла
И благодатной мудрости полны,
Как имена вторые — нам даны
    Божественные числа.

И день, когда родимся, налагает
На нас печать заветного числа;
До смерти наши мысли и дела
    Оно сопровождает.

И между числами — меж именами —
То близость, то сплетенье, то разлад.
Мир чисел, мы,— как бы единый сад,
    С различными цветами.

Земная связь людей порою рвется,
Вот — кажется — и вовсе порвалась...
Но указанье правды — чисел связь
    Навеки остается.

В одеждах одинаковых нас трое.
Как знак различия и общности, легло
На ткани алой — белое число,
    Для каждого — родное.

Наш первый — 2. Второй, с ним, повторяясь,
Свое, для третьего, прибавил — 6.
И вот в обоих первых — третий есть,
Из сложности рождаясь.

Пусть нет узла — его в себе мы носим.
Никто сплетенных чисел не рассек.
А числа, нас связавшие навек,—
2, 26 и 8.

03

13

Тринадцать, темное число!
Предвестье зол, насмешка, мщенье,
Измена, хитрость и паденье —
Ты в мир со Змеем приползло.

И, чтоб везде разрушить чет,—
Из всех союзов и слияний,
Сплетений, смесей, сочетаний —
Тринадцать Дьявол создает.

Он любит числами играть.
От века ненавидя вечность —
Позорит 8 — бесконечность —
Сливая с ним пустое 5.

Иль, чтоб тринадцать сотворить,—
Подвижен, радостен и зорок —
Покорной парою пятерок
Он 3 дерзает осквернить.

Порой, не брезгуя ничем,
Число звериное хватает
И с ним, с шестью, соединяет
Он легкомысленное 7.

И, добиваясь своего,
К двум с десятью он не случайно
В святую ночь беседы тайной
Еще прибавил — одного.

Твое, тринадцать, острие,
То откровенно, то обманно,
Но непрестанно, неустанно
Пронзает наше бытие.

И, волей Первого Творца,
Тринадцать, ты — необходимо.
Законом мира ты хранимо —
Для мира грозного Конца.

03

МЕРЕЖИ

Мы долго думали, что сети
Сплетает Дьявол с простотой,
Чтоб нас поймать, как ловят дети
В силки беспечных птиц весной.

Но нет. Опутывать сетями —
Ему не нужно никого.
Он тянет сети — между нами,
В весельи сердца своего.

Сквозь эту мглу, сквозь эту сетку
Друг друга видим мы едва,
Чуть слышен голос через клетку,
Обезображены слова.

Шалун во образе змеином
Пути друг к другу нам пресек.
И в одиночестве зверином
Живет доныне человек.

02

НАГИЕ МЫСЛИ

Темные мысли — серые птицы...
Мысль одинокая нас не живит:
Смех ли ребенка, луч ли денницы,
Струн ли дрожание — сердце молчит.

Не оясняют, но отдаляют
Мысли немые желанный ответ.
Ожесточают и угашают
Нашей природы божественный свет.

Тяжкие мысли — мысли сухие,
Мысли без воли — нецарственный путь.
Знаю свои и чужие грехи я,
Знаю, где можно от них отдохнуть.

Мы соберемся в скорби священной,
В дыме курений, при пламени свеч,
Чтобы смиренно и дерзновенно
В новую плоть наши мысли облечь.

Мы соберемся, чтобы хотеньем
В силу бессилие преобразить,
Веру — со знанием, мысль — с откровеньем,
Разум — с любовию соединить.

02

О ВЕРЕ

А. К⟨арташеву⟩

Великий грех желать возврата
Неясной веры детских дней.
Нам не страшна ее утрата,
Не жаль пройденных ступеней.

Мечтать ли нам о повтореньях?
Иной мы жаждем высоты.
Для нас — в слияньях и сплетеньях
Есть откровенья простоты.

Отдайся новым созерцаньям,
О том, что было,— не грусти
И к вере истинной — со знаньем —
Ищи бесстрашного пути.

02

БОЖЬЯ ТВАРЬ

За Дьявола Тебя молю,
Господь! И он — Твое созданье.
Я Дьявола за то люблю,
Что вижу в нем — мое страданье.

Борясь и мучаясь, он сеть
Свою заботливо сплетает...
И не могу я не жалеть
Того, кто, как и я,— страдает.

Когда восстанет наша плоть
В Твоем суде, для воздаянья,
О, отпусти ему, Господь,
Его безумство — за страданье.

02

КОСТЕР

Живые взоры я встречаю...
Огня, огня! Костер готов.
Я к ближним руки простираю,
Я жду движенья, знака, слов...

С какою радостною мукой
В очах людей ловлю я свет!
Но говорю... и дышит скукой
Их утомительный ответ.

Я отступаю, безоружный,
И длю я праздный разговор,
И лью я воду на ненужный,
На мой безогненный костер.

О, как понять, что это значит?
Кого осудим — их? меня?
Душа обманутая плачет...
Костер готов — и нет огня.

02

СТРАНЫ УНЫНИЯ

Минуты уныния...
Минуты забвения...
И мнится — в пустыне я...
Сгибаю колени я,
Молюсь — но не мо́лится
Душа несогретая,
Стучу — не отворится,

Зову — без ответа я...
Душа словно тиною
Окутана вязкою,
И страх, со змеиною
Колючею ласкою,
Мне в сердце впивается,
И проклят отныне я...
Но нет дерзновения.
Кольцо замыкается...
О, страны забвения!
О, страны уныния!

02

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Тихие окна, черные...
Дождик идет шепотом...
Мысли мои — непокорные.
Сердце полно — ропотом.

Падают капли жаркие
Робко, с мирным лепетом.
Мысли — такие яркие...
Сердце полно — трепетом.

Травы шепчутся сонные...
Нежной веет скукою...
Мысли мои — возмущенные,
Сердце горит — мукою...

И молчанье вечернее,
Сонное, отрадное,
Ранит еще безмернее
Сердце мое жадное...

03

ЛУНА И ТУМАН

Озеро дышит теплым туманом.
Он мутен и нежен, как сладкий обман.
Борется небо с земным обманом:
Луна весь до дна прорезает туман.

Я, как и люди, дышу туманом.
Мне близок, мне сладок уютный обман.
Только душа не живет обманом:
Она, как луна, проницает туман.

02

НИЧЕГО

Время срезает цветы и травы
У самого корня блестящей косой:
Лютик влюбленности, астру славы...
Но корни все целы — там, под землей.

Жизнь и мой разум, огненно-ясный!
Вы двое — ко мне беспощадней всего:
С корнем вы рвете то, что прекрасно,
В душе после вас — ничего, ничего!

03

ОПУСТОШЕНИЕ

В моей душе, на миг опустошенной,
На миг встают безгласные виденья.
Качают головами сонно, сонно,
И пропадают робкие виденья.

Во тьме идет неслышно дождь упрямый,
Безмолвный мимо пролетает ветер.
Задев крылами, сотрясает рамы
И вдаль летит без звука черный ветер.

Что холодит меня во мне так странно?
Я, слушая, не слышу бьенья сердца.
Как будто льда обломок острогранный
В меня вложили тайно вместо сердца.

Я сплю, успенью моему покорный,
Но чаю воскресенья вечной правды.
Неси мою надежду, ветер черный,
Туда, наверх, к престолу нашей Правды!

02

БОГИНЯ

Что мне делать с тайной лунной?
С тайной неба бледно-синей,
С этой музыкой бесструнной,
Со сверкающей пустыней?
Я гляжу в нее — мне мало,
Я люблю — мне не довольно...
Лунный луч язвит, как жало,—
Остро, холодно и больно.
Я в лучах блестяще-властных
Умираю от бессилья...
Ах, когда б из нитей ясных
Мог соткать я крылья, крылья!
О, Астарта! Я прославлю
Власть твою без лицемерья,
Дай мне крылья! Я расправлю
Их сияющие перья,
В сине-пламенное море
Кинусь в жадном изумленьи,
Задохнусь в его просторе,
Утону в его забвеньи...

02

НЕТ

Нет! Сердце к радости лишь вечно приближалось,
Ее порога не желая преступать,
Чтоб неизведанное в радости осталось,
Чтобы всегда равно могла она пленять.

Нет! Даже этою любимою дорогой
В нас сердце вещее теперь утомлено.
О неизведанном мы знаем слишком много...
Оно изведано другими... все равно!

Нет! Больше не мила нам и сама надежда.
С ней жизнь становится пустынна и легка.
Предчувствие любви... О, старая одежда!
Опять мятежность, безнадежность — и тоска!

Нет! Ныне все прошло. Мы не покорны счастью.
В безумье мудрости мы «нет» твердим всегда,
И будет нам дано сказать с последней властью
Свое невинное — неслыханное «да»!

03

СООБЩНИКИ

В. Брюсову

Ты думаешь, Голгофа миновала,
При Понтии Пилате пробил час,
И жизнь уже с тех пор не повторяла
Того, что быть могло — единый раз?

Иль ты забыл? Недавно мы с тобою
По площади бежали второпях,
К судилищу, где двое пред толпою
Стояли на высоких ступенях.

И спрашивал один, и сомневался,
Другой молчал — как и в былые дни.
Ты все вперед, к ступеням порывался...
Кричали мы: распни Его, распни!

Шел в гору Он — ты помнишь? — без сандалий...
И ждал Его народ из ближних мест.
С Молчавшего мы там одежды сняли
И на веревках подняли на крест.

Ты, помню, был на лестнице направо...
К ладони узкой я приставил гвоздь.
Ты стукнул молотком по шляпке ржавой,—
И вникло острие, не тронув кость.

Мы о хитоне спорили с тобою,
В сторонке сидя, у костра, вдвоем...
Не на тебя ль попала кровь с водою,
Когда ударил я Его копьем?

И не с тобою ли у двери гроба
Мы тело сторожили по ночам?
. . . .
Вчера, и завтра, и до века, оба —
Мы повторяем казнь — Ему и нам.

02

БАЛЛАДА

П. С. Соловьевой

Мостки есть в саду, на пруду, в камышах.
Там, под вечер, как-то, гуляя,
Я видел русалку. Сидит на мостках,—
Вся нежная, робкая, злая.

Я ближе подкрался. Но хрустнул сучок —
Она обернулась несмело,
В комочек вся съежилась, сжалась,— прыжок —
И пеной растаяла белой.

Хожу на мостки я к ней каждую ночь.
Русалка со мною смелее:
Молчит — но сидит, не кидается прочь,
Сидит, на тумане белея.

Привык я с ней, белой, молчать напролет
Все долгие, бледные ночи.
Глядеть в тишину холодеющих вод
И в яркие, робкие очи.

И радость меж нею и мной родилась,
Безмерна, светла, как бездонность;
Со сладко-горячею грустью сплелась,
И стало ей имя — влюбленность.

Я — зверь для русалки, я с тленьем в крови.
И мне она кажется зверем...
Тем жгучей влюбленность: мы силу любви
Одной невозможностью мерим.

О, слишком — увы — много плоти на мне!
На ней — может быть — слишком мало...
И вот мы горим в непонятном огне
Любви, никогда не бывалой.

Порой, над водой, чуть шуршат камыши,
Лепечут о счастье страданья...
И пламенно-чисты в полночной тиши —
Таинственно чисты — свиданья.

Я радость мою не отдам никому;
Мы — вечно друг другу желанны,
И вечно любить нам дано — потому,
Что здесь мы, любя,— неслиянны!

03

ЗЕЛЕНОЕ, ЖЕЛТОЕ И ГОЛУБОЕ

Я горестно измучен.
Я слаб и безответен.
О, мир так разнозвучен!
Так грубо разносветен!

На спрошенное тайно —
Обидные ответы...
Все смешано — случайно,
Слова, цвета и светы.

Лампада мне понятна,
Зеленая лампада.
Но лампы желтой пятна
Ее лучам — преграда.

И, голубея, окна
В рассветном льду застыли...
Сплелись лучи — в волокна
Неясно-бурой пыли.

И люди, зло и разно,
Сливаются, как пятна:
Безумно-безобразно
И грубо-непонятно.

03

ПАУКИ

Я в тесной келье — в этом мире.
И келья тесная низка.
А в четырех углах — четыре
Неутомимых паука.

Они ловки, жирны и грязны.
И все плетут, плетут, плетут...
И страшен их однообразный
Непрерывающийся труд.

Они четыре паутины
В одну, огромную, сплели.
Гляжу — шевелятся их спины
В зловонно-сумрачной пыли.

Мои глаза — под паутиной.
Она сера, мягка, липка.
И рады радостью звериной
Четыре толстых паука.

03

ЦЕПЬ

Один иду, иду чрез площадь снежную,
Во мглу вечернюю, легко туманную,
И думу думаю, одну, мятежную,
Всегда безумную, всегда желанную.

Колокола молчат, молчат соборные,
И цепь оградная во мгле недвижнее.
А мимо цепи, вдаль, как тени черные,
Как привидения,— проходят ближние.

Идут — красивые и безобразные,
Идут веселые, идут печальные;
Такие схожие — такие разные,
Такие близкие, такие дальные...

Где ненавистные — и где любимые?
Пути не те же ли всем уготованы?
Как звенья черные,— неразделимые,
Мы в цепь единую навеки скованы.

02

БЕЛАЯ ОДЕЖДА

Побеждающему Я дам белые одежды.
Апокалипсис

Он испытует — отдалением,
Я принимаю испытание.
Я принимаю со смирением
Его любовь — Его молчание.

И чем мольба моя безгласнее —
Тем неотступней, непрерывнее,
И ожидание — прекраснее,
Союз грядущий — неразрывнее.

Времен и сроков я не ведаю,
В Его руке Его создание...
Но победить — Его победою —
Хочу последнее страдание.

И отдаю я душу смелую
Мое страданье Сотворившему.
Сказал Господь: «Одежду белую
Я посылаю — победившему».

02

СОБРАНИЕ СТИХОВ. КНИГА ВТОРАЯ. 1903-1909

ПЕТЕРБУРГ

Сергею Платоновичу Каблукову

Люблю тебя, Петра творенье...

Твой остов прям, твой облик жёсток,
Шершавопыльный — сер гранит,
И каждый зыбкий перекресток
Тупым предательством дрожит.

Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь.
Твое дыханье — смерть и тленье,
А воды — горькая полынь.

Как уголь дни,— а ночи белы,
Из скверов тянет трупной мглой.
И свод небесный, остеклелый
Пронзен заречною иглой.

Бывает: водный ход обратен,
Вздыбясь, идет река назад...
Река не смоет рыжих пятен
С береговых своих громад,

Те пятна, ржавые, вкипели,
Их ни забыть — ни затоптать...
Горит, горит на темном теле
Неугасимая печать!

Как прежде, вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь...
И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь,—

Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг!
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

09. СПБ.

ПЕТУХИ

П. С. С⟨оловьевой⟩

Ты пойми — мы ни там, ни тут.
Дело наше такое,— бездомное.
Петухи поют, поют...
Но лицо небес еще темное.

На деревья гляди — на верхи.
Не колеблет их близость рассветная...
Все поют, поют петухи —
Но земля молчит, неответная...

06. Париж

БРАЧНОЕ КОЛЬЦО

Над тёмностью лампады незажженной
Я увидал сияющий отсвет.
Последним обнаженьем обнаженной
Моей душе — пределов больше нет.

Желанья были мне всего дороже...
Но их, себя, святую боль мою,
Молитвы, укованья,— все, о Боже,
В Твою Любовь с любовью отдаю.

И этот час бездонного смиренья
Крылатым пламенем облек меня.
Я властен властью — Твоего веленья,
Одет покровом — Твоего огня.

Я к близкому протягиваю руки,
Тебе, Живому, я смотрю в Лицо,
И в светлости преображенной муки
Мне легок крест, как брачное кольцо.

05. СПБ.

К НЕЙ

О, почему Тебя любить
Мне суждено неодолимо?
Ты снишься мне иль, может быть,
Проходишь где-то близко, мимо,

И шаг Твой дымный я ловлю,
Слежу глухие приближенья...
Я холод риз Твоих люблю,
Но трепещу прикосновенья.

Теряет бледные листы
Мой сад, Тобой завороженный...
В моем саду проходишь Ты,—
И я тоскую, как влюбленный.

Яви же грозное лицо!
Пусть разорвется дым покрова!
Хочу, боюсь — и жду я зова...
Войди ко мне. Сомкни кольцо.

05

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Дышит тихая весна,
Дышит светами приветными...
Я сидела у окна
За шерстями разноцветными.

Подбирала к цвету цвет,
Кисти яркие вязала я...
Был мне весел мой обет:
В храм святой завеса алая.

И уста мои твердят
Богу Сил мольбы привычные...
В солнце утреннем горят
Стены горницы кирпичные...

Тихо, тихо. Вдруг в окне,
За окном — мелькнуло белое...
Сердце дрогнуло во мне,
Сердце девичье, несмелое...

Но вошел... И не боюсь,
Не боюсь я Светлоликого.
Он как брат мой... Поклонюсь
Брату, вестнику Великого.

Белый дал он мне цветок...
Не судила я, не мерила,
Но вошел он на порог,
Но сказал,— и я поверила.

Воля Господа — моя.
Будь же, как Ему угоднее...
Хочет Он — хочу и я.
Пусть войдет Любовь Господняя...

Март, 04. СПБ.

НОЧЬЮ

Ночные знаю странные прозрения:
  Когда иду навстречу тишине,
Когда люблю ее прикосновения,
  И сила яркая растет во мне.

Колдует ли душа моя иль молится,—
  Не ведаю; но радостна мне весть...
Я чую, время пополам расколется
  И будущее будет тем, что есть.

Все чаянья — все дали и сближения —
  В один великий круг заключены.
Как ветер огненный,— мои хотения,
  Как ветер, беспреградны и властны.

И вижу я — на ком-то загораются
  Сияньем новым белые венцы...
Над временем, во мне, соприкасаются
  Начала и концы.

04

ДНЕМ

Я ждал полета и бытия.
Но мертвый ястреб — душа моя.
Как мертвый ястреб, лежит в пыли,
Отдавшись тупо во власть земли.
Разбить не может ее оков.
Тяжелый холод — земной покров.
Тяжелый холод в душе моей,
К земле я никну, сливаюсь с ней.
И оба мертвы — она и я.
Убитый ястреб — душа моя.

04

СВОБОДА

Я не могу покоряться людям.
  Можно ли рабства хотеть?
Целую жизнь мы друг друга судим —
  Чтобы затем — умереть.

Я не могу покоряться Богу,
  Если я Бога люблю.
Он указал мне мою дорогу,
  Как от нее отступлю?

Я разрываю людские сети —
  Счастье, унынье и сон.
Мы не рабы — но мы Божьи дети,
  Дети свободны, как Он.

Только взываю именем Сына
  К Богу, Творцу Бытия:
Отче, вовек да будут едино
  Воля Твоя и моя!

04

ВСЕ КРУГОМ

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,

Явно довольное, тайно блудливое,
Плоско смешное и тошно трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно холодное, жалко ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

04. СПБ.

НЕ ЗДЕСЬ ЛИ?

Я к монастырскому житью
Имею тайное пристрастие.
Не здесь ли бурную ладью
Ждет успокоенное счастие?

В полнóчь — служенье в алтаре,
Напевы медленно тоскливые...
Бредут, как тени, на заре
По кельям братья молчаливые.

А утром — звонкую бадью
Спускаю я в колодезь каменный,
И рясу черную мою
Ласкает первый отсвет пламенный.

Весь день — работаю без дум,
С однообразной неизменностью,
И убиваю гордый ум
Тупой и ласковой смиренностью.

Я на молитву становлюсь
В часы вечерние, обычные,
И говорю, когда молюсь,
Слова чужие и привычные.

Так жизнь проходит и пройдет,
Благим сияньем озаренная,
И ничего уже не ждет
Моя душа невозмущенная.

Неразличима смена дней,
Живу без мысли и без боли я,
Без упований и скорбей,
В одной блаженности — безволия.

04

ПОБЕДЫ

Звезды люблю я и листья весенние,—
Темную землю и алую кровь.
Чем сочетанья во мне совершеннее,
Тем горячее и тем неизменнее
Жадного сердца живая любовь.

Шорохи теплые, прикосновения
Хаоса черного — вас ли губить?
О, не пред образом мрака и тления,
Не пред угрозою всеразрушения
Может живая любовь отступить!

Темные шорохи, слепорожденные,
Я ли закрою пред вами лицо?
Безблагодатные и беззаконные,
Вас я хочу разбудить, мои сонные,
Вас заключить в световое кольцо.

Небо от крови закатной червоннее...
Мне ль по мостам золотым не идти?
С каждым мгновеньем люблю неуклоннее,
С каждым мгновеньем любовь озареннее,
Ближе воскресная смерть на пути!

06

УСПОКОЙСЯ?

Своей рукою Вседержитель
К спасенью хочет привести.
И уготована обитель,
И предназначены пути.

Все решено от Духа Свята,
Он держит всех судеб ключи,
Он всех спасет. Не трогай брата,
Не убеждай... Оставь. Молчи.

Но если всем своя дорога
И есть завет: не прекословь,—
Зачем же нам, по воле Бога,
Дана — бездейственно — Любовь?

04

ДОЖДИЧЕК

О, веселый дождь осенний,
Вечный — завтра и вчера!
Все беспечней, совершенней
Однозвучная игра.

Тучны, грязны и слезливы,
Оседают небеса.
Веселы и шепотливы
Дождевые голоса.

О гниеньи, разложеньи
Все твердят — не устают,
О всеобщем разрушеньи,
Умирании поют.

О болезни одинокой,
О позоре и скорбях
Жизни нашей темноокой,
Где один властитель — Страх.

И, пророчествам внимая,
Тупо, медленно живу,
Равнодушно ожидая
Их свершенья наяву.

Помню, было слово: крылья...
Или брежу? Все равно!
Без борьбы и без усилья
Опускаюсь я на дно.

04

ОНИ

Звенят, поют, проходят мимо,
Их не постичь, их не догнать,
Во мглу скользят неуловимо —
И возвращаются опять...

Игра и дымность в их привете,
Отсветы мыслей, тени слов...
Они — таинственные дети
Еще несознанных миров.

Не жизнь они — но жажда жизни,
Не звуки — только дрожь струны.
Своей мерцающей отчизне
Они, крылатые, верны.

А я, разумный и безвластный,
Заворожить их не могу,
Остановить их лет неясный,
Зажечь на этом берегу.

Я только слышу — вьются, вьются,
Беззвонный трепет я ловлю.
Играют, плачут и смеются,
А я, безвластный,— их люблю.

04

КОРОСТЕЛЬ

А. К.

«Горяча моя постель...
Думка белая измята...
Где-то плачет коростель,
Ночь дневная пахнет мятой.

Утомленная луна
Закатилась за сирени...
Кто-то бродит у окна,
Чьи-то жалобные тени.

Не меня — ее, ее
Любит он! Но не ревную,
Счастье ведаю мое
И, страдая,— торжествую.

Шорох, шепот я ловлю...
Обнял он ее, голубит...
Я одна — но я люблю!
Он — лишь думает, что любит.

Нет любви для двух сердец.
Там, где двое,— разрушенье.
Где начало — там конец.
Где слова — там отреченье.

Посветлеет дым ночной,
Встанет солнце над сиренью,
Он уйдет к любви иной...
Было тенью — будет тенью...

Горяча моя постель,
Светел дух мой окрыленный...
Плачет нежный коростель,
Одинокий и влюбленный».

04

МЕЖДУ

Д. В. Ф⟨илософову⟩

«На лунном небе чернеют ветки...
Внизу чуть слышно шуршит поток.
А я качаюсь в воздушной сетке,
Земле и небу равно далек.

Внизу — страданье, вверху — забавы.
И боль, и радость — мне тяжелы.
Как дети, тучки тонки, кудрявы...
Как звери, люди жалки и злы.

Людей мне жалко, детей мне стыдно,
Здесь — не поверят, там — не поймут.
Внизу мне горько, вверху — обидно...
И вот я в сетке — ни там, ни тут.

Живите, люди! Играйте, детки!
На все, качаясь, твержу я «нет»...
Одно мне страшно: качаясь в сетке,
Как встречу теплый, земной рассвет?

А пар рассветный, живой и редкий,
Внизу рождаясь, встает, встает...
Ужель до солнца останусь в сетке?
Я знаю, солнце — меня сожжет».

05

Дóма

Зеленые, лиловые,
Серебряные, алые...
Друзья мои суровые,
Цветы мои усталые...

Вы — дни мои напрасные,
Часы мои несмелые,
О, желтые и красные,
Лиловые и белые!

Затихшие и черные,
Склоненные и ждущие...
Жестокие, покорные,
Молчаньем Смерть зовущие...—

Зовут, неумолимые,
И зов их все победнее...
Цветы мои, цветы мои,
Друзья мои последние!

08. Париж

Нелюбовь

З. В⟨енгеровой⟩

Как ветер мокрый, ты бьешься в ставни,
Как ветер черный, поешь: ты мой!
Я древний хаос, я друг твой давний,
Твой друг единый,— открой, открой!

Держу я ставни, открыть не смею,
Держусь за ставни и страх таю.
Храню, лелею, храню, жалею
Мой луч последний — любовь мою.

Смеется хаос, зовет безокий:
Умрешь в оковах — порви, порви!
Ты знаешь счастье, ты одинокий,
В свободе счастье — и в Нелюбви.

Охладевая, творю молитву,
Любви молитву едва творю...
Слабеют руки, кончаю битву,
Слабеют руки... Я отворю!

07

ОВЕН И СТРЕЛЕЦ

Я родился в безумный месяц март...

А. Меньшов

Не март девический сиял моей заре:
Ее огни зажглись в суровом ноябре.

Не бледный халкидон — заветный камень мой,
Но гиацинт-огонь мне дан в удел земной.

Ноябрь, твое чело венчает яркий снег...
Две тайны двух цветов заплетены в мой век,

Два верных спутника мне жизнью суждены:
Холодный снег, сиянье белизны,—

И алый гиацинт,— его огонь и кровь.
Приемлю жребий мой: победность и любовь.

07

МУДРОСТЬ

Сошлись чертовки на перекрестке,
На перекрестке трех дорог.
Сошлись к полнóчи, и месяц жесткий
Висел вверху, кривя свой рог.

Ну, как добыча? Сюда, сестрицы!
Мешки тугие — вот прорвет!
С единой бровью и с ликом птицы —
Выходит старшая вперед.

И запищала, заговорила,
Разинув клюв и супя бровь:
«Да что ж, неплохо! Ведь я стащила
У двух любовников — любовь.

Сидят, целуясь... А я украдкой
Как подкачусь, да сразу — хвать!
Небось друг друга теперь не сладко
Им обнимать да целовать!»

А вы, сестрица? — «Я знаю меру,
Мне лишь была б полна сума.
Я у пророка украла веру,—
И он тотчас сошел с ума.

Он этой верой махал, как флагом,
Кричал, кричал... Постой же, друг!
К нему подкралась я тихим шагом —
Да флаг и вышибла из рук!»

Хохочет третья: «Вот это средство!
И мой денечек не был плох:
Я у ребенка украла детство,
Он сразу сник. Потом издох».

Смеясь, к четвертой пристали: «Ну же,
А ты явилась с чем, скажи?
Мешки тугие, всех наших туже...
Скорей веревку развяжи!»

Чертовка мнется, чертовке стыдно...
Сама худая, без лица.
— «Хоть я безлика, а все ж обидно:
Я обокрала — мудреца.

Жирна добыча, да в жире ль дело!
Я с мудрецом сошлась на грех.
Едва я мудрость стащить успела,—
Он тотчас стал счастливей всех!

Смеется, пляшет... Ну, словом, худо.
Назад давала — не берет.
«Спасибо, ладно! И вон отсюда!»
Пришлось уйти... Еще убьет!

Конца не вижу я испытанью.
Мешок тяжел, битком набит!
Куда деваться мне с этой дрянью?
Хотела выпустить — сидит».

Чертовки взвыли: «Наворожила!
Не людям быть счастливей нас!
Вот угодила, хоть и без рыла!
Тащи назад! Тащи сейчас!»

— «Несите сами! Я понесла бы,
Да если люди не берут!»
И разодрались четыре бабы:
Сестру безликую дерут.

Смеялся месяц... И от соблазна
Сокрыл за тучи острый рог.
Дрались... А мудрость лежала праздно
На перекрестке трех дорог.

08

ПЕРЕБОИ

Если сердце вдруг останавливается...—
на душе беспокойно и весело...
Точно сердце с кем-то уславливается...—
а жизнь свой лик занавесила...
Но вдруг —
Нет свершенья, новый круг,
Сердце тронуло порог,
Перешло — и вновь толчок,
И стучит, стучит, спеша,
И опять болит душа,
И опять над ней закон
Чисел, сроков и времен,
Кровь бежит, темно звеня,
Нету ночи, нету дня,
Трепет, ропот, торопь, стук,
И вдруг —

Сердце опять останавливается...—
Вижу я очи Твои, Безмерная,
под взором Твоим душа расплавливается...—
о, не уходи, моя Единая и Верная,
    овитая радостями тающими,
        радостями, знающими
                        Все.

05

УЗЕЛ

Сожму я в узел нить
    Меж сердцем и сознаньем.
Хочу разъединить
    Себя с моим страданьем.

И будет кровь не течь —
    Ползти, сквозь узел, глухо.
И будет сердца речь
    Невнятною для духа.

Пусть, теплое, стучит
    И бьется, спотыкаясь.
Свободный дух молчит,
    Молчит, не откликаясь.

Храню его полет
    От всех путей страданья.
Он дан мне — для высот
    И счастья созерцанья.

Узлом себя делю,
    Преградой размыкаю.
И если полюблю —
    Про это не узнаю.

Покой и тишь во мне.
    Я волей круг мой сузил.
. . . .
Но плачу я во сне,
    Когда слабеет узел...

05

ЗЕМЛЕ

В рассветный вечер окно открою
Навстречу росам и ветру мглистому.
Мое Страданье, вдвоем с тобою
Молиться будем рассвету чистому.

Я знаю: сила и созиданье
В последней тайне,— в ее раскрытии.
Теперь мы двое, мое Страданье,
Но будем Два мы,— в одном совитии.

И с новым ликом, без рабства счастью,
В лучах страданья, в тени влюбленности,
К рассветным росам пойдем со властью,
Разбудим росы от смертной сонности.

Сойдем туманом, веселым дымом,
Прольемся в небе зарею алою,
Зажжем желаньем неутолимым
Больную землю, сестру усталую...

Нет, не к сестре мы — к Земле-Невесте
Пойдем с дарами всесильной ясности.
И если нужно — сгорим с ней вместе,
Сгорим мы трое в огне всестрастности.

05

ОПРАВДАНИЕ

Ни воли, ни умелости,
Друзья мне — как враги...
Моей безмерной смелости,
Господь, о помоги!

Ни ясности, ни знания,
Ни силы быть с людьми...
Господь, мои желания,
Желания прими!

Ни твердости, ни нежности...
Ни бодрости в пути...
Господь, мои мятежности
И дерзость освяти!

Я в слабости, я в тленности
Стою перед Тобой.
        Во всей несовершенности
        Прими меня, укрой.

Не дам Тебе смирения,—
Оно — удел рабов,—
        Не жду я всепрощения,
        Забвения грехов,

Я верю — в Оправдание...
Люби меня, зови!
        Сожги мое страдание
        В огне Твоей Любви!

04

ТЫ

Вешнего вечера трепет тревожный —
    С тонкого тополя веточка нежная
Вихря порыв, горячо-осторожный,—
    Синей бездонности гладь безбережная.

В облачном небе просвет просиянный —
    Свежих полей маргаритка росистая.
Меч мой небесный, мой луч острогранный —
    Тайна прозрачная, ласково чистая.

Ты — на распутьи костер ярко-жадный —
    И над долиною дымка невестная.
Ты — мой веселый и беспощадный —
    Ты — моя близкая и неизвестная.

Ждал я и жду я зари моей ясной,
    Неутомимо тебя полюбила я...
Встань же, мой месяц серебряно-красный,
    Выйди, двурогая,— Милый мой — Милая...

05

СТЕКЛО

В стране, где все необычайно,
Мы сплетены победной тайной.
Но в жизни нашей, не случайно,
Разъединяя нас, легло
Меж нами темное стекло.
Разбить стекла я не умею,
Молить о помощи не смею;
Приникнув к темному стеклу,
Смотрю в безрадужную мглу,
И страшен мне стеклянный холод...
Любовь, любовь! О дай мне молот,
Пусть ранят брызги, все равно,
Мы будем помнить лишь одно,
Что там, где все необычайно,
Не нашей волей, не случайно,
Мы сплетены последней тайной...

Услышит Бог. Кругом светло.
Он даст нам сил разбить стекло.

04

ЕСЛИ

Если ты не любишь снег,
Если в снеге нет огня,—
Ты не любишь и меня,
Если ты не любишь снег.

Если ты не то, что я,—
Не увидим мы Лицо,
Не сомкнет Он нас в кольцо,
Если ты не то, что я.

Если я не то, что ты,—
В пар взлечу я без следа,
Как шумливая вода,
Если я не то, что ты.

Если мы не будем в Нем,
Вместе, свитые в одно,
В цепь одну, звено в звено,
Если мы не будем в Нем,—

Значит, рано, не дано,
Значит, нам — не суждено,
Просияв Его огнем,
На земле воскреснуть в Нем...

05

ТРИ ФОРМЫ СОНЕТА

I

Веленьем не моим, но мне понятным,
Ты, непонятная, лишь мне ясна.
Одной моей душой отражена,—
Лишь в ней сияешь светом незакатным.
Мечтаньям ли, молитвам ли невнятным
Ты отдаешься средь тоски и сна,—
От сна последнего ты спасена
Копьем будящим, ядом благодатным.

Я холод мертвый ядом растоплю,
Я острого копья не притуплю,
Пока живая сила в нем таится.
Но бойся за себя... Порою мнится,
Что ложью острое копье двоится,—
И что тебя я больше не люблю.

II

Я все твои уклоны отмечаю.
Когда ты зла,— я тихо утомлен,
Когда ты падаешь в забвенный сон,—
С тобою равнодушно я скучаю.
Тебя, унылую, брезгливо презираю,
Тобой, несчастной,— гордо огорчен,
Зато в глубокую всегда влюблен,
А с девочкою ясною — играю.

И каждую изменчивость я длю.
Мне равносвяты все твои мгновенья,
Они во мне — единой цепи звенья.
Терзаю ли тебя, иль веселю,
Влюбленности ли час, иль час презренья,—
Я через все, сквозь все — тебя люблю.

III

Б. Б⟨угаев⟩у

...И не мог совершить там никакого чуда...

Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу, не меряю.
Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог — владеет Рок.
Ты был на перекрестке трех дорог,—
И ты не стал лицом к Его преддверию...
Он удивился твоему неверию
И чуда над тобой свершить не мог.

Он отошел в соседние селения...
Не поздно, близок Он, бежим, бежим!
И, если хочешь,— первый перед Ним
С бездумной верою склоню колени я...
Не Он Один — все вместе совершим,
По вере,— чудо нашего спасения...

07. Париж

ТОЛЬКО О СЕБЕ

Нат. Гиппиус

Мы,— робкие,— во власти всех мгновений.
Мы,— гордые,— рабы самих себя.
Мы веруем,— стыдясь своих прозрений,
И любим мы,— как будто не любя.

Мы,— скромные,— бесстыдно молчаливы.
Мы в радости боимся быть смешны,—
И жалобно всегда самолюбивы,
И низменно всегда разделены!

Мы думаем, что новый храм построим
Для новой, нам обещанной земли...
Но каждый дорожит своим покоем
И одиночеством в своей щели.

Мы,— тихие,— в себе стыдимся Бога,
Надменные,— мы тлеем, не горя...
О, страшная и рабская дорога!
О, мутная последняя заря!

04. СПБ.

ВОЗЬМИ МЕНЯ

Открой мне, Боже, открой людей!
Они Твои ли, Твое ль созданье?
Иль вражьих плевел произрастанье?
Открой мне, Боже, открой людей!

Верни мне силу, отдай любовь.
Отдай ночные мои прозренья,
И трепет крыльев, и озаренья...
Отдай мне, Боже, мою любовь.

И в час победы — возьми меня.
Возьми, о, жизни моей Властитель,
В Твое сиянье, в Твою обитель,
В Твое забвенье возьми меня!

04

ЧАС ТРЕТИЙ

Три раза искушаема была Любовь моя.
И мужественно борется...— сама Любовь, не я.

Вставало первым странное и тупо-злое тело.
Оно, слепорожденное, прозрений не хотело.

И яростно противилось, и падало оно,
Но было волей светлою Любви — озарено.

Потом душа бездумная — опять слепая сила —
Привычное презрение и холод возрастила.

Но волею горячею растоплен колкий лед:
Пускай в оврагах холодно,— черемуха цветет!

О, дважды искушенная, дрожи пред третьим разом!
Встает мой ярко огненный, мой беспощадный разум!

Ты разум человеческий, его огонь и тишь,
Своей одною силою, Любовь,— не победишь.

Не победишь, живущая в едином сердце тленном,
Лишь в сердце человеческом, изменном и забвенном.

Но если ты не здешнего — иного сердца дочь,—
Себя борьбою с разумом напрасно не порочь.

Земная ярость разума светла, но не бездонна.
Любовь! Ты власти разума, как смерти, неподклонна.

Но в Третий час к Создавшему, приникнув, воззови,—
И Сам придет Защитником рожденной Им — Любви.

06

В ЧЕРТУ

Он пришел ко мне,— а кто, не знаю,
Очертил вокруг меня кольцо.
Он сказал, что я его не знаю,
Но плащом закрыл себе лицо.

Я просил его, чтоб он помедлил,
Отошел, не трогал, подождал.
Если можно, чтоб еще помедлил
И в кольцо меня не замыкал.

Удивился Темный: «Что могу я?»
Засмеялся тихо под плащом.
«Твой же грех обвился,— что могу я?
Твой же грех обвил тебя кольцом».

Уходя, сказал еще: «Ты жалок!»
Уходя, сникая в пустоту.
«Разорви кольцо, не будь так жалок!
Разорви и вытяни в черту».

Он ушел, но он опять вернется.
Он ушел — и не открыл лица.
Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца.

05

СВЯТОЕ

Печали есть повсюду...
Мне надоели жалобы;
Стихов слагать не буду...
О, мне иное жало бы!

Пчелиного больнее,
Змеиного колючее...
Чтоб ранило вернее,—
И холодило, жгучее.

Не яд, не смерть в нем будет;
Но, с лаской утаенною,
Оно, впиваясь,— будит,
Лишь будит душу сонную.

Чтобы душа дрожала
От счастия бессловного...
Хочу — святого жала,
Божественно-любовного.

05

ОНА

В своей бессовестной и жалкой низости,
Она как пыль сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.

Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.

О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа — она глуха.

Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!

05. СПБ.

ОНА

А. А. Блоку

Кто видел Утреннюю, Белую
Средь расцветающих небес,—
Тот не забудет тайну смелую,
Обетование чудес.

Душа, душа, не бойся холода!
То холод утра — близость дня.
Но утро живо, утро молодо,
И в нем — дыхание огня.

Душа моя, душа свободная!
Ты чище пролитой воды,
Ты — твердь зеленая, восходная,
Для светлой Утренней Звезды.

05. СПБ.

ОПЯТЬ

Бор. Буг⟨аеву⟩

Ближе, ближе вихорь пыльный,
Мчится вражеская рать.
Я — усталый, я — бессильный,
Мне ли с вихрем совладать?

Одинокие послушны,
Не бегут своей судьбы.
Пусть обнимет вихорь душный,
Побеждает без борьбы.

Выйду я к нему навстречу,
Силе мглистой поклонюсь.
На призыв ее отвечу,
В нити серые вовьюсь.

Не разрежет, не размечет,
Честной сталью не пронзит,—
Незаметно изувечит,
Невозвратно ослепит.

Попируем мы на тризне...
Заметайся, пыльный след!
Распадайтесь, скрепы жизни,
Ночь прошла, но утра нет.

Едко, сладко дышит тленье...
В сером вихре тает плоть...
Помяни мое паденье
На суде Твоем, Господь!

06

КАМЕНЬ

Камень тела давит дух,
Крылья белые, шелестящие,
Думы легкие и творящие...
Давит камень тела — дух.

Камень тела душит плоть,
Радость детскую, с тайной свитую,
Ласку быструю и открытую...
Душит камень тела — плоть.

Камню к камню нет путей.
Мы в одной земле — погребенные,
И собой в себе — разделенные...
Нам друг к другу нет путей.

07

ШУТКА

Не слушайте меня, не стоит: бедные
Слова я говорю; я — лгу.
И если в сердце знанья есть победные,—
Я от людей их берегу.

Как дети, люди: злые и невинные,
Любя, умеют оскорблять.
Они еще не горные — долинные...
Им надо знать — но рано знать.

Минуют времена узаконенные...
Заветных сроков ждет душа.

А до времен, молчаньем утомленные,
Мы лжем, скучая и — смеша.

Так и теперь, сплетая речь размерную,
Лишь о ненужностях твержу.
А тайну грозную, последнюю и верную,—
Я все равно вам не скажу.

05

РОСНОЕ ИМЯ

Вал. Нувелю

Мы вчера говорили, говорили...
Прекрасные, ясные цветы вырастали,
тонкие, стройные травы всходили,
вырастали, всходили — и вяли...

Сухие стебли поникли, повисли,
и не было ничего, что было...
Нас связали слова и мысли,
а Страшное Имя разделило.

Мы разошлись забвенно и косно,
не знаю — праведно иль греховно...
Ужели навек все меж нами безросно,
и безросно, и безлюбовно?

04

ИМЕТЬ

Вас. Успенскому

В зеленом шуме листьев вешних,
В зеленом шорохе волны,
Я вечно жду цветов нездешних
Еще несознанной весны.

А Враг так близко в час томленья
И шепчет: «Слаще — умереть...»
Душа, беги от искушенья,
Умей желать,— умей иметь.

И если детски плачу ночью
И слабым сердцем устаю —
Не потеряю к беспорочью
Дорогу верную мою.

Пусть круче всход — белей ступени.
Хочу дойти, хочу узнать,
Чтоб там, обняв Его колени,
И умирать — и воскресать.

05

ВОДОСКАТ

А. А. Блоку

Душа моя угрюмая, угрозная,
    Живет в оковах слов.
Я — черная вода, пенноморозная,
    Меж льдяных берегов.

Ты с бедной человеческою нежностью
    Не подходи ко мне.
Душа мечтает с вещей безудержностью
    О снеговом огне.

И если в мглистости души, в иглистости
    Не видишь своего,—
То от тебя ее кипящей льдистости
    Не нужно ничего.

05

МАЛИНКА

...А в ком дух слабел, тому дед давал ягодки, вроде малинки. И кто кушал, тот уже смерти не пугался, а шел на нее мирно, как бы в полусне...

Раскольники-самосожженцы

Лист положен сверху вялый,
Переплет корзинки туг.
Я принес подарок алый
Для души твоей, мой друг.

Темноярки и пушисты,
Все они — одна к одной.
Спят, как дети, чисты, чисты,
В колыбели под листвой.

Томь полудня вздохом мглистым
Их, лаская, обвила.
Дымом легким и огнистым
Заалели их тела.

Погляди ж в мою корзинку,
Угостить себя позволь...
Любит вещую малинку
Человеческая боль.

Сердце плачет? Кушай, кушай,
Сердце — ворог, сердце — зверь.
Никогда его не слушай,
Никогда ему не верь.

Обрати душой покорной
Трепет в тихость, пламень в лед...
От малинки наговорной
Все забудешь, все пройдет.

Кушай, кушай... Всюду бренность,
Радость — с горем сплетена...
Кушай... В ягодках забвенность,
Мара, сон и тишина...

07

АВГУСТ

Пуста пустыня дождевая...
И, обескрылев в мокрой мгле,
Тяжелый дым ползет, не тая,
И никнет, тянется к земле.

Страшна пустыня дождевая...
Охолодев, во тьме, во сне,
Скользит душа, ослабевая,
К своей последней тишине.

Где мука мудрых, радость рая?
Одна пустыня дождевая,

Дневная ночь, ночные дни...
Живу без жизни, не страдая,
Сквозь сон все реже вспоминая
В тени угасшие огни.

Господь, Господь мой, Солнце, где Ты?
Душе плененной помоги!
Прорви туманные наветы,
О, просияй! Коснись! Сожги...

04

БОЛЬ

«Красным углем тьму черчу,
Колким жалом плоть лижу,
Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу.

Шнурочком ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу,
Иглой пронижу.

И я такая добрая,
Влюблюсь — так присосусь.
Как ласковая кобра я,
Ласкаясь, обовьюсь.

И опять сожму, сомну,
Винт медлительно ввинчу,
Буду грызть, пока хочу.
Я верна — не обману.

Ты устал — я отдохну,
Отойду и подожду.
Я верна, любовь верну,
Я опять к тебе приду,
Я играть с тобой хочу,
Красным углем зачерчу...»

06

ЗЕМЛЯ

Пустынный шар в пустой пустыне,
Как Дьявола раздумие...
Висел всегда, висит поныне...
Безумие! Безумие!

Единый миг застыл — и длится,
Как вечное раскаянье...
Нельзя ни плакать, ни молиться...
Отчаянье! Отчаянье!

Пугает кто-то мукой ада,
Потом сулит спасение...
Ни лжи, ни истины не надо...
Забвение! Забвение!

Сомкни плотней пустые очи
И тлей скорей, мертвец.
Нет утр, нет дней, есть только ночи...
Конец.

08

ГРОЗА

А. А. Блоку

Моей души, в ее тревожности,
Не бойся, не жалей.
Две молнии — две невозможности —
Соприкоснулись в ней.

Ищу опасное и властное
Слиянье всех дорог.
А все живое и прекрасное
Приходит в краткий срок.

И если правда здешней нежности
Не жалость, а любовь,—
Всесокрушающей мятежности
Моей не прекословь.

Тебя пугают миги вечные...
Уйди, закрой глаза.
В душе скрестились светы встречные,
В моей душе — гроза.

05

ТАК ЛИ?

Бегу от горько сложной боли я,
От праздных мыслей, праздных слов.
Бегу от судорог безволия
И перепутанных узлов.

О, эти злобные туманности,
Порывный взлет — падений пыль...
Не лучше ль в тихой безжеланности
Уснуть, как спит степной ковыль?..
. . . .

07

ОНО

Ярко цокают копыта...
Что там видно, у моста?
Все затерто, все забыто,
В тайне мыслей пустота...
Только слушаю копыта,
Шум да крики у моста.

Побежало тесно, тучно
Многоногое Оно.
Упоительно — и скучно.
Хорошо — и все равно.
И слежу, гляжу, как тучно
Мчится грозное Оно.

Покатилось, зашумело,
Раскусило удила,
Все размыло, все разъело,
Чем душа моя жила.
И душа в чужое тело
Пролилась — и умерла.

Жадны звонкие копыта,
Шумно, дико и темно,
Там — веселье с кровью слито,
Тело в тело вплетено...

Все разбито, все забыто,
Пейте новое вино!
Жадны звонкие копыта,
Будь что будет — все равно!

Октябрь, 05. СПБ.

ЗАКЛИНАНЬЕ

Расточитесь, духи непослушные,
Разомкнитесь, узы непокорные,
Распадитесь, подземелья душные,
Лягте, вихри, жадные и черные.

Тайна есть великая, запретная.
Есть обеты — их нельзя развязывать.
Человеческая кровь — заветная:
Солнцу кровь не велено показывать.

Разломись Оно, проклятьем цельное!
Разлетайся, туча исступленная!

Бейся, сердце, каждое — отдельное,
Воскресай, душа освобожденная!

Декабрь, 05. СПБ.

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

П. Соловьевой

Неудержимый, властный, влажный,
Весельем белым окрылен,
Слепой, безвольный — и отважный,
Он вестник смены, сын Времен.

В нем встречных струй борьба и пляска,
И разрезающе остра
Его неистовая ласка,
Его бездумная игра.

И оседает онемелый,
Усталый, талый, старый лед.
Люби весенний ветер белый,
Его игру, его полет...

07

СЫЗНОВА

Хотим мы созидать — и разрушать.
Все сызнова начнем, сначала.
Ужели погибать и воскресать
Душа упрямая устала?

Все сызнова начнем; остановись,
Жужжащая уныло прялка.
Нить, перетлевшая давно,— порвись!
Мне в прошлом ничего не жалко.

А если не порвешься — рассечем.
Мой гнев, удар мой, непорочен.
Разделим наше бытие мечом:
Клинок мерцающий отточен...

07

ВНЕЗАПНО...

Тяжки иные тропы́...
Жизнь ударяет хлестко...
    Чьи-то глаза из толпы
        взглянули так жестко.

        Кто ты, усталый, злой,
        путник печальный?
        друг ли грядущий мой?
            враг ли мой дальный?

В общий мы замкнуты круг
    боли, тоски и заботы...
Верю я, все ж ты мне друг,
    хоть и не знаю,— кто ты...

08

ЧЕРНЫЙ СЕРП

Спеленут, лежу, покорный,
Лежу я очень давно;
А месяц, черный-пречерный,
Глядит на меня в окно.
Мне страшно, что месяц черный...

А впрочем,— не все ль равно?
Когда-то я был упорный,
Вил цепь, за звеном звено...
Теперь, как пес подзаборный,
Лежу да твержу одно:
И чем мой удел позорный?
Должно быть, так суждено.
Водицы бы мне наговорной,—
Да нет ее, не дано;
Чьей силою чудотворной
Вода перейдет в вино?
И страх мой — и тот притворный:
Я рад, что кругом темно,
Что месяц корявый, черный
Глядит на меня в окно.

08

ТОСКЕ ВРЕМЕН

Пришли — и стали тени ночи...

Полонский

Ты, уныльница, меня не сторожи,
Ты хитра — и я хитер, не обморочишь.
Глубоко я провожу мои межи,
И захочешь, да никак не перескочишь.

Я узнал тебя во всех твоих путях,
Ты сближаешь два обратные желанья,
Ты сидишь на перепутанных узлах,
Ищешь смешанности, встречности, касанья.

Я покорных и несчастных не терплю,
Я рабом твоим, запутчица, не стану.
Ты завяжешь — я разрежу, разделю,
Не поддамся надоевшему обману.

Буду весел я и прост — пока живу...
Если в сердце, в самом сердце петлю стянешь,—
Я и этот страшный узел разорву...
Не поймаешь, не обманешь, не обманешь...

07

ЖУРАВЛИ

Ал. Меньшову

Там теперь над проталиной вешнею
Громко кричат грачи,
И лаской полны нездешнею
Робкой весны лучи...

Протянулись сквозистые нити...
Точно вестники тайных событий
С неба на землю сошли.
Какою мерою печаль измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить
В правду моей земли!

Там под ризою льдяной, кроткою,
Слышно дыханье рек.
Там теперь под березкой четкою
Слабее талый снег...

Не туда ль, по тверди глубинной,
Не туда ль, вереницею длинной,
Летят, стеня, журавли?
Какою мерою порыв измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить
В счастье моей земли!

И я слышу, как лед разбивается,
Властно поет поток,
На ожившей земле распускается
Солнечно-алый цветок...

Напророчили вещие птицы:
Отмерцали ночные зарницы,—
Солнце встает вдали...
Какою мерою любовь измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить
В силу моей земли!

Март, 08. Париж

ДЬЯВОЛЕНОК

Мне повстречался дьяволенок,
Худой и щуплый,— как комар.
Он телом был совсем ребенок,
Лицом же дик: остер и стар.

Шел дождь... Дрожит, темнеет тело,
Намокла всклоченная шерсть...
И я подумал: эко дело!
Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.

Твердят: любовь, любовь! Не знаю.
Не слышно что-то. Не видал.
Вот жалость... Жалость понимаю.
И дьяволенка я поймал.

Пойдем, детеныш! Хочешь греться?
Не бойся, шерстку не ерошь.
Что тут на улице тереться?
Дам детке сахару... Пойдешь?

А он вдруг эдак, сочно, зычно,
Мужским, ласкающим баском
(Признаться — даже неприлично
И жутко было это в нем) —

Пророкотал: «Что сахар? Глупо.
Я, сладкий, сахару не ем.
Давай телятинки да супа...
Уж я пойду к тебе — совсем».

Он разозлил меня бахвальством...
А я хотел еще помочь!
Да ну тебя с твоим нахальством!
И не спеша пошел я прочь.

Но он заморщился и тонко
Захрюкал... Смотрит, как больной...
Опять мне жаль... И дьяволенка
Тащу, трудясь, к себе домой.

Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,
Не то дитя, не то старик.

И все твердит: «Я сладкий, сладкий...»
Оставил я его. Привык.

И даже как-то с дьяволенком
Совсем сжился я наконец.
Он в полдень прыгает козленком,
Под вечер — темен, как мертвец,

То ходит гоголем-мужчиной,
То вьется бабой вкруг меня,
А если дождик — пахнет псиной
И шерстку лижет у огня.

Я прежде всем себя тревожил:
Хотел того, мечтал о том...
А с ним мой дом... не то что ожил,
Но затянулся, как пушком.

Безжалостно-благополучно,
И нежно-сонно, и темно...
Мне с дьяволенком сладко-скучно...
Дитя, старик,— не все ль равно?

Такой смешной он, мягкий, хлипкий,
Как разлагающийся гриб.
Такой он цепкий, сладкий, липкий,
Все липнул, липнул — и прилип.

И оба стали мы — единый.
Уж я не с ним — я в нем, я в нем!
Я сам в ненастье пахну псиной
И шерсть лижу перед огнем...

Декабрь, 06. Париж

ЖЕНСКОЕ

«НЕТУ»

Где гниет седеющая ива,
где был и ныне высох ручеек,
девочка, на краю обрыва,
плачет, свивая венок.

Девочка, кто тебя обидел?
скажи мне: и я, как ты, одинок.

(Втайне я девочку ненавидел,
не понимал, зачем ей венок.)

Она испугалась, что я увидел,
прошептала странный ответ:
меня Сотворивший меня обидел,
я плачу оттого, что меня нет.

Плачу, венок мой жалкий сплетая,
и не тепел мне солнца свет.
Зачем ты подходишь ко мне, зная,
что меня не будет — и теперь нет?

Я подумал: это святая
или безумная. Спасти, спасти!
Ту, что плачет, венок сплетая,
взять, полюбить и с собой увести...

— О, зачем ты меня тревожишь?
мне твоего не дано пути.
Ты для меня ничего не можешь:
того, кого нет,— нельзя спасти.

Ты душу за меня положишь,—
а я останусь венок свой вить.
Ну скажи, что же ты можешь?
это Бог не дал мне — быть.

Не подходи к обрыву, к краю...
Хочешь убить меня, хочешь любить?
я ни смерти, ни любви не понимаю,
дай мне венок мой, плача, вить.

Зачем я плачу — тоже не знаю...
высох — но он был, ручеек...
Не подходи к страшному краю:
мое бытие — плача, вить венок.

07. Париж

ОН — ЕЙ

Разве, милая, тебя люблю я,
как человек
человека?

Я людей любить, страдая и ревнуя,
не умею,
не умею.

Но как тайную тебя люблю я радость,
простую,
простую...
Как нежданную и ведомую сладость
молитвы,
молитвы.

Я люблю тебя, как иву ручьевую,
тихую,
тихую,
Как полоску в небе заревую,
тонкую,
тонкую.

Я люблю тебя, как весть оттуда,
где все ясное,
ясное.
Ты в душе — как обещанье чуда,
верное,
верное.

Ты — напоминание чего-то дорогого,
вечного,
вечного.
Я люблю тебя, как чье-то слово
вещее,
вещее.

07

ТВАРЬ

Царица вечно-ясная,
Душа моей души!
Зову тебя, прекрасная,
Зову тебя, спеши!

Но знаю, на свидание
Придешь ты не одна:
Придет мое страдание,
Мой грех, моя вина.

И пред тобой, обиженной,
Склоняться буду ниц.
И слезы пить униженно
С опущенных ресниц.

Прости мне! Бесконечности
В любви я не достиг.
Творю тебя не в вечности,—
Творю на краткий миг.

Приходишь ты, рожденная
Лишь волею моей.
И, волею зажженная,
Погаснешь вместе с ней.

Шатаясь, отодвинешься,—
Чуть ослабею я...
И молча опрокинешься
Во мглу небытия.

07

ZEPP'LIN III

Еще мы здесь, в юдоли дольней...
Как странен звон воздушных струн!
То сероблещущий летун
Жужжит над старой колокольней.

Его туманные винты,
Как две медузы, дымноструйны.
И мнится — вот он, юный, буйный,
Заденет древние кресты.

Но взмыл — и режет облак пыльный
Своим сверкающим ребром.
И пар небес, под острием,
Растаял, нежный и бессильный.

Дрожит волнистая черта,
На нем и в нем все что-то дышит...
И ласково его колышет,
Смиряясь, злая пустота.

Нет, мы не здесь, в юдоли дольней,
Мы с ним, летим, к завесе туч!
И серый луч скользит, колюч,
Над удивленной колокольней.

Francfurt a⟨m⟩ M⟨ein⟩, 09

ДОВОЛЬНО

С. П. К⟨аблуко⟩ву

Мы долго ей, царице самозванной,
Курили фимиам.
Еще струится дым благоуханный,
Еще мерцает храм.

Но крылья острые Времен пронзили,
Разбили тайну тьмы.
Мы поняли, прозрев, кому служили,—
И содрогнулись мы.

Сладка была нам воля Самозванки,
Пред нею сладко пасть...
Мы не царице отдали — служанке
Бессмысленную власть.

Довольно! С опозоренного трона
Столкнем ее во прах.
Дрожи, закройся складками хитона,
Лежи на ступенях.

Лежи, смирись,— и будешь между нами,
Мы не отгоним прочь.
Лежи на ступенях, служи при храме,
Но храма не порочь.

Ты все равно не перейдешь отныне
Заветную черту.
Мы, сильные, свергаем власть рабыни,
Свергаем — Красоту.

09

14 ДЕКАБРЯ

Ужель прошло — и нет возврата?
В морозный день, в заветный час,
Они, на площади Сената,
Тогда сошлися в первый раз.

Идут навстречу упованью,
К ступеням Зимнего Крыльца...
Под тонкою мундирной тканью
Трепещут жадные сердца.

Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер,
Но был погашен их же кровью
Освободительный костер.

Минули годы, годы, годы...
А мы все там, где были вы.
Смотрите, первенцы свободы:
Мороз на берегах Невы!

Мы — ваши дети, ваши внуки...
У неоправданных могил
Мы корчимся все в той же муке,
И с каждым днем все меньше сил.

И в день декабрьской годовщины
Мы тени милые зовем.
Сойдите в смертные долины,
Дыханьем вашим — оживем.

Мы, слабые,— вас не забыли,
Мы восемьдесят страшных лет
Несли, лелеяли, хранили
Ваш ослепительный завет.

И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!

14 декабря, 09. СПБ.

ИЗ КНИГИ „СТИХИ. ДНЕВНИК 1911-1921"

У ПОРОГА

У ПОРОГА

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятных бред.
Гляжу вперед — и так темна дорога,
Что, может быть, совсем дороги нет.

Но словом прикоснуться не умею
К живущему во мне — и в тишине.
Я даже чувствовать его не смею:
Оно как сон. Оно как сон во сне.

О, непонятная моя тревога!
Она томительней день ото дня.
И знаю: скорбь, что ныне у порога,
Вся эта скорбь — не только для меня!

1913 г., С. Петербург

ОТРЫВОЧНОЕ

Красная лампа горит на столе,
А вокруг, везде — стены тьмы.
Я не хочу жить на земле,
Если нельзя уйти из тюрьмы.

Красная лампа на круглом столе.
Никто не хочет тьму пройти.
А если весь мир лежит во зле —
То надо мир спасти.

Красная лампа на круглом столе...
Сердце твердит: не то! не то!
Сердце горит — и гаснет во мгле:
Навстречу ему нейдет никто.

Лето, 05 г., СПБ.

А ПОТОМ...?

Ангелы со мной не говорят.
Любят осиянные селенья,
Кротость любят и печаль смиренья.
Я же не смиренен и не свят:

Ангелы со мной не говорят.

Темненький приходит дух земли.
Лакомый и большеглазый, скромный.
Что ж такое, что малютка — темный?
Сами мы не далеко ушли...

Робко приползает дух земли.

Спрашиваю я про смертный час.
Мой младенец, хоть и скромен,— вещий.
Знает многое про эти вещи.
Что, скажи-ка, слышал ты о нас?

Что это такое — смертный час?

Темный ест усердно леденец.
Шепчет весело: «И все ведь жили.
Смертный час пришел — и раздавили.
Взяли, раздавили — и конец.

Дай-ка мне четвертый леденец.

Ты рожден дорожным червяком.
На дорожке долго не оставят,
Ползай, ползай, а потом раздавят.
Каждый, в смертный час, под сапогом,

Лопнет на дорожке червяком.

Разные бывают сапоги.
Давят, впрочем, все они похоже.
И с тобою, милый, будет то же.
Чьей-нибудь отведаешь ноги...

Разные на свете сапоги.

Камень, нож иль пуля, все — сапог.
Кровью ль сердце хрупкое зальется,
Болью ли дыхание сожмется,
Петлей ли раздавит позвонок —

Иль не все равно, какой сапог?»

Тихо понял я про смертный час.
Я ласкаю гостя, как родного,
Угощаю и пытаю снова:
Вижу, много знаете о нас!

Понял, понял я про смертный час.

Но когда раздавят,— что потом?
Что, скажи? Возьми еще леденчик,
Кушай, кушай, мертвенький младенчик!
Не́ взял он. И поглядел бочком:

«Лучше не скажу я, что — потом».

Январь, 11 г., Канн

НЕ БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Ропшину

О нет. Не в падающий час закатный,
Когда, бледнея, стынут цветы дня,
Я жду прозрений силы благодатной...

Восток — в сияньи крови и огня:
Горело, рдело алое кадило,
Предвестный ветер веял на меня,

И я глядел, как медленно всходило,
Багряной винностью окроплено,
Жестокое и жалкое светило.

Во славе, в пышности своей, оно,
Державное Величество природы,
Средь голубых пустынь — всегда одно;

Влекутся соблазненные народы
И каждому завидуют лучу.
Безумные! Во власти — нет свободы.

Я солнечной пустыни не хочу,—
В ней рабье одиночество таится,—
А ты — свою посмей зажечь свечу,

Посмей роптать, но в ропоте молиться,
Огонь земной свечи хранить, нести,
И, покоряя,— вольно покориться.

Умей быть верным верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь свободную пройти,

И слушать... И услышать голос Божий.

Январь, 11 г., Канн

НЕ СКАЗАНО

Тебя проведу я, никем не замеченного...
Со мной ключи.
Я ждал на пороге молчанием встреченного...
И ты молчи.
Пусть сердце угрюмое, всеми оставленное,
Со мной молчит.
Я знаю, какое сомненье расплавленное
В тебе горит.
Законы Господние дерзко пытающему
Один ответ:
Черту заповеданную преступающему —
Возврата нет.
Но вот уж не друг и не раб тебе преданный я —
Сообщник твой.
Придя — перешел ты черты заповеданные,
И я с тобой.
В углу, над лампадою, Око сияющее
Глядит, грозя.

Ужель там одно, никогда не прощающее,
Одно — нельзя?
Нельзя: ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И... надо! твердит глубина неизмеренная
Моей Любви.
Пришел ты с отчаяньем — и с упованиями...
Тебя я ждал.
Мы оба овиты живыми молчаниями,
И сумрак ал.
В измене обету, никем не развязанному,
Предел скорбей.
И все-таки сделай по слову несказáнному:
Иди. Убей.

Август, 11 г., СПБ.

ПОЭТУ РОДИНЫ

А. Меньшову

Угодила я тебе травой,
зеленями, да кашками,
ширью моей луговой,
сердцами золотыми — ромашками.

Ты про них слагаешь стихи,
ты любишь меня играющей...
Кто же раны мои да грехи
покроет любовью прощающей?

Нет, люби ядовитый туман,
что встает с болотца поганого,
подзаборный сухой бурьян,
мужичка моего пьяного...

А коль тут — презренье и страх,
коли видишь меня красивою,
заблудись же в моих лесах,
ожигайся моей крапивою!

Не открою тому лица,
кто красу мою ищет показную,
кто не принял меня до конца,
безобразную, грязную...

Август, 11 г., СПБ.

МИНДАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК

О теплый, о розово-белый,
О горький миндальный цветок!
Зачем ты мой дух онемелый
Проклятой надеждой ожег?

Надежда клятая — упорна,
Свиваются нити в клубок...
О белые, хрупкие зерна,
О жадный миндальный цветок!

Изъеденный дымом и гарью,
Задавленный тем, что люблю,—
Ползу я дрожащею тварью,
Тянусь я к нему — к миндалю.

Качаясь, огни побежали,
Качаясь, свиваясь в клубок...
О кали, цианистый кали,
О белый, проклятый цветок!

Ноябрь, 11 г., СПБ.

ЕГО ДОЧКА

Ее, красивую, бледную,
Ее, ласковую, гибкую,
Неясную, зыбкую,
Ее улыбку победную,
Ее платье странное,
Серое, туманное,
Любовницу мою —
Я ненавижу.
И ненависть таю.

Когда в саду смеркается,
Желтее листья осенние,
И светы изменнее —
Она на качелях качается...
Кольца стонут, ржавые,
Складки вьются лукавые...
Она чуть видна.
Я ее ненавижу:
Знаю, кто — она.

Уйду ли из паутины я?
От сказок ее о жалости,
От соблазнов усталости...
Ноги у нее гусиные,
Волосы тягучие,
Прозрачные, линючие,
Как северная ночь.
Я ее ненавижу:
Это — Дьявола дочь.

Засну я — бежит украдкою
К Отцу — старику, властителю,
К своему Учителю...
Отец ее любит, сладкую,
Любит ее, покорную,
Ласкает лапой черною
И шлет назад, грозя.
Я ее ненавижу,
А без нее — нельзя.
От нее не уйдешь...
Я ее ненавижу:
Ей имя — Ложь.

Ноябрь, 11 г., СПБ.

ПРОТЯЖНАЯ ПЕСНЯ

Амалии

Звени,
звени, кольцо кандальное,
завейтесь в цепи, злые дни...
Тянись,
мой путь, в изгнанье дальное,
где вихри бледные сплелись.

В полнóчь,
когда уснут вожатые,
бесшумно отползу я прочь.
Собью,
собью кольцо проклятое,
переломлю судьбу мою.

Прими,
прими, тайга жестокая,
меня, гонимого людьми.

Сокрой,
укрой, ледяноокая,
морозной ризой, колкой мглой.

Бегут
пути, никем не слежены,
куда бегут? куда ведут?
Иди,
иди тайгой оснеженной,
и будь что будет впереди.

Звезда,
звезда горит — та самая,
которую любил всегда.
Гори,
гори меж туч, звезда моя,
о вольной воле говори.

Поет
мне ветер песню смелую,
вперед свободного зовет.
Метель,
метель свивает белую,
свивает вечную постель —

Любви,
любви тоску незримую,
о Смерть, о Мать, благослови.
Прильну,
склонюсь на грудь любимую
и, вольный,— вольно я усну.

Декабрь, 11 г., СПБ.

КРЫЛАТОЕ

И. А. Бунину

В дыму зеленом ивы...
Камелии — бледны.
Нежданно торопливы
Шаги чужой весны.

Томленье, воскресанье
Фиалковых полей.

И белое дыханье
Зацветших миндалей.

По зо́рям — все краснее
Долинная река,
Воздушней Пиренеи,
Червонней облака.

И, средь небес горящих,
Как золото, желты —
Людей, в зарю летящих,
Певучие кресты.

Февраль, 12 г., По

ПОСЛЕДНИЕ СНЫ

О сны моей последней ночи,
О дым, о дым моих надежд!
Они слетелись ко мне с полночи,
Мерцая тлением одежд.

Один другим, скользя, сменялся,
И каждый был как тень, как тень...
А кто-то мудрый во мне смеялся,
Твердя: проснись! довольно! День.

Май, 12 г., Париж

ВОЗНЯ

Остов разложившейся собаки
Ходит вкруг летящего ядра.
Долго ли терпеть мне эти знаки?
Кончится ли подлая игра?

Все противно в них: соединенье,
И согласный, соразмерный ход,
И собаки тлеющей крученье,
И ядра бессмысленный полет.

Если б мог собачий труп остаться,
Яркопламенным столбом сгореть!
Если б одному ядру умчаться,
Одному свободно умереть!

Но в мирах надзвездных нет событий,
Все летит, летит безвольный ком.
И крепки вневременные нити:
Песий труп вертится за ядром.

Ноябрь, 12 г., СПБ.

ЛЮБОВЬ — ОДНА

...Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна.
1896 г.

Душе, единостью чудесной,
  Любовь единая дана.
Так в послегрозности небесной
  Цветная полоса — одна.

Но семь цветов семью огнями
  Горят в одной. Любовь одна,
Одна до века, и не нами
  Ей семицветность суждена.

В ней фиолетовость и алость,
  В ней кровь и золото вина,
То изумрудность, то опалость...
  И семь сияний — и одна.

Не все ль равно, кого отметит,
  Кого пронижет луч до дна,
Чье сердце меч прозрачный встретит,
  Чья отзовется глубина?

Неразделимая нетленна,
  Неуловимая ясна,
Непобедимо неизменна
  Живет любовь,— всегда одна.

Переливается, мерцает,
  Она всецветна — и одна.
Ее хранит, ее венчает
  Святым единством — белизна.

Ноябрь, 12 г., СПБ.

ПСАЛМОПЕВЦУ

Вл. Бестужеву

О тайнах подземных и звездных
Поешь ты в пустынной тиши.
О вечных стихиях и безднах
Своей одинокой души.

Но своды небесные низки,
Полны голубой простоты,
А люди так жалобно близки
И так же одни, как и ты.

Уйдешь? Но не пить мы не смеем
Святого земного вина.
Уйдешь — но смеющимся змеем
Ползет за тобою вина.

Не ты ль виноват, что голодный
Погиб у забора щенок?
Что где-то, зарею холодной,
Под петлей хрустит позвонок?

Не ты ли зажег крепостную
Над белой рекою иглу?
Не ты ли сгущаешь земную
Седую, полынную мглу?

Твоей человеческой воле
Одной — не ответит Господь.
Ты ждешь и поешь — но Его ли,
Приявшего бедную плоть?

Не в звездных пространствах — Он ближе,
Он в прахе, в пыли и в крови.
Склонись, чтобы встретил Он, ниже,
Склонись до земли — до любви.

Декабрь, 12 г., СПБ.

СЛОВА ЛЮБВИ

Любовь, любовь... О, даже не ее —
Слова любви любил я неуклонно.
Иное в них я чуял бытие,
Оно неуловимо и бездонно.

Слова любви горят на всех путях,
На всех путях — и горных, и долинных.
Нежданные в накрашенных устах,
Неловкие в устах еще невинных,

Разнообразные, одни всегда,
И верные нездешней лжи неложной,
Сливающие наши «нет» и «да»
В один союз, безумно-невозможный —

О, все равно пред кем, и для чего,
И кто, горящие, вас произносит!
Алмаз всегда алмаз, хотя его
Порою самый недостойный носит.

Живут слова, пока душа жива.
Они смешны — они необычайны.
И я любил, люблю любви слова,
Пророческой овеянные тайной.

Декабрь, 12 г., СПБ.

БЕРЕГИСЬ...

Не разлучайся, пока ты жив,
Ни ради горя, ни для игры.
Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отнимет свои дары.

Не разлучайся, пока живешь,
Храни ревниво заветный круг.
В разлуке вольной таится ложь,
Любовь не любит земных разлук,

Печально гасит свои огни,
Под паутиной пустые дни,

А в паутине — сидит паук.
Живые, бойтесь земных разлук!

Январь, 13 г., СПБ.

СЕРОЕ ПЛАТЬИЦЕ

Девочка в сером платьице...

Косы как будто из ваты...
Девочка, девочка, чья ты?

Мамина... Или ничья.
Хочешь — буду твоя.

Девочка в сером платьице...

Веришь ли, девочка, ласке?
Милая, где твои глазки?

Вот они, глазки. Пустые.
У мамочки точно такие.

Девочка в сером платьице,

А чем это ты играешь?
Что от меня закрываешь?

Время ль играть мне, что ты?
Много спешной работы.

То у бусинок нить раскушу,
То первый росток подсушу,
Вырезаю из книг странички,
Ломаю крылья у птички...

Девочка в сером платьице,

Девочка с глазами пустыми,
Скажи мне, как твое имя?

А по-своему зовет меня всяк:
Хочешь эдак, а хочешь так.

Один зовет разделеньем,
А то враждою,
Зовут и сомненьем,
Или тоскою.

Иной зовет скукою,
Иной мукою...
А мама-Смерть — Разлукою,

Девочку в сером платьице...

Январь, 13 г., СПБ.

КОЛОДЦЫ

Слова, рожденные страданьем,
Душе нужны, душе нужны.
Я не отдам себя молчаньям,
Слова как знаки нам даны.

Но сторожит молчаний демон
Колодцы черные свои.
Иду — и знаю: страшен тем он,
Кто пил от горестной струи.

Слова в душе — ножи и копья...
Но воплощенные, в устах —
Они как тающие хлопья,
Как снежный дым, как дымный прах.

Ты лет мгновенный их не встретил,
Бессильный зов не услыхал,
Едва рожденным — не ответил,
Детей, детей не удержал!

Молчанье хитрое смеется:
Они мои, они во мне,
Пускай умрут в моем колодце,
На самом дне, на самом дне...

О друг последний мой! Кому же,
Кому сказать? Куда идти?
Пути все уже, уже, уже...
Смотри: кончаются пути.

Февраль, 13 г., СПБ.

НАПРАСНО

Я и услышу, и пойму,
    А все-таки молчи.
Будь верен сердцу своему,
    Храни его ключи.

Я пониманьем — оскорблю,
Не оттого, что не люблю,
А оттого, что скорбь — твоя,
А я не ты, и ты не я.

И пусть другой не перейдет
    Невидимый порог.
Душа раскрытая — умрет,
    Как сорванный цветок.

Мы два различных бытия.
Мы зеркала — и ты, и я.
Я все возьму и углублю,
Но, отражая,— преломлю.

Твоя душа... Не оттого ль
    Даю так много ей,
Что все равно чужая боль
    Не может быть моей?

Страдать достойней одному.
Пусть я жалею и пойму —
Любви и жалости не верь,
Не открывай святую дверь,
Храни, храни ее ключи,
И задыхайся — и молчи.

Февраль, 13 г., СПБ.

ВСЕ МОЕ

И. А. Бунину

День вечерен, тихи склоны,
Бледность, хрупкость в небесах,
И приземисты суслоны
На закошенных полях.

Ближний лес узорно вышит
Первой ниткой золотой,
И притайный,— тайной дышит,
Темной свежестью грибной.

В белоперистом тумане,
Зыбко взреявшем, сыром,
Грезят сизые елани
Об осеннем, о ночном.

Чуть звенит по глади росной
Чья-то песня, чей-то крик...
Под горой, на двуколесной
Едет пьяненький мужик.

Над разлапистой сосною
Раскричалось воронье.
Все мне близко. Все родное.
Все мне нужно. Все мое.

Октябрь, 13 г., СПБ.

L'IMPRÉVISIBILITÉ [1]

По слову извечно Сущего
Бессменен поток времен.
Чую лишь ветер грядущего,
Нового мига звон.

С паденьем идет, с победою?
Оливу несет иль меч?
Лика его я не ведаю,
Знаю лишь ветер встреч.

Летят нездешними птицами
В кольцо бытия, вперед,
Миги с закрытыми лицами,
Как удержу их лет?

И в тесности, в перекрестности,—
Хочу, не хочу ли я —
Черную топь неизвестности
Режет моя ладья.

1 января, 14 г., СПБ.

[1] Непредвиденность *(фр.).— Ред.*

БАНАЛЬНОСТЯМ

Не покидаю острой кручи я,
Гранит сверкающий дроблю.
Но вас, о старые созвучия,
Неизменяемо люблю.

Люблю сады с оградой тонкою,
Где роза с грезой, сны весны
И тень с сиренью — перепонкою
Как близнецы сопряжены.

Влечется нежность за безбрежностью,
Все рифмы-девы,— мало жен...
О, как их трогательной смежностью
Мой дух стальной обворожен!

Вас гонят... Словно дети малые,
Дрожат мечта и красота...
Целую ноги их усталые,
Целую старые уста.

Создатели домов лучиночных,
Пустых, гороховых домов,
Искатели сокровищ рыночных —
Одни боятся вечных слов.

Я — не боюсь. На кручу сыпкую
Возьму их в каменный приют.
Прилажу зыбкую им зыбку я...
Пусть отдохнут! Пусть отдохнут!

Январь, 14 г., СПБ.

ПЕРЕМЕННО

Какой сегодня пятнистый день:
То оживляю дугу блестящую,
То вижу солнца слепого тень,
По ширмам рдяной иглой скользящую.

Какой на сердце бесстыдный страх!
Какие мысли во мне безумятся!
И тьмы и светы в моих стенах.
Автомобили поют на улице.

Неверно солнце и лжет дождем.
Но дождь январский еще невернее.
Мороз ударит, как кистенём.
В кристаллы мгленье сожмет вечернее.

А я не выйду — куда во мгу
Пойду по льду я, в туманы талые?
Там жгут, колдуя, во льду, в снегу,
На перекрестках жаровни алые.

Январь, 14 г., СПБ.

ВОЙНА

ТИШЕ!

Громки будут великие дела.

Сологуб, 7.8.14 г.

Поэты, не пишите слишком рано,
Победа еще в руке Господней.
Сегодня еще дымятся раны,
Никакие слова не нужны сегодня.

В часы неоправданного страданья
И нерешенной битвы
Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы.

8 Августа, 14 г., СПБ.

АДОНАИ

Твои народы вопиют: доколь?
Твои народы с севера и юга.
Иль ты еще не утолен? Позволь
Сынам земли не убивать друг друга.

Не ты ль разбил скрижальные слова,
Готовя землю для иного сева?
И вот опять, опять ты — Иегова,
Кровавый Бог отмщения и гнева!

Ты розлил дым и пламя по морям,
Водою алою одел ты сушу.
Ты губишь плоть... Но, Боже, матерям —
Твое оружие проходит душу!

Ужели не довольно было Той,
Что под крестом тогда стояла, рано?
Нет, не для нас, но для Нее, Одной,
Железо вынь из материнской раны!

О, прикоснись к дымнобагровой мгле
Не древнею грозою,— а Любовью.
Отец, Отец! Склонись к Твоей земле:
Она пропитана Сыновней кровью!

Ноябрь, 14 г., СПБ.

ОТДЫХ

Слова — как пена,
Невозвратимы и ничтожны.
Слова — измена,
Когда молитвы невозможны.

Пусть длится дленье.
Не я безмолвие нарушу.
Но исцеленье
Сойдет ли в замкнутую душу?

Я знаю, надо
Сейчас молчанью покориться.
Но в том отрада,
Что дление не вечно длится.

Ноябрь, 14 г., СПБ.

«ПЕТРОГРАД»

В. Н. Аргутинскому

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?

Не мы, не мы... Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся, да чьи-то ризы делят,
И все дрожат за свой последний час.

Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора...
Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
С предателями предали Петра.

Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?

Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Восстанет он, все тот же, бледный, юный,
Все тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,—
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

14 Декабря, 14 г., СПБ.

ВСЕ ОНА

Медный грохот, дымный порох,
Рыжелипкие струи,
Тел ползущих влажный шорох...
Где чужие? где свои?

Нет напрасных ожиданий,
Недостигнутых побед,
Но и сбывшихся мечтаний,
Одолений — тоже нет.

Все едины, все едино,
Мы ль, они ли... смерть — одна.
И работает машина,
И жует, жует война...

Декабрь, 14 г.

ЧЕРНЕНЬКОМУ

Н. Г⟨иппиус⟩

Радостно люблю я тварное,
Святой любовью, в Боге.
По любви восходит тварное
Наверх, как по светлой дороге.

Темноту, слепоту — любовию
Вкруг тварного я разрушу.
Тварному дает любовь моя
Бессмертную душу.

Декабрь, 14 г., СПБ.

НАШЕ РОЖДЕСТВО

Вместо елочной, восковой свечи,
бродят белые прожекторов лучи,
сверкают сизые стальные мечи,
вместо елочной, восковой свечи.

Вместо ангельского обещанья
пропеллера вражьего жужжанье,
подземное страданье ожиданья
вместо ангельского обещанья.

Но вихрям, огню и мечу
покориться навсегда не могу.
Я храню восковую свечу,
я снова ее зажгу,

и буду молиться снова:
родись, Предвечное Слово!
Затепли тишину земную.
Обними землю родную...

Декабрь, 14 г., СПБ.

НЕИЗВЕСТНАЯ

Что мне делать со смертью — не знаю.
А вы, другие,— знаете? знаете?
Только скрываете, тоже не знаете.
Я же незнанья моего не скрываю.

Как ни живи — жизнь не ответит,
Разве жизнью смерть побеждается?
Сказано — смертью смерть побеждается.
Значит, на всех путях она встретит.

А я ее всякую — ненавижу.
Только свою люблю, неизвестную.
За то и люблю, что она неизвестная,
Что умру — и очей ее не увижу.

Февраль, 15 г., СПБ.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТОК

Зеленолистому цветку привет!
Идем к Зеленому дорогой красною,
Но зелен зорь весенних тихий цвет,
И мы овеяны надеждой ясною.

Пускай он спит, закрыт — но он живет!
В Страстно́м томлении земля весенняя...
Восстань, земля моя! И расцветет
Зеленопламенный в день воскресения!

Март, 15 г., СПБ.

МОЛОДОЕ ЗНАМЯ

Развейся, развейся, летучее знамя!
По ветру вскрыли, троецветное!
Вставайте, живые, идите за нами!
Приблизилось время ответное.

Три поля на знамени нашем, три поля:
Зеленое — Белое — Алое.
Да здравствуют молодость, правда и воля!
Вперед! Нас зовет Небывалое.

Март, 15 г., СПБ.

НЕРАЗНИМЧАТО

В нашем Прежде — зыбко-дымчато,
А в Теперь — и мглы, и тьмы.
Но срослись мы неразнимчато —
Верит Бог! И верим мы.

Март, 15 г., СПБ.

ЕМУ

З. Р.

Радостные, белые, белые цветы...
Сердце наше, Господи, сердце знаешь Ты.

В сердце наше бедное, в сердце загляни...
Близких наших, Господи, близких сохрани!

Март, 15 г., СПБ.

ОН

Он принял скорбь земной дороги,
Он первый, Он один,
Склонясь, умыл усталым ноги
Слуга — и Господин.

Он с нами плакал, Повелитель
И суши, и морей.
Он царь и брат нам, и Учитель,
И Он — еврей.

Май, 15 г., СПБ.

«СВОБОДНЫЙ СТИХ»

Молодым поэтам

Приманной легкостью играя,
Зовет, влечет свободный стих.
И соблазнил он, соблазняя,
Ленивых, малых и простых.

Сулит он быстрые ответы
И достиженья без борьбы.
За мной! За мной! И вот поэты —
Стиха свободного рабы.

Они следят его извивы,
Сухую ломкость, скрип углов,
Узор пятнисто-похотливый
Икающих и пьяных слов...

Немало слов с подолом грязным
Войти боялись... А теперь

Каким ручьем однообразным
Втекают в сломанную дверь!

Втекли, вшумели и впылились...
Гогочет уличная рать.
Что ж! Вы недаром покорились:
Рабы не смеют выбирать.

Без утра пробил час вечерний,
И гаснет серая заря...
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею царя!

*

А мне — лукавый стих угоден.
Мы с ним веселые друзья.
Живи, свободный! Ты свободен —
Пока на то изволю я.

Пока хочу — играй, свивайся
Среди ухабов и низин.
Звени, тянись и спотыкайся,
Но помни: я твой властелин.

И чуть запросит сердце тайны,
Напевных рифм и строгих слов —
Ты в хор вольешься неслучайный
Созвучно-длинных, стройных строф.

Многоголосы, тугозвонны,
Они полетны и чисты —
Как храма белого колонны,
Как неба снежного цветы.

Ноябрь, 15 г., СПБ.

НЕ О ТОМ

(отвечавшим)

Два ответа: лиловый и зеленый,
два ответа, и они одинаковы;
быть может, и разны у нас знамена,
быть может,— своя дорога у всякого,
и мы, страдая, идем, идем...
Верю... Но стих-то мой не о том.

Стих мой — о воле и о власти.
Разве о боли? Разве о счастьи?

И кем измерено, и чем поверено
страданье каждого на его пути?
Но каждому из нас сокровище вверено
и велено вверенное — донести.

Зачем же, «бездомно скучая», ищем
на «мерзлом болоте» вялых вех,
гордимся, что слабы, и наги, и нищи?
Ведь «город прекрасный» — один для всех.

И надо — мы знаем— навек ли, на миг ли,
надо, чтоб города мы достигли.

Нищий придет к белым воротам
в рубище рабства, унылый, как прежде...
Что, если спросят его: кто там?
Друг, почему ты не в брачной одежде?

Мой стих не о счастьи и не о боли:
только о власти, только о воле.

Ноябрь, 15 г., СПБ.

СВЕТ!

Стоны,
Стоны,
Истомные, бездонные,
Долгие, долгие звоны
Похоронные,
Стоны,
Стоны...

Жалобы,
Жалобы на Отца...
Жалость язвящая, жаркая,
Жажда конца,
Жалобы,
Жалобы...

Узел туже, туже,
Путь все круче, круче,
Все уже, уже, уже,

Угрюмей тучи,
Ужас душу рушит,
Узел душит,
Узел туже, туже...

Господи, Господи,— нет!
Вещее сердце верит.
Тихие ветры веют.
Боже мой, нет!
Мы под крылами Твоими.
Ужас. И стоны. И тьма...—
а над ними
Твой немеркнущий Свет!

Декабрь, 15 г., СПБ.

БЕЛОЕ

Рождество, праздник детский, белый,
когда счастливы самые несчастные...
Господи! Наша ли душа хотела,
чтобы запылали зори красные?

Ты взыщешь, Господи, но с нас ли, с нас ли?
Звезда Вифлеемская за дымами алыми...
И мы не знаем, где Царские ясли,
но все же идем ногами усталыми.

Мир на земле, в человеках благоволенье...
Боже, прими нашу мольбу несмелую:
дай земле Твоей умиренье,
дай побеждающей одежду белую...

Декабрь, 15 г., СПБ.

БЕЗ ОПРАВДАНЬЯ

Нет, никогда не примирюсь.
Верны мои проклятья.
Я не прощу, я не сорвусь
В железные объятья.

Как все, живя, умру, убью,
Как все — себя разрушу,
Но оправданием — свою
Не запятнаю душу.

В последний час, во тьме, в огне,
Пусть сердце не забудет:
Нет оправдания войне,
И никогда не будет.

И если это Божья длань —
Кровавая дорога —
Мой дух пойдет и с Ним на брань,
Восстанет и на Бога.

Апрель, 16 г., СПБ.

СТРАШНОЕ

Страшно оттого, что не живется — спится...
И все двоится, все четверится.
В прошлом грехов так неистово много,
Что и оглянуться страшно на Бога.

Да и когда замолить мне грехи мои?
Ведь я на последнем склоне круга...
А самое страшное, невыносимое —
Это что никто не любит друг друга...

Август, 16 г., СПБ.

СЕНТЯБРЬ

Полотенца луннозеленые
На белом окне, на полу.
Но желта свеча намолённая
Под вереском, там, в углу.

Протираю окно запотелое,
В двух светах на белом пишу...
О зеленое, желтое, белое!
Что выберу?..
Что решу?..

Сентябрь, 16 г., СПБ.

«ГОВОРИ О РАДОСТНОМ»

В. Злобину

Кричу — и крик звериный...
Суди меня Господь!
Меж зубьями машины
Моя скрежещет плоть.

Свое — стерплю в гордыне...
Но все? Но если все?
Терпеть, что все в машине?
В зубчатом колесе?

Ноябрь, 16 г., СПБ.

СЕГОДНЯ НА ЗЕМЛЕ

Есть такое трудное,
Такое стыдное.
Почти невозможное —
Такое трудное:
Это — поднять ресницы
И взглянуть в лицо матери,
У которой убили сына.

Но не надо говорить об этом.

20 сентября, 16 г., СПБ.

НЕПОПРАВИМО

Н. Ястребову

Невозвратимо. Непоправимо.
Не смоем водой. Огнем не выжжем.
Нас затоптал — не проехал мимо!
Тяжелый всадник на коне рыжем.

В гуще вязнут его копыта,
В смертной вязи, неразделимой...
Смято, втоптано, смешано, сбито —
Все. Навсегда. Непоправимо.

Октябрь, 16 г., СПБ.

БОЖЬЯ

Милая, верная, от века Суженая,
Чистый цветок миндаля,
Божьим дыханьем к любви разбуженная,
Радость моя — Земля!

Рощи лимонные — и березовые,
Месяца тихий круг,
Зори Сицилии, зори розовые,—
Пенье таежных вьюг,

Даль неохватная и неистовая,
Серых болот туман —
Корсика призрачная, аметистовая
Вечером, с берега Канн,

Ласка нежданная, утоляющая
Неутолимую боль,
Шелест, дыхание, память страдающая,
Слез непролитых соль —

Всю я тебя люблю, Единственная,
Вся ты моя, моя!
Вместе воскреснем за гранью таинственною,
Вместе — и ты, и я!

Ноябрь, 16 г., СПБ.

НА СЕРГИЕВСКОЙ

Окно мое над улицей низко,
Низко и открыто настежь.
Рудолипкие торцы так близко
Под окном, раскрытым настежь.

На торцах — фонарные блики,
На торцах все люди, люди...
И топот, и вой, и крики,
И в метании люди, люди...

Как торец их одежды и лица.
Они, живые и мертвые,— вместе.
Это годы, это годы длится,
Что живые и мертвые — вместе!

От них окна не закрою,
    Я сам — живой или мертвый?
Все равно... Я с ними вою,
    Все равно, живой или мертвый.

Нет вины, и никто — в ответе.
    Нет ответа для преисподней.
Мы думали, что живем на свете...
    Но мы воем, воем — в преисподней.

Декабрь, 16 г., СПБ.

РЕВОЛЮЦИЯ

ЮНЫЙ МАРТ

Allons, enfants de la patrie...[1]

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми,
Наш гордый, наш мартовский мак!

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны.
Дерзайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны.

Пойдем в испытания встречные,
Пока не опущен наш меч.
Но свяжемся клятвой навечною
Весеннюю волю беречь!

8 Марта, 17 г., СПБ.

---

[1] Вперед, дети отчизны... (*фр.*) — *Ред.*

ГИБЕЛЬ

С. И. Осовецкому

Близки́
кровавые зрачки,
дымящаяся пеной пасть...
Погибнуть? Пасть?

Что́ — мы?
Вот хруст костей... вот молния сознанья
перед чертою тьмы...
и — перехлест страданья...
Что́ мы! Но — Ты?

Твой образ гибнет... Где Ты?
В сияние одетый,
бессильно смотришь с высоты?
Пускай мы тень.

Но тень от Твоего Лица!
Ты вдунул Дух — и вынул?
Но мы придем в последний день,
мы спросим в день конца,—
за что Ты нас покинул?

Сентябрь, 17 г., СПБ.

ПОЧЕМУ?

О Ирландия, океанная,
Мной не виденная страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал...
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал?

Как я помню зори надпенные?
В черной алости чаек стон?
Или памятью мира пленною
Прохожу я сквозь ткань времен?

О Ирландия неизвестная!
О Россия, моя страна!
Не единая ль мука крестная
Всей Господней земле дана?

Сентябрь, 17 г., СПБ.

┼

У. С.

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание,—
    Учредительное Собрание,—
        Что мы с ним сделали...?

12 Ноября, 17 г., СПБ.

14 ДЕКАБРЯ 17 ГОДА

Д. С. Мережковскому

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души, и честь земли.

Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста... И невесте
Солдатский штык проткнул глаза.

Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И в наворованном вине.

Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!

Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!

И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьется рабий дым,
Дрожа протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.

К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!

БОЯТСЯ

Щетинятся сталью, трясясь от страха,
Залезли за пушки, примнули штык,
Но бегает глаз под серой папахой,
Из черного рта — истошный рык...

Присел, но взгудел, отпрянул кошкой...
А любо! густа темь на дворе!
Скользнули пальцы, ища застежку,
По смуглым пятнам на кобуре...

Рево́львер, пушка, ручная граната ль,—
Добру своему ты господин.
Иди, выходи же, заячья падаль!
Ведь я безоружен! Я один!

Да крепче винти, завинчивай гайки.
Нацелься... Жутко? Дрожит рука?
Мне пуля — на миг... А тебе нагайки,
Тебе хлысты мои — на века!

12 Января, 18 г., СПБ.

ОПЯТЬ

Опять она? Бесстыдно в грязь
Колпак фригийский сбросив,
Глядит, кривляясь и смеясь,
И сразу обезносев.

Ты не узнал? Конечно — я!
Не те же ль кровь и раны,
И пулеметная струя,
И бомбы с моноплана?

Живу три года с дураком,
Целуюсь ежечасно,
А вот надула колпаком
И этой тряпкой красной!

Пиши миры свои — ты мой!
И чем миры похабней —
Тем крепче связь твоя со мной
И цепи неослабней.

Остра, безноса и верна —
Я знаю человека...
Ура! Да здравствует Война
Отныне и до века!

Февраль, 18 г., СПБ.

ЕСЛИ

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Февраль, 18 г., СПБ.

МОСТЫ

Говорить не буду о смерти,
без слов все кругом — о смерти;
кто хочет и не хочет — верьте,
    что живы мертвые...

Не от мертвых — отступаю,
так надо — я отступаю,
так надо — я мосты взрываю,
    за мостами — не мертвые...

Перекрутились, дымясь, нити,
оборвались, кровавясь, нити,
за мостами остались — взгляните!
    живые — мертвее мертвых...

Февраль, 18 г., СПБ.

НА ПОЛЕ ЧЕСТИ

Памяти В. А. Р⟨атькова-⟩Р⟨ожнова⟩

О, сделай, Господи, скорбь нашу светлою,
Далекой гнева, боли и мести,
А слезы — тихой росой предрассветною
    О нем, убиенном на поле чести.

Свеча ль истает, Тобой зажженная?
Прими земную и, как невесте,
Открой поля Твои озаренные
    Душе убиенного на поле чести.

Февраль, 18 г., СПБ.

ДВЕРЬ

Мы, умные,— безумны.
Мы, гордые,— больны.
Растленной язвой чумной
Давно заражены.

От боли мы безглазы,
А ненависть — как соль
И ест, и травит язвы,
Ярит слепую боль.

О черный бич страданья!
О ненависти зверь!
Пройдем ли покаянья
Целительную дверь?

Замки ее суровы
И створы тяжелы.
Железные засовы,
Медяные углы.

Дай силу не покинуть,
Господь, пути Твои,
Дай силу отодвинуть
Тугие вереи!

Март, 18 г., СПБ.

КТО ОН?

Проклятой памяти безвольник,
И не герой — и не злодей,
Пьеро, болтун, порочный школьник,
Провинциальный лицедей,

Упрям, по-женски своенравен,
Кокетлив и правдиво-лжив,
Не честолюбец — но тщеславен,
И невоспитан, и труслив...

В своей одежде неопрятной
Развел он нечисть наших дней,
Но о свободе незакатной
Звенел, чем дале, тем нежней...

Когда распучившейся гади
Осточертела песнь Пьеро —
Он, своего спасенья ради,
Исчез, как легкое перо.

Ему сосновый скучен шелест...
Как претерпеть унылый час?
А здесь не скучно: гадья челюсть,
Хрустя, дожевывает нас.

Забвенья нет тому, что было.
Не смерть позорна — пусть умрем...
Но увенчает и могилу
Пьеро — дурацким колпаком.

Март, 18 г., СПБ.

ИМЯ

Безумные годы совьются во прах,
    Утонут в забвеньи и дыме.
И только одно сохранится в веках
    Святое и гордое имя.

Твое, возлюбивший до смерти, твое,
    Страданьем и честью венчанный.
Проколет, прорежет его острие
    Багровые наши туманы.

От смрада клевет не угаснет огонь,
    И лавр на челе не увянет.
Георгий, Георгий! Где верный твой конь?
    Георгий Святой не обманет,—

Он близко! Вот хруст перепончатых крыл
    И брюхо разверстое Змия...
Дрожи, чтоб Святой и тебе не отмстил
    Твои блудодейства, Россия!

Апрель, 18 г., СПБ.

ГДЕ ОН?

Близкому — далекому

Я знаю, что жизнь размеренна
    и круг ввивается в круг.
Но где он, опять потерянный,
    опять далекий друг?

Горя каким томлением,
    и судьбы чьи — верша,
стремит к своим достижениям
    уверенная душа?

Мне милы ее огромности,
    то срыв — то всплеск огня.
И все ее сложные темности,
    прозрачные для меня.

Я знал, какие извилины
лежат на его путях.
Но конь не споткнется взмыленный —
поводья в крепких руках.

Спокойно в алые дали я
гляжу — совершений жду.
И что бы ни было далее —
я верю в его Звезду!

Апрель, 18 г., СПБ.

ЖЕЛТОЕ ОКНО

Иди сюда, взгляни-ка
Сквозь желтое стекло.
Взгляни, как небо дико,
Подземно и светло.

Клубясь, ползет червивый
И дымный ворох туч.
Мертво рудеют ивы
Над жолтью жарких круч.

Ручей по дну оврага —
Как черное вино.
Как жженая бумага —
Трава в мое окно.

Бессмысленно-кровавы
Тела апрельских рощ.
Накрапывает ржавый,
Сухой и горький дождь.

И всюду эти стекла
Проклятого окна.
Земля моя поблекла,
Земля опалена!

Апрель, 18 г.

ШЕЛ...

Белому и Блоку

I

По торцам оледенелым,
В майский утренний мороз,
Шел, блестя хитоном белым,
Опечаленный Христос.

Он смотрел вдоль улиц длинных,
В стекла запертых дверей.
Он искал своих невинных
Потерявшихся детей.

Все — потерянные дети,—
Гневом Отчим дышат дни,—
Но вот эти, но вот эти,
Эти двое — где они?

Кто сирот похитил малых,
Кто их держит взаперти?
Я их знаю, Ты мне дал их,
Если отнял — возврати...

Покрывало в ветре билось,
Божьи волосы крутя...
Не хочу, чтоб заблудилось
Неразумное дитя...

В покрывале ветер свищет,
Гонит с севера мороз...

Никогда их не отыщет,
Двух потерянных — Христос.

Май, 18 г., СПБ.

ШЕЛ...

Всем, всем, всем

II

По камням ночной столицы,
Провозвестник Божьих гроз,
Шел, сверкая багряницей,
Негодующий Христос.

Темен лик Его суровый,
Очи гневные светлы.
На веревке, на пеньковой,
Тугосвитые узлы.

Волочатся, пыль целуют
Змиевидные концы...
Он придет, Он не минует,
В ваши храмы и дворцы,

К вам, убийцы, изуверы,
Расточители, скопцы,
Торгаши и лицемеры,
Фарисеи и слепцы!

Вот, на празднике нечистом
Он застигнет палачей,
И вопьются в них со свистом
Жала тонкие бичей.

Хлещут, мечут, рвут и режут,
Опрокинуты столы...
Будет вой и будет скрежет —
Злы пеньковые узлы!

Тише город. Ночь безмолвней.
Даль притайная пуста.
Но сверкает ярче молний
Лик идущего Христа.

Май, 18 г., СПБ.

А. БЛОКУ

Дитя, потерянное всеми...

Все это было, кажется, в последний,
В последний вечер, в вешний час...
И плакала безумная в передней,
О чем-то умоляя нас.

Потом сидели мы под лампой блеклой,
Что золотила тонкий дым,
А поздние распахнутые стекла
Отсвечивали голубым.

Ты, выйдя, задержался у решетки,
Я говорил с тобою из окна.
И ветви юные чертились четко
На небе — зеленей вина.

Прямая улица была пустынна,
И ты ушел — в нее, туда...
— — — — — — — — — — — —
Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей — никогда.

Апрель, 18 г., СПБ.

НАПРАСНО

Всю душу не тебе ли я
Несу — но тщетно:
Как тихая Корделия,
Ты неответна.

Заря над садом красная,
Но сад вечерен.
И, может быть, напрасно я
Тебе так верен.

18 г., СПБ.

ЕСТЬ РЕЧИ...

У каждого свои волшебные слова.
Они как будто ничего не значат,
Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва,—
И сердце засмеется и заплачет.

Я повторять их не люблю; я берегу
Их от себя, нарочно забывая.
Они мне встретятся на новом берегу:
Они написаны на двери Рая.

Июнь, 18 г., СПБ.

СВЕЧА НЕНАВИСТИ

Рабы, лгуны, убийцы, тати ли —
Мне ненавистен всякий грех.
Но вас, Иуды, вас, предатели,
Я ненавижу больше всех.

Со страстью жду, когда изведаю
Победный час, чтоб отомстить,
Чтоб вслед за мщеньем и победою
Я мог поверженным — простить.

Но есть предатели невинные:
Странна к ним ненависть моя...
Ее и дни, и годы длинные
В душе храню ревниво я.

Ревниво теплю безответную
Неугасимую свечу.
И эту ненависть заветную
Люблю... но мести не хочу.

Пусть к черной двери искупления
Слепцы-предатели идут...
Что значу я? Не мне отмщение,
Не мой над ними будет суд.

Мне только волею Господнею
Дано у двери сторожить,
Чтоб им ступени в преисподнюю
Моей свечою осветить.

Июнь, 18 г.

МОЖЕТ БЫТЬ...

Скоро изменятся жизни цвéты,
я отойду ото всех, кто мил,
буду иные искать ответы,
если здешние отлюбил.

И не будет падений в бездны:
просто сойду со ступень крыльца,
просто совьется свиток звездный,
если дочитан — до конца.

Июнь, 18 г., СПБ.

НЕ БЫВАЕТ

Нет, не бывает, не бывает,
Не будет, не было и нет.
Зачем нас этот сон смущает,
На безответное ответ?

Он до сих пор кому-то снится,
И до сих пор нельзя забыть...
Он никогда не воплотится:
Здесь — ничего не может быть.

Август, 18 г., СПБ.

ЗА КОПЬЯМИ

Горят за копьями ограды,
В жестокой тайне сочетаний,
Неугасимые лампады
Моих сверкающих мечтаний.

Кто ни придет к ограде,— друг ли,
Иль враг,— войти в нее не смея,
Лампады меркнут, точно угли,
Во тьме дыша и ало рдея.

Не знать огней моих лампадных
Тому, кого страшат потери.
Остры концы мечей оградных,
И нет в ограде этой — двери.

Сверкайте, радужные цепи
Моих лампад, моих мечтаний,
В бесплодности великолепий,
В ненужности очарований.

Август, 18 г., СПБ.

ЧАС ПОБЕДЫ

...Он ушел, но он опять вернется.
Он ушел и не открыл лица...
Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца...
«В черту» (1906 г.)

Он опять пришел — глядит презрительно.
(Кто — не знаю, просто Он, в плаще)
И смеется: «Это утомительно,
Надо кончить — силою вещей.

Я устал следить за жалкой битвою,
А мои минуты на счету.
Целы, не разорваны круги твои,
Ни один не вытянут в черту.

Иль душа доселе не отгрезила?
Я мечтаний долгих не люблю.
Кольца очугуню, ожелезю я
И надежно скрепы заклеплю».

Снял перчатки он с улыбкой гадкою
И схватился за концы кольца...
Но его же черною перчаткою
Я в лицо ударил пришлеца.

Нет! Лишь кровью может быть запаяно
И распаяно мое кольцо!..
Плащ упал, отвеянный нечаянно,
Обнажая мертвое лицо.

Я взглянул в глаза его знакомые,
Я взглянул... И сник он в пустоту.
В этот час победное кольцо мое
В огненную выгнулось черту.

Сентябрь, 18 г., СПБ.

КАК ПРЕЖДЕ

Твоя печальная звезда
Недолго радостью была мне:
Чуть просверкнула,— и туда,
На землю,— пала темным камнем.

Твоя печальная душа
Любить улыбку не посмела
И, от меня уйти спеша,
Покровы черные надела.

Но я навек с твоей судьбой
Связал мою — в одной надежде.
Где б ни была ты — я с тобой,
И я люблю тебя, как прежде.

Сентябрь, 18 г., СПБ.

ДНИ

Все дни изломаны, как преступлением,
Седого Времени заржавел ход.
И тело сковано оцепенением,
И сердце сдавлено, и кровь — как лед.

Но знаю молнии: все изменяется...
Во сне пророческом иль наяву?
Копье Архангела меня касается
Ожогом пламенным — и я живу.

Пусть на мгновение,— на полмгновения
Одним касанием растоплен лед...
Я верю в счастие освобождения,
В Любовь, прощение, в огонь — в полет!

Ноябрь, 18 г., СПБ.

ТЯЖЕЛЫЙ СНЕГ

В. А. Злобину

Звезда субботняя лампады,
За окнами — тяжелый снег.
Пространств пустынные преграды,
Ночных мгновений четкий бег...

Вот 3 удара — словно пенье
Далекое — колоколов...
И я, чтоб задержать мгновенья,
Их сковываю цепью слов.

Ноябрь, 18 г., СПБ.

14 ДЕКАБРЯ 18 г.

Нас больше нет. Мы все забыли,
Взвихрясь в невиданной игре.
Чуть вспоминаем, как вы стыли
В каре, в далеком декабре.

И как гремящий Зверь железный
Все победив — не победил...
Его уж нет — но зверь из бездны
Покрыл нас ныне смрадом крыл.

Наш конь домчался, бездорожен,
Безузден, яр,— куда? куда?
И вот, исхлестан и стреножен,
Последнего он ждет суда.

Заветов тайных Муравьева
Свились напрасные листы...
Напрасно, Пестель, вождь суровый,
В узле пеньковом умер ты,

Напрасно все: душа ослепла,
Мы преданы червю и тле,
И не осталось даже пепла
От «Русской правды» на земле.

Декабрь, 18 г., СПБ.

ЗНАЙТЕ!

Она не погибнет,— знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся,— верьте!
Поля ее золотые.

И мы не погибнем,— верьте!
Но что нам наше спасенье?
Россия спасется,— знайте!
И близко ее воскресенье.

Декабрь, 18 г., СПБ.

ТИШЬ

На улицах белая тишь.
Я не слышу своего сердца.
Сердце, отчего ты молчишь?
Такая тихая, такая тихая тишь...

Город снежный, белый — воскресни!
Луна — окровавленный щит.
Грядущее все неизвестней...
Сердце мое, воскресни! воскресни!

Воскресение — не для всех.
Тихий снег тих, как мертвый.
Над городом распростерся грех.
Тихо плачу я, плачу — обо всех.

Декабрь, 18 г., СПБ.

КАЧАНИЕ

Все Я мое, как маятник, качается,
 и длинен, длинен размах.
Качается, скользит, перемежается —
 то надежда — то страх.

От знания, незнания, мерцания
 умирает моя плоть.
Безумного качания страдание
 ты ль осудишь, Господь?

Прерви его и зыбкое мучение
 останови! останови!
Но только не на ужасе падения,
 а на взлете — на Любви!

Февраль, 19 г., СПБ.

ТЩЕТА

Я шел по стылому, седому льду.
Мой каждый шаг — ожоги и порезы.
Искал тебя — и знал, что не найду,
Как синтез не найду без антитезы.

Смотрело маленькое солнце зло
(Для солнца нет ни бывших, ни грядущих) —
На хрупкое и скользкое стекло,
На лица синие мимоидущих.

Когда-нибудь и ты меня искать
Пойдешь по той же режущей дороге.
И то же солнце будет озарять
Твою тщету и раненые ноги.

Март, 19 г., СПБ.

ПОКА

Я ненавижу здешнее «пока»:
С концами все, и радости, и горе.
Ведь как бы ни была длинна река —
Она кончается, впадая в море.

Противны мне равно земля и твердь,
И добродетель, и бесчеловечность;
Одну тебя я принимаю, Смерть:
В тебе единой не пока — но вечность.

Апрель, 19 г., СПБ.

С ВАРЕВОМ

Две девочки с крошечными головками,
ужасно похожие друг на дружку,
тащили лапками, цепкими и ловкими,
уёмистую, как бочонок, кружку.

Мне девчонки показались занятными,
заглянул я в кружку мимо воли:
суп,— с большими сальными пятнами,
а на вкус — тепловатый и без соли.

Захихикали, мигнули: «Не нравится?
да он из лучшего кошачьего сала!
наш супец — интернационально славится;
а если тошнит,— так это сначала...»

Я от скуки разболтался с девчонками;
их личики непрерывно линяли,
но голосами монотонно звонкими
они мне все о себе рассказали:

«Личики у нас, правда, незаметные,
мы сестрицы, и мы — двойняшки;
мамаш у нас количества несметные,
и все мужчины наши папашки.

Я — Счастие, а она — Упокоение,
так зовут нас лучшие поэты...
Совсем напрасно твое удивление:
или ты, глупый, не веришь в это?»

Такой от девчонок не ждал напасти я,
смеюсь: однако вы осмелели!
Уж не суп ли без соли — эмблема счастия?
Нет, как зовут вас на самом деле?

Хохоток их песочком сеется...
«Как зовут? Сказать ему, сестрица?
Да Привычкой и Отвычкой, разумеется!
наших имен нам нечего стыдиться.

Мы и не стыдимся их ни крошечки,
а над варевом смеяться — глупо;
мы, Привычка и Отвычка,— кошечки...
Подожди, запросишь нашего супа...»

Апрель, 19 г., СПБ.

ЛЕТОМ

> О, эти наши дни последние,
> Обрывки неподвижных дней!
> И только небо в полночь меднее
> Да зори голые длинней...

Хочу сказать... Но нету голоса.
На мне почти и тела нет.
Тугим узлом связались полосы
Часов и дней, недель и лет.

Какою силой онедвижена
Река земного бытия?
Чьим преступленьем так унижена
Душа свободная моя?

Как выносить невыносимое?
Чем искупить кровавый грех,
Чтоб сократились эти дни мои,
Чтоб Он простил меня — и всех?

Июль, 19 г., СПБ.

ОСЕНЬЮ

(сгон на революцию)

На баррикады! На баррикады!
Сгоняй из дальних, из ближних мест...
Замкни облавой, сгруди, как стадо,
Кто удирает — тому арест.
Строжайший отдан приказ народу,
Такой, чтоб пикнуть никто не смел.
Все за лопаты! Все за свободу!
А кто упрется — тому расстрел.
И все: старуха, дитя, рабочий —
Чтоб пели Интер-национал.
Чтоб пели, роя, а кто не хочет
И роет молча — того в канал!
Нет революций краснее нашей:
На фронт — иль к стенке, одно из двух.
...Поддай им сзаду! Клади им вза́шей,
Вгоняй поленом мятежный дух!

На баррикады! На баррикады!
Вперед, за «Правду», за вольный труд!
Колом, веревкой, в штыки, в приклады...
Не понимают? Небось, поймут.

25 Октября, 19 г., СПБ.

НОЧЬ

...Не рассветает, не рассветает...
На брюхе плоском она ползет.
И все длиннеет, все распухает...
Не рассветает! Не рассветет.

Декабрь, 19 г., СПБ.

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Как ясен знак проклятый
Над этими безумными!
Но только в час расплаты
Не будем слишком шумными.

Не надо к мести зовов
И криков ликования:
Веревку уготовав —
Повесим их в молчании.

Декабрь, 19 г., СПБ.

ТАМ И ЗДЕСЬ

ТАМ И ЗДЕСЬ

Там — я люблю иль ненавижу,—
Но понимаю всех равно:
    И лгущих,
    И обманутых,
    И петлю вьющих,
    И петлей стянутых...
А здесь — я никого не вижу.
Мне все равны. И все равно.

Январь, 20 г., Бобруйск

ВИДЕНИЕ

(Этюд на «анте»)

На Смольном новенькие банты
из алых заграничных лент.
Закутили красноармейские франты,
близится великий момент.
Жадно комиссарские аманты
мечтают о журнале мод.
Улыбаются спекулянты,
до ушей разевая рот.
Эр-Эс-Эф-ка — из адаманта,
победил пролетарский гнев!
Взбодрились оба гиганта,
Ульянов и Бронштейн Лев.
Завели крепостные куранты
(кто услышит ночной расстрел?),

разработали все пуанты
европейских революционных дел.
В цене упали бриллианты,
появился швейцарский сыр...
. . . .
Что случилось? А это Антанта
с большевиками заключает мир.

Январь, 20 г., Минск

ОТТУДА?

Д. П. С⟨околовой⟩

Она никогда не знала,
как я любил ее,
как эта любовь пронзала
все бытие мое.

Любил ее бедное платье,
волос ее каждую прядь...
Но если б и мог сказать я —
она б не могла понять.

И были слова далеки...
И так — до последнего дня,
когда в мой путь одинокий
она проводила меня...

Ни жалоб во мне, ни укора...
Мне каждая мелочь близка,
над каждой я плачу, которой
касалась ее рука...

Не знала — и не узнает,
как я любил ее,
каким острием пронзает
любовь — бытие мое.

И, может быть, лишь оттуда,—
если она уж там,—
поймет любви моей чудо
она по этим слезам...

Май, 20 г., Варшава

ГЛАЗА ИЗ ТЬМЫ

О эти сны! О эти пробуждения!
Опять не то ль,
Что было в дни позорного пленения,
Не та ли боль?

Не та, не та! Стремит еще стремительней
Лавина дней,
И боль еще тупее и мучительней,
Еще стыдней.

Мелькают дни под серыми покровами,
А ночь длинна.
И вся струится длительными зовами
Из тьмы — со дна...

Глаза из тьмы, глаза навеки милые,
Неслышный стон...
Как мышь ночная, злая, острокрылая
Мой каждый сон.

Кому страдание нести бесслезное
Моих ночей?
Таит ответ молчание угрозное,
Но чей? Но чей?

Август, 20 г., Варшава

РОДНОЕ

Т. И. М⟨анухиной⟩

Есть целомудрие страданья
И целомудрие любви.
Пускай грешны мои молчанья —
Я этот грех ношу в крови.

Не назову родное имя.
Любовь безмолвная свята.
И чем тоска неутолимей,
Тем молчаливее уста.

Декабрь, 20 г., Париж

КЛЮЧ

Струись,
Струись,
Холодный ключ осенний.
Молись,
Молись
И веруй неизменней.

Молись,
Молись,
Молитвой неугодной.
Струись,
Струись,
Осенний ключ холодный...

Сентябрь, 21 г., Висбаден

БУДЕТ

И. И. Манухину

Ничто не сбывается.
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь.
Все обманывают,
А я люблю.
Кругом несчастие,
Но радость будет.
Близкая радость,
Нездешняя — здесь.

1922 г.

СИЯНИЯ

Тебе, чье имя не открою,
Но ты со мной всегда.
Ты мне — как горная вода
Среди земного зноя.

СИЯНЬЯ

Сиянье слов... Такое есть ли?
Сиянье звезд, сиянье облаков —
Я все любил, люблю... Но если
Мне скажут: вот сиянье слов —
Отвечу, не боясь признанья,
Что даже святости блаженное сиянье
Я за него отдать готов...
Все за одно сиянье слов!

Сиянье слов? О, повторять ли снова
Тебе, мой бедный человек-поэт,
Что говорю я о сияньи Слова,
Что на земле других сияний нет?

ИДУЩИЙ МИМО

У каждого, кто встретится случайно,
Хотя бы раз,— и сгинет навсегда,
Своя история, своя живая тайна,
Свои счастливые и скорбные года.

Какой бы ни был он, прошедший мимо,
Его, наверно, любит кто-нибудь...
И он не брошен: с высоты, незримо,
За ним следят, пока не кончен путь.

Как Бог, хотел бы знать я все о каждом,
Чужое сердце видеть, как свое,
Водой бессмертья утолять их жажду —
И возвращать иных в небытие.

МЕРА

Всегда чего-нибудь нет,—
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый неверен знак,
В решеньи каждом — ошибка.

Змеится луна в воде —
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

НАД ЗАБВЕНЬЕМ

Я весь, и сердцем, и телом,
Тебя позабыл давно,
Как будто в дому опустелом
Закрылось твое окно.

И вот этот звук случайный,
Который я тоже забыл,
По связи какой-то тайной
Меня во мне изменил.

Душу оставил все тою,
Уму не сказал ничего,
Лишь острою теплотою
Наполнил меня всего.

Не память,— но воскресенье,
Мгновений обратный лет...
Так бывшее над забвеньем
Своею жизнью живет.

РОЖДЕНИЕ

Беги, беги, пещерная вода,
Как пенье, звонкая, как пламя, чистая.
Гори, гори, небесная звезда,
Многоконечная, многолучистая.
Дыши, дыши, прильни к Нему нежней,
Святая, радостная, ночь безлунная...
В тебе рожденного онежь, угрей,
Солома легкая, золоторунная...
Несите, вести, звездные мечи,
Туда, туда, где шевелится мга,
Где кровью черной облиты снега,
Несите вести, острые лучи,
На край земли, на самый край, туда —
Что родилась Свобода трехвенечная
И что горит восходная Звезда,
Многоочитая, многоконечная...

24 Декабря

ЖЕНСКОСТЬ

Падающие, падающие линии...
Женская душа бессознательна,
Много ли нужно ей?

Будьте же, как буду отныне я,
К женщине тихо-внимательны,
И ласковей, и нежней.

Женская душа — пустынная.
Знает ли, какая холодная,
Знает ли, как груба?

Утешайте же душу невинную,
Обманите, что она свободная...
Все равно она будет раба.

ВЕЧНОЖЕНСТВЕННОЕ

Каким мне коснуться словом
Белых одежд Ее?
С каким озареньем новым
Слить Ее бытие?

О, ведомы мне земные
Все твои имена:
Сольвейг, Тереза, Мария...
Все они — ты Одна.
Молюсь и люблю... Но мало
Любви, молитв к тебе.
Твоим-твоей от начала
Хочу пребыть в себе,
Чтоб сердце тебе отвечало —
Сердце — в себе самом,
Чтоб Нежная узнавала
Свой чистый образ в нем...
И будут пути иные,
Иной любви пора.
Сольвейг, Тереза, Мария,
Невеста-Мать-Сестра!

НЕОТСТУПНОЕ

Я от дверей не отойду,
Пусть длится ночь, пусть злится ветер.
Стучу, пока не упаду.
Стучу, пока Ты не ответишь.
Не отступлю, не отступлю,
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю,
Восстанови ее из праха!
Верни ее под отчий кров,
Пускай виновна — отпусти ей!
Твой очистительный покров
Простри над грешною Россией!

И мне, упрямому рабу,
Увидеть дай ее, живую...
Открой!
Пока она в гробу,
От двери Отчей не уйду я.
Неугасим огонь души,
Стучу — дрожат дверные петли,
Зову Тебя — о, поспеши!
Кричу к Тебе — о, не замедли!

ЮЖНЫЕ СТИХИ

1

ЗА ЧТО?

Качаются на луне
Пальмовые перья.
Жить хорошо ли мне,
Как живу теперь я?

Ниткой золотой светляки
Пролетают, мигая.
Как чаша, полна тоски
Душа — до самого края.

Морские дали — поля
Бледносеребряных лилий...
Родная моя земля,
За что тебя погубили?

2

ЛЯГУШКА

Какая-то лягушка (все равно!)
    Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
    А вдруг она — о самом важном?

И вдруг, поняв ее язык,
    Я б изменился, все бы изменилось,
Я мир бы иначе постиг,
    И в мире бы мне новое открылось?

Но я с досадой хлопаю окном:
    Все это мара ночи южной
С ее томительно-бессонным сном...
    Какая-то лягушка! Очень нужно!

3

ЖАРА

Опять черна, знакома и чиста
Свой звездный купол ночь вскружила.
Давно мне сердце эта пестрота
Неотвратимостью своею утомила.

И Млечный Путь — застывшая река,
Где не текут и не мерцают струи...
О, тени Божьих мыслей,— облака!
Я вас любил... И как о вас тоскую!

4

ДОЖДЬ

И все прошло: пожары, знои,
И все прошло,— и все другое:
Сереет влажно полог низкий.
О, милый дождь! Шурши, шурши,
Родные лепеты мне близки,
Как слезы тихие души.

СТИХИ О ЛУНЕ

1

ПЯТНО

Кривое белое пятно
    Комочком смято-мутным
Висит бесцельно и давно
    Над морем неуютным.

Вздымая водные пласты,
    Колеблет море сваи.
А солнце смотрит с высоты,
    Блистая и скучая.

Но вот, в тот миг, когда оно
    Сердито в тучу село,
Мне показалось, что пятно
    Чуть-чуть порозовело.

Тревожит сердце кривизна,
И розовые тени,
И жду я втайне от пятна
Волшебных превращений...

2

СТЕНА

В полусверкании зеленом,
Как в полужизни-полусне,
Иду по крутоузким склонам,
По белоблещущей стене.

И тело легкое послушно,
Хранимо пристальной луной.
И верен шаг полувоздушный
Над осиянной пустотой.

Земля, твои оковы сняты,
Твои законы сменены.
Как немо, вольно и крылато
В высоком царствии луны!

И вьется в полусмертной тени
Мой острый путь — тропа любви...
О мать, земля! моих видений
Далеким зовом — не прерви!

Ужель ты хочешь, чтоб опять я
Рабом очнулся и в провал —
В твои ревнивые объятья —
Тяжелокаменно упал?

БЫТЬ МОЖЕТ

Как этот странный мир меня тревожит!
Чем дальше — тем все меньше понимаю.
Ответов нет. Один всегда: быть может.
А самый честный и прямой: не знаю.

Задумчивой тревоге нет ответа.
Но почему же дни мои ее все множат?

Как родилась она? Откуда?
Где-то —
Не знаю где — ответы есть... быть может?

ЯСНОСТЬ

В. А. Мамченко

Невинны нити всех событий,
Но их не путай, не вяжи,
И чистота, единость нити
Всегда спасет тебя от лжи.

ПРОРЕЗЫ

Здесь — только обещания и знаки:
Игла в закатном золоте вина,
Сияющий прорыв, прорез на мраке...
Здесь только счастье — голубого сна.

Но я земным обетам жадно внемлю.
Текут мгновения, звено к звену.
И я люблю мою родную Землю,
Как мост, как путь в зазвездную страну.

И этот вечер, весь под лунным жалом,
(Все вечера, все вечера — один!)
Лишь алый знак, написанный кинжалом
На терпком холоде зеленых льдин.

И чем доверчивее, тем безгрешней
Люблю мое высокое окно.
Одну Нездешнюю люблю я в здешней,
Люблю Ее... Она и ты — одно.

КАК ОН

Георгию Адамовичу

Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать,—

Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

ГОРНОЕ

Освещена последняя сосна.
Под нею темный кряж пушится.
Сейчас погаснет и она.
День конченый — не повторится.

День кончился. Что было в нем?
Не знаю, пролетел, как птица.
Он был обыкновенным днем,
А все-таки — не повторится.

ЕЙ В ГОРАХ

I

Я не безвольно, не бесцельно
Хранил лиловый мой цветок.
Принес его, длинностебельный,
И положил у милых ног.

А ты не хочешь... Ты не рада...
Напрасно взгляд твой я ловлю.
Но пусть! Не хочешь — и не надо;
Я все равно тебя люблю.

II

Новый цветок я найду в лесу.
    В твою неответность не верю, не верю!
Новый, лиловый я принесу
    В дом твой прозрачный, с узкою дверью.

Но стало мне страшно там, у ручья:
    Вздымился туман из ущелья, стылый,
Тихо шипя, проползла змея...
    И я не нашел цветка для милой.

НАСТАВЛЕНИЕ

Молчи. Молчи. Не говори с людьми,
Не подымай с души покрова.
Все люди на земле — пойми! Пойми!
Ни одного не стоят слова.

Не плачь. Не плачь. Блажен, кто от людей
Свои печали вольно скроет.
Весь этот мир одной слезы твоей,
Да и ничьей слезы не стоит.

Таись, стыдись страданья твоего,
Иди — и проходи спокойно.
Ни слов, ни слез, ни вздоха,— ничего
Земля и люди недостойны.

КЛЮЧ

Был дан мне ключ заветный,
  И я его берег.
Он ржáвел незаметно...

  Последний срок истек.
На мост крутой иду я.
  Речная муть кипит.
И тускло бьются струи
  О сумрачный гранит,
Невнятно и бессменно
  Бормочут о своем,
Заржавленною пеной
  Взлетая под мостом.
Широко ветер стужный
  Стремит свистящий лет...

Я бросил мой ненужный,
  Мой ключ — в кипенье вод.
Он скрылся, взрезав струи,
  И где-то лег на дне...

Прости, что я тоскую.
  Не думай обо мне.

ПРОШЛА

На выгибе лесного склона
Я увидал Ее в закатный час.
Зеленая прозрачная корона,
Печальность неподвижных глаз.

Легко прошла, меж алых сосен тая,
Листом коричневым не прошурша,
Корона изумрудела сквозная...
И плакала моя душа.

Любил Ее, люблю не зная...
Узнаю ль в мой закатный час?
Сверкнет ли мне в последний раз
Ее корона тонкая, сквозная,
Зеленая осеннесть глаз?

ВТАЙНЕ

Сегодня имя твое я скрою,
И вслух — другим — не назову,
Но ты услышишь, что я с тобою,
Опять тобой — одной — живу.

На влажном небе Звезда огромней,
Дрожат — струясь — ее края.
И в ночь смотрю я, и сердце помнит,
Что эта ночь — твоя, твоя!

Да, вновь увидеть родные очи,
Взглянуть в их глубь — и ширь — и синь.
Земное сердце великой Ночью
В его тоске — о, не покинь!

И все жаднее, все неуклонней
Оно зовет — одну — тебя.
Возьми же сердце мое в ладони,
Согрей,— утишь,— утешь, любя...

ST. THERESE DE L'ENFANT JESUS [1]

Девочка маленькая, чужая,
Девочка с розами, мной не виденная,
Ты знаешь все, ничего не зная,
Тебе знакомы пути нейденные —
Приди ко мне из горнего края,
Сердцу дай ответ, неспокойному...
Милая девочка, чужая, родная,
Приди к неизвестному, недостойному...

Она не судит, она простая,
Желанье сердце она услышит,
Розы ее такою чистою,
Такой нежной радостью дышат...
О, будь со мною, чужая, родная,
Роза розовая, многолистая...

ЗЕРКАЛА

А вы никогда не видали?
В саду или в парке — не знаю,
Везде зеркала сверкали.
Внизу, на поляне, с краю,
Вверху, на березе, на ели,
Где прыгали мягкие белки,
Где гнулись мохнатые ветки,—
Везде зеркала блестели.
И в верхнем — качались травы,
А в нижнем — туча бежала...
Но каждое было лукаво,
Земли иль небес ему мало,—
Друг друга они повторяли,
Друг друга они отражали...
И в каждом — зари розовенье
Сливалось с зеленостью травной;
И были, в зеркальном мгновеньи,
Земное и горнее — равны.

[1] Св. Тереза Младенца Иисуса (*фр.*).— *Ред.*

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Д. М⟨ережковскому⟩

Не пытай ни о чем доро́гой,
Легкой ткани льняной не трогай,
И в пыли не пытай следов,—
Не ищи невозможных слов.

Посмотри, как блаженны дети;
Будем просты сердцем и мы.
Нету слов об этом на свете,
Кроме слов — последних — Фомы.

ДОСАДА

Когда я воскрес из мертвых,
    Одно меня поразило:
Что это восстанье из мертвых
И все, что когда-нибудь было —
    Все просто, все так, как надо...

Мне раньше бы догадаться!
И грызла меня досада,
Что не успел догадаться.

ВСЕ РАВНО...

...Нет! из слабости истощающей
    Никуда! Никуда!
Сердце мое обтекающей,
    Как вода! Как вода!

Ужель написано — и кем оно?
    В небесах,
Чтобы въедались в душу два демона,—
    Надежда и Страх?

Не спасусь, я борюсь,
    Так давно! Так давно!
Все равно утону, уж скорей бы ко дну...
    Но где дно?..

8 НОЯБРЯ

Тихие сумерки... И разноцветная
медленно меркнущая морская даль.
Тоже тихая и безответная,
розово-серая во мне печаль.
Пахнет розами и неизбежностью,
кто поможет и как помочь?
Вечные смены, вечные смежности,
лето и осень — день и ночь...

Свечи кудрявятся за тихой всенощной,
к окнам узким мрак приник,
пахнет розами... Как мы немощны!
Радуйся, радуйся, Архистратиг!

ETERNITE FREMISSANTE [1]

В. С. Варшавскому

Моя любовь одна, одна,
Но все же плачу, негодуя:
Одна,— и тем разделена,
Что разделенное люблю я.

О Время! Я люблю твой ход,
Порывистость и равномерность.
Люблю игры твоей полет,
Твою изменчивую верность.

Но как не полюбить я мог
Другое радостное чудо:
Безвременья живой поток,
Огонь, дыхание «оттуда»?

Увы, разделены они —
Безвременность и Человечность.
Но будет день: совьются дни
В одну — Трепещущую Вечность.

---

[1] Трепещущая вечность *(фр.).— Ред.*

РАВНОДУШИЕ

...Он пришел ко мне, а кто — не знаю,
Он плащом закрыл себе лицо...

1906

Он опять пришел, глядит
презрительно,
Кто — не знаю, просто он в плаще...

1918

Он приходит теперь не так,
Принимает он рабий зрак.
    Изгибается весь покорно
И садится тишком в углу,
Вдали от меня, на полу,
    Похихикивая притворно.

Шепчет: «Я ведь зашел, любя,
Просто так, взглянуть на тебя,
    Мешать не буду,— не смею...
Посижу в своем уголку,
Устанешь — тебя развлеку,
    Я разные штучки умею.

Хочешь в ближнего поглядеть?
Это со смеху умереть!
    Назови мне только любого,
Укажи скорей — хоть кого,
И сейчас же тебя в него
    Превращу я, честное слово!

На миг, не навек! — Чтоб узнать,
Чтобы в шкуре его побывать...
    Как минуточку в ней побудешь —
Узнаешь, где правда, где ложь,
Все до донышка там поймешь,
    А поймешь — не скоро забудешь.

Что же ты? Поболтай со мной...
Не забавно? Постой, постой,
    И другие я знаю штучки...»
Так шептал, лепетал в углу,

Жалкий, маленький, на полу,
    Подгибая тонкие ручки.

Разъедал его тайный страх:
Что отвечу я? Ждал и чах,
    Обещаясь мне быть послушен.
От работы и в этот раз
На него я не поднял глаз,
    Неответен — и равнодушен.

Уходи — оставайся со мной,
Извивайся — но мой покой
    Не тобою будет нарушен...
И растаял он на глазах,
На глазах растворился в прах,
    Оттого, что я — равнодушен...

КОГДА?

В церкви пели «Верую»,
весне поверил город.
Зажемчужилась арка серая,
засмеялись рои моторов.
Каштаны веточки тонкие
в мартовское небо тянут.
Как веселы улицы звонкие
в желтой волне тумана.
Жемчужьтесь, стены каменные,
марту, ветки, верьте...
Отчего у меня такое пламенное
желание — смерти?
Такое пристальное, такое сильное,
как будто сердце готово.
Сквозь пенье автомобильное
не слышит ли сердце зова?

Господи! Иду в неизвестное,
но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
такое же, как земное...

ИГРА

Совсем не плох и спуск с горы:
Кто бури знал, тот мудрость ценит.
Лишь одного мне жаль: игры...
Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда — ни для чего,
Как ни над чем смеются дети.

Котенок возится с клубком,
Играет море в постоянство...
И всякий ведал — за рулем —
Игру бездумную с пространством.

Играет с рифмами поэт,
И пена — по краям бокала...
А здесь, на спуске, разве след —
След от игры остался малый.

Пускай! Когда придет пора
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю,
Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

ВЕЕР

Смотрю в лицо твое знакомое,
Но милых черт не узнаю.
Тебе ли отдал я кольцо мое
И вверил тайну — не мою?

Я не спрошу назад, что вверено,
Ты не владеешь им,— ни я:
Все позабытое потеряно,
Ушло навек из бытия.

Когда-то ради нашей малости
И ради слабых наших сил,
Господь, от нежности и жалости,
Нам вечность — веером раскрыл.

Но ты спасительного дления
Из Божьих рук не приняла
И на забвенные мгновения
Живую ткань разорвала...

С тех пор бегут они и множатся,
Пустое дление дробя...
И если веер снова сложится,
В нем отыщу ли я тебя?

СЛОЖНОСТИ

К простоте возвращаться — зачем?
Зачем — я знаю, положим.
Но дано возвращаться не всем.
Такие, как я, не можем.

Сквозь колючий кустарник иду,
Он цепок, мне не пробиться.
Но пускай упаду,
До второй простоты не дойду,
Назад — нельзя возвратиться.

ЛАЗАРЬ

Нет, волглая земля, сырая;
только и может — тихо тлеть;
мы знаем, почему она такая,
почему огню на ней не гореть.

Бегает девочка с красной лейкой,
пустоглазая,— и проворен бег;
а ее погоняют: спеши-ка, лей-ка,
сюда, на камень, на доски, в снег!

Скалится девочка: «Везде побрызжем!»
На камне — смуглость и зыбь пятна,
а снег дымится кружевом рыжим,
рыжим, рыжим, рыжей вина.

Петр чугунный сидит молча,
конь не ржет и змей ни гугу.
Что ж, любуйся на ямы волчьи,
на рыжее кружево на снегу.

Ты, Строитель, сам пустоглазый,
ну и добро! Когда б не истлел —
выгнал бы девочку с лейкой сразу,
кружева рыжего не стерпел.

Но город и ты — во гробе оба,
ты молчишь, Петербург молчит.
Кто отвалит камень от гроба?
Господи, Господи: уже смердит...

Кто? Не Петр. Не вода. Не пламя.
Близок Кто-то. Он позовет.
И выйдет обвязанный пеленами:
«Развяжите его. Пусть идет».

1918—1938

ГРЕХ

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнанья.
Но злое дело — воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост:
Не надо мстить. Не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

Простим и мы, и Бог простит,
Но грех прощения не знает,
Он для себя — себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает,
Хоть мы простим, и Бог простит.

ДОМОЙ

Мне —
о земле —
болтали сказки:
«Есть человек. Есть любовь».

А есть —
лишь злость.
Личины. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Когда предлагали
мне родиться —
не говорили, что мир такой.

Как же
я мог
не согласиться?
Ну, а теперь — домой! домой!

ЖИВЫЕ ЛИЦА

МОЙ ЛУННЫЙ ДРУГ

О Блоке

. . . .
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье...
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да внидут в царствие Твое!

Это не статья о поэзии Блока. Не мало их у меня в свое время было. Это не статья и о Блоке самом. И уж во всяком случае это не суд над Блоком. И не оценка его. Я хочу рассказать о самом Блоке, дать легкие тени наших встреч с ним,— только.

Их очень было много за двадцать почти лет. Очень много. Наши отношения можно бы назвать дружбой... лунной дружбой. Кто-то сказал, впрочем (какой-то француз), что дружба — всегда лунная, и только любовь солнечная.

1

Осень на даче под Петербургом. Опушка леса, полянка над оврагом. Воздух яблочно-терпкий, небо ярко-лиловое около ярко-желтых, сверкающих кудрей тоненьких березок.

Я сижу над оврагом и читаю только что полученное московское письмо от Ольги Соловьевой.

Об этой замечательной женщине скажу вкратце два слова. Она была женой брата Владимира Соловьева — Михаила. Менее известный, нежели Владимир,— Михаил был, кажется, глубже, сосредоточеннее, и, главное, както т и ш е знаменитого брата. Ольга — порывистая, умная, цельная и необыкновенно талантливая. Ее картины никому не известны; да она их, кажется, мало кому и показывала; но каждый рисунок ее — было в нем что-то такое с в о е и новое, что он потом не забывался. Она написала только один рассказ (задолго до нашего знакомства). Напечатанный в «Сев⟨ерном⟩ вестнике», он

опять был такой новый и особенный, что его долго все помнили.

Не знаю, как случилось, что между нами завязалась переписка. И длилась годы, а мы еще никогда друг друга не видали. Познакомились мы сравнительно незадолго до ее смерти, в Москве. Тогда же, когда в первый раз увидались с Борей Бугаевым (впоследствии Андреем Белым). Семьи Бугаевых и Соловьевых жили тогда на Арбате, в одном и том же доме, в разных этажах.

Кажется, весной 1903 года Михаил Соловьев, очень слабый, заболел инфлуэнцей. Она осложнилась. Ольга не отходила от него до последней минуты. Закрыв ему глаза, она вышла в другую комнату и застрелилась.

Вместе их отпевали и хоронили. Ольга была очень религиозный человек и — язычница. Любовь ее была ее религией.

Остался сын Сергей, шестнадцатилетний. Впоследствии — недурной поэт, издавший несколько книг (немножко классик). Перед войной он сделался священником.

2

В тот яркий осенний день, с которого начинается мой рассказ, из письма Ольги Соловьевой выпало несколько отдельных листков. Стихи. Но прочтем сначала письмо.

В нем, post scriptum: «...а вы ничего не знаете о новоявленном, вашем же, петербургском, поэте? Это юный студент; нигде, конечно, не печатался. Но, может быть, вы с ним случайно знакомы? Его фамилия Блок. От его стихов Боря (Бугаев) в таком восторге, что буквально катается по полу. Я... право не знаю, что сказать. Переписываю Вам несколько. Напишите, что Вы думаете».

Вошли ли эти первые робкие песни в какой-нибудь том Блока? Вероятно, нет. Они были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их — было блоковское, которое не оставляло его и после и давало ему своеобразную прелесть.

И тема, помню, была блоковская: первые видения Прекрасной Дамы.

3

Переезд в город, зима, дела, кажется — религиозно-философские собрания... Блок мне не встречался, хотя кто-то опять принес мне его стихи, другие, опять меня заинтересовавшие.

Ранней весной,— еще холодновато было, камин топился, значит — в начале или в середине марта,— кто-то позвонил к нам. Иду в переднюю, отворяю дверь.

День светлый, но в передней темновато. Вижу только, что студент, незнакомый; пятно светло-серой тужурки.

— Я пришел... нельзя ли мне записаться на билет... в пятницу, в Соляном Городке Мережковский читает лекцию...

— А как ваша фамилия?

— Блок...

— Вы — Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. С билетом потом, это пустяки...

И вот Блок сидит в моей комнате, по другую сторону камина, прямо против высоких окон. За окнами,— они выходят на соборную площадь Спаса Преображения,— стоит зеленый, стеклянный свет предвесенний, уже немеркнущее небо.

Блок не кажется мне красивым. Над узким высоким лбом (все в лице и в нем самом — узкое и высокое, хотя он среднего роста) — густая шапка коричневых волос. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно оно из дерева или из камня. Очень интересное лицо.

Движений мало, и голос под стать: он мне кажется тоже «узким», но он при этом низкий и такой глухой, как будто идет из глубокого-глубокого колодца. Каждое слово Блок произносит медленно и с усилием, точно отрываясь от какого-то раздумья.

Но странно. В этих медленных отрывочных словах, с усилием выжимаемых, в глухом голосе, в деревянности прямого лица, в спокойствии серых невнимательных глаз,— во всем облике этого студента — есть что-то милое. Да, милое, детское,— «не страшное». Ведь «по-какому-то» (как сказал бы юный Боря Бугаев) всякий новый взрослый человек — страшный; в Блоке именно этой «страшности» не было ни на капельку; потому, должно быть, что, несмотря на неподвижность, серьезность, деревянность даже — не было в нем «взрослости»,

той безнадежной ее стороны, которая и дает «страшность».

Ничего этого, конечно, тогда не думалось, а просто чувствовалось.

Не помню, о чем мы в первое это свидание говорили. Но говорили так, что уж ясно было: еще увидимся, непременно.

Кажется, к концу визита Блока пришел Мережковский.

4

В эти годы Блока я помню почти постоянно. На религ⟨иозно⟩-философских собраниях он как будто не бывал, или случайно, может быть (там все бывали). Но он был с самого зарождения журнала «Новый путь». В этом журнале была впервые напечатана целая серия его стихов о Прекрасной Даме. Очень помогал он мне и в критической части журнала. Чуть не в каждую книжку давал какую-нибудь рецензию или статейку: о Вячеславе Иванове, о новом издании Вл. Соловьева... Стоило бы просмотреть старые журналы.

Но и до начала «Нового пути» мы уже были так дружны, что летом 1902 года, когда он уезжал в свое Шахматово (подмосковское именьице, где он потом жил подолгу и любовно устраивал дом, сам работая),— мы все время переписывались. Поздней же осенью он приехал к нам на несколько дней в Лугу.

Дача у нас была пустынная, дни стояли, после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень холодные.

Мы бродим по перелеску, кругом желтое золото, алость сентябрьская, ручей журчит во мхах, и такой — даже на вид холодный, хоть и солнце в нем отражается. О чем-то говорим,— может быть, о журнале, может быть, о чем-то совсем другом... вряд ли о стихах.

Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда, будучи с вами, еще был где-то,— я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых — каждое из его медленных скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое, или даже много легких слов, не годились в ответ.

Можно было, конечно, говорить «мимо» друг друга,

в двух разных линиях; многие, при мне, так и говорили с Блоком,— даже о «возвышенных» вещах; но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся особый язык: между словами и около них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно — «несказа́нно».

Сознаюсь, иногда это «несказа́нное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть «несказа́нное» за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но... не для Блока. Не для того раннего Блока, о котором говорю сейчас.

Невозможно сказать, чтобы он не имел отношения к реальности; еще менее, что он «не умен». А между тем все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией — отскакивало от него, не прилагалось к нему. Ученик и поклонник Владимира Соловьева — Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока. В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его «провидений», мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в «Трех встречах» — самой «несказа́нной» из поэм — вдруг написать, захохотав, строчку: «Володенька, да как же ты глюпа!» — Блок не умел этого. «Она» или сияла ему ровным невечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уж не до невинных улыбок над собой.

5

Чем дальше, тем все яснее проступала для меня одна черта в Блоке,— двойная: его трагичность, во-первых, и, во-вторых, его какая-то незащищенность... от чего? Да от всего: от самого себя, от других людей,— от жизни и от смерти.

Но как раз в этой трагичности и незащищенности лежала и главная притягательность Блока. Немногие, конечно, понимали это, но, все равно, привлекались и не понимая.

Мои внутренние восстания на блоковскую «несказáнность», тяжелым облаком его обнявшую и связавшую, были инстинктивным желанием, чтобы нашел он себе какую-нибудь защиту, схватился за какое-нибудь человеческое оружие. Но для этого надо было в свое время повзрослеть. Взрослость же — не безнадежная, всеубивающая, о которой говорилось выше, но необходимая взрослость каждого человека,— не приходила к Блоку. Он оставался, при редкостной глубине — за чертой «ответственности».

Знал ли он сам об этом? Знал ли о трагичности своей и незащищенности? Вероятно, знал. Во всяком случае чувствовал он их,— и предчувствовал, чтó они готовят ему,— в полную силу.

6

Блок, я думаю, и сам хотел «воплотиться». Он подходил, приникал к жизни, но когда думал, что входит в нее, соединяется с нею,— она отвечала ему гримасами.

Я, впрочем, не знаю, как он подходил, с какими усилиями. Я пишу только о Блоке, которого видели мои собственные глаза.

А мы с ним даже и не говорили почти никогда друг о друге,— о нашей человеческой жизни. Особенно в первые годы нашей дружбы. Во всяком случае, не говорили о фактах, прямо, а лишь «около» них.

Мне была известна, конечно, общая биография Блока, то, что его родители в разводе, что он живет с матерью и вотчимом, что отец его — в прибалтийском крае, а сестру, оставшуюся с отцом, Блок почти не знает. Но я не помню, когда и как мне это стало известно. Отражения фактов в блоковской душе мне были известнее самих фактов.

Мы засиделись однажды — над корректурой или над другой какой-то работой по журналу — очень поздно. Так поздно, что белая майская ночь давно промелькнула. Солнце взошло и стояло, маленькое и бледное, уже довольно высоко. Но улицы, им облитые, были совершенно пусты: город спал,— ведь была глубокая ночь.

Я люблю эти солнечные часы ночного затишья; светлую жуть мертвого Петербурга (какое страшное в ней было предсказанье!).

Я говорю Блоку:

— Знаете? Пойдемте гулять.

И вот мы уже внизу, на серых, скрипящих весенней пылью плитах тротуара. Улицы прямы, прямы, тишина, где-то за забором поет петух... Мы точно одни в целом городе, в нашем, нам милом. Он кажется мертвым, но мы знаем,— он только спит...

Опять не помню, о чем мы говорили. Помню только, что нам было весело и разговор был легкий, как редко с Блоком.

Уже возвращаясь, почти у моей двери, куда он меня проводил, я почему-то спрашиваю его:

— А вы как думаете, вы женитесь, Александр Александрович?

Он неожиданно быстро ответил:

— Да. Думаю, что женюсь.

И прибавил еще:

— Очень думаю.

Это все, но для меня это было так ясно, как если бы другой весь вечер говорил мне о своей вот-вот предстоящей свадьбе.

На мой вопрос кому-то:

— Вы знаете, что Блок женится?

Ответ был очень спокойный:

— Да, на Любочке Менделеевой. Как же, я знал ее еще девочкой, толстушка такая.

7

В это лето мы с Блоком не переписывались. Осенью кто-то рассказал мне, что Блок, женившись, уехал в Шахматово, что жена его какая-то удивительная прелесть, что у них в Шахматове долго гостили Боря Бугаев и Сережа Соловьев (сын Михаила и Ольги Соловьевых).

Всю последующую зиму обстоятельства так сложились, что Блок почти не появлялся на нашем горизонте. Журнал продолжался (р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософские⟩ собрания были запрещены свыше), но личное горе, постигшее меня в начале зимы, приостановило мою работу в нем на некоторое время. У нас не бывал никто — изредка молодежь, ближайшие сотрудники журнала,— все, впрочем, друзья Блока.

Помнится как-то, что был и он. Да, был,— в первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на иоту не переменившимся.

Немного мягче, но, может быть, просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи,— и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же Прекрасной Даме.

И разговор наш был такой же; только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный, в сущности:

— Не правда ли, ведь, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине?

Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы:

— Ну, конечно нет, никогда.

И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившегося, не могло существовать. В чем я его подозреваю! Надо же было видеть, что женитьба изменила его... пожалуй, даже слишком мало.

При прощании:

— Вы не хотите меня познакомить с вашей женой?

— Нет. Не хочу. Совсем не надо.

8

Мне не хотелось бы касаться никого из друзей Блока; только одного его друга (и бывшего моего) — Бориса Бугаева, «Андрея Белого» — обойти молчанием невозможно.

Он не умер. Для меня, для многих русских людей он как бы давно умер. Но это все равно. О живых или о мертвых говоришь — важно говорить правду. И о живых, и о мертвых, одинаково, нельзя сказать всей ф а к т и ч е с к о й правды. О чем-то нужно умолчать, и о худом, и о хорошем.

Об Андрее Белом, специально, мне даже и охоты нет писать. Я возьму прежнего Борю Бугаева, каким он был в те времена, и лишь постольку, поскольку того требует история моих встреч с Блоком.

Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза; тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению.

С Борей Бугаевым познакомились мы приблизительно тогда же, когда и с Блоком (когда, вероятно, и Блок с ним познакомился). И хотя Б. Бугаев жил в Москве,

куда мы попадали не часто, а Блок в Петербурге, отношения наши с первым были внешне ближе, не то дружественнее, не то фамильярнее.

Я беру Б. Бугаева в сфере Блока, а потому и не останавливаюсь на наших отношениях. Указываю лишь на разность этих двух людей. Если Борю иначе, как Борей, трудно было называть — Блока и в голову бы не пришло звать «Сашей».

Серьезный, особенно неподвижный, Блок — и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока — и бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом, вечно меняющимся,— почти до гримас; он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь; потом скажет «да». Или «нет». Боря на все ответит непременно: «да-да-да»... и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный,— Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори — они легче пуха, и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка.

Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок,— в нем чувствовали это и друзья и недруги,— был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже раз говорили с ним об этом.) Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание или ощущение — очень прозрачное для собеседника,— что он ничего не понимает. Смотрит, видит,— и во всем для него, и в нем для всего,— недосказанность, неконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит ничего не понимать.

Когда это постоянное состояние Блока выступало особенно резко, мне думалось: а вдруг и все «ничего не понимают» и редкостность Блока лишь в том, что он с непрерывностью чувствует, что ничего «не понимает», а все другие — не чувствуют?

Во всяком случае, с Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро,

оригинально, глубоко,— затейно,— подчас прямо блестяще. О, не только понимает,— он даже пере-перепонял... все. Говорю это без малейшей улыбки. Я не отказываюсь от одной своей заметки в «Речи»,— она называлась, кажется, «Белая стрела». Б. Бугаев не гений, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.

Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее — он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был верен. «Ты, Петр, камень»... А уж если не верен — так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен — ведь «ничего не понимает»...

Боря Бугаев — весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности,— он танцуя перелетит, кажется, всякие «тарары». Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать,— туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз...

Боря Бугаев — воплощенная неверность. Такова его природа.

9

Что же связывало эти два, столь различные, существа? Какая была между ними схожесть?

Она была. Опять не коснусь «искусства», того, что оба они — поэты, писатели. Я говорю не о литературе, только о людях и о их душах, еще вернее — о их образах.

Прежде всего, они, Блок и Бугаев, люди одного и того же поколения (может быть, «полупоколения»), оба неисцелимо «невзрослые». В человеке зрелом, если он человек не безнадежно плоский, остается, конечно, что-то от ребенка. Но Блок и Бугаев — это совсем не то. Они оба не имели зрелости, и чем больше времени проходило, тем яснее было, что они ее и не достигнут. Не разрушали впечатления невзрослости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиция Бугаева. Это все было вместо зрелости, но отнюдь не она сама.

Стороны чисто детские у них были у обоих, но

разные: из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте; в Боре — сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий.

Блок мало знал свою детскость; Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею.

Оба они, хотя несколько по-разному, были безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке чувствовался трагизм,— Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен.

На взгляд грубый, сторонний, и Блок, и Бугаев казались,— скажем прямо,— людьми «ненормальными». И с той же грубостью толпа извиняла им «ненормальность» за их «талант», за то, что они «поэты». Тут все, конечно, с начала до конца — оскорбительно. И признание «ненормальности», и прощение за «поэзию». Что требовать с внешних? Беда в том, что этот взгляд незаметно воспринимался самими поэтами и писателями данного поколения, многими и многими (я не говорю тут собственно о Блоке и Бугаеве). Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволие, и невзрослость свою — именно причастностью к «искусству». Не видели, что отходят от жизни, становятся просто забавниками, развлекателями толпы, все им за это снисходительно позволяющей...

Впрочем, я отвлекаюсь. Вернемся к рассказу.

10

Весной 1904 года мы ездили за границу. Останавливались в Москве (мы тогда были в Ясной Поляне), конечно, видели Бугаева, хотя особенно точно я этого свидания не помню. Знаю лишь, что с Блоком в то время Бугаев уже был очень близок (а равно и молодой С. Соловьев).

Началом их близости было, помимо прочего, конечно, и то, что Бугаев считал себя не меньшим последователем Влад. Соловьева, чем Блок. Чуждый всякой философии и метафизики, Блок был чужд, как упомянуто выше, и подосновы В. Соловьева — христианства. Он принимал его в «несказáнном». Напротив, Бугаев только и говорил, что о христианстве,— с христианами преимущественно. К метафизике и философии он имел большое пристрастие,— хотя я не думаю, чтобы с Бло-

ком он развивал свои философские теории. Надо сказать правду: Бугаев умел находить с каждым его язык и его тему.

Мы были с ним уже так хороши, что условились: Боря в Петербурге, куда он вознамерился приезжать часто, останавливается у нас.

Общие события лета и осени 1904 года памятны всем: убийство Плеве, «весна» Святополка-Мирского — банкеты... У нас были свои частные события: привлечение в журнал «Новый путь» так называемых «идеалистов» (Булгакова, Бердяева и др.).

Я не пишу воспоминаний этого времени, а потому скажу вскользь: «Новый путь», по многим причинам разнообразного характера, мы решили 1904-м годом закончить, и, конечно, желательнее было его кому-нибудь передать. Одна из причин была та, что мы хотели уехать года на три за границу. Срока отъезда мы, впрочем, не назначали, и если б удалось привлечением новых людей к журналу перестроить его так, как того требовало время (не изменяя, однако, его основ), мы рады были бы его продолжать. Короче и яснее — «Новый путь», журнал религиозный, был слишком индивидуалистичен: ему недоставало струи общественной. «Идеализм» группы Булгакова—Бердяева был тем мостом, по которому эта группа вчерашних чистых общественников (эсдеков) переходила к религии — может быть, сама еще того не зная... (Будущее показало, что мы угадали верно,— в общем. Всем известно, как далеко в последующие годы ушли в сторону религии Булгаков и Бердяев и как скоро мосты за ними были сожжены.)

Надежды наши оправдались не вполне. Идеалисты вошли в «Новый путь», но при самом соединении было ясно, что для совместной работы еще не настал момент: они — еще слишком «эсдеки», мы — еще слишком индивидуалисты.

И, фактически, уже к концу года журнал был передан им, с тем чтобы далее он, переименовавшись в «Вопросы жизни», продолжался без нашего участия. Естественно изменялся и состав сотрудников. Это было решено полюбовно, хотя не могу сказать, что у нас было больше воли к соединению и уступкам. Но привычное недоверие чистых общественников к людям искусства, да еще с уклоном к христианству (на привычно ли «религия — реакция»?) — не удивило нас и в «идеалистах».

Секретарь журнала Чулков оставался секретарем и в

«Вопросах жизни». Он уже и при конце «Нов⟨ого⟩ пути» перешел всецело на сторону новой группы. С ним и с Булгаковым у меня было — в декабре, кажется,— единственное журнальное столкновение, очень характерное для наших взаимоотношений и показательное для тогдашнего положения Блока. Ибо оно вышло как раз из-за моей статьи о Блоке, первой, кажется. Она была, конечно, о его стихах. И вот Чулков и Булгаков дали мне понять, что тема недостаточно общественна, а Блок недостаточно замечателен и статейка моя, при новом облике журнала, не может пойти. Признаюсь, эта нелепость меня тогда раздосадовала, и правдами и неправдами — заметку удалось напечатать. Все-таки это был еще «Новый путь»! В «Вопросы жизни» мы больше ни с чем не ходили, конечно, хотя до конца оставались со всеми его участниками в самых дружеских отношениях,— с Бердяевым в особенности.

Но не показательно ли это приключение с первой моей статьей о Блоке, чуть ли не одной из первых о нем вообще? Он писал четыре года. А в журналистике был так неизвестен, что и говорить о нем не считалось нужным!

Со всеми памятными датами тех времен у меня больше связывается образ Бугаева, чем Блока. Связывается внешне, ибо по странной случайности Боря, который стал часто ездить в Петербург и останавливался у нас, являлся непременно в какой-нибудь знаменательный день. Было ли это 9 января или 17 октября, или еще что-нибудь вроде (в самый последний раз, увы, тоже случилось 1—2—3 марта 1917 г.),— помню обязательно тут же гибкую фигуру Бори, изумленно косящие голубые глаза, слышу его своеобразные речи, меткие и детские словечки... Боря все видел, везде был, все понял — по-своему, конечно, и в его восторженность вплетается ирония.

Наезжая в Петербург, Боря постоянно бывал у Блока. Рассказывал ли мне он о Блоке? Вероятно. Однако я не помню, чтоб он говорил мне о том, как отражаются на Блоке события. Раз он мне прочел (или показал) новое стихотворение Блока, где рифмовало «ниц» и «царицу». Стихотворение было хорошее, но рифма меня не очаровала.

— Вам нравится, Боря, это «цариц-у»?

Он неистово захохотал, подпрыгнул, чуть ли в ладоши не захлопал:

— Да, да, это именно у-у-у! Как тут нравиться, когда цариц-у-у-у!

Вот в таких пустяках являлся тогда Блок между нами.

11

Зима 1905—1906 года — последняя зима перед нашим отъездом за границу надолго — памятна мне, в конце, частыми свиданиями уже не с Блоком только, но с ним и с его женой. Как случилось наше знакомство — не знаю, но помню часто их всех трех у нас (Боря опять приехал из Москвы), даже ярче всего помню эту красивую, статную, крупную женщину, прелестную тем играющим светом, которым она тогда светилась.

В феврале мы уехали, расставшись со всеми очень дружески, даже нежно.

Но по каким-то причинам, неуловимым — и понятным, ни с кем из них, даже с Борей, у меня переписки не было. Так, точно оборвалось.

12

Со сведениями о России, много, конечно, приходило к нам и вестей о Блоке. С одной стороны — о его общественных выступлениях, участии в газете А. Тырковой, очень недолгом, правда, и окончившемся как-то неожиданно. С другой — известия о внезапной его чуть не славе в буйно завившейся после революции литературной среде — театр Коммиссаржевской, «Балаганчик»...

Но все это смутно, из вторых, третьих рук.

И только однажды, на несколько месяцев, Блок выступил из тумана. По крайней мере имя его стало у нас постоянно повторяться.

Кто-то позвонил к нам, днем.

«Monsieur...» не понимаю имени. Выхожу в переднюю. Там стоит, прислонившись к стене, в немецкой черной пелерине,— и в самом несчастном виде — Боря Бугаев.

Явление весьма неожиданное в нашей парижской квартире.

Оказалось, что Боря уж давно странствует за гра-

ницей. Не понять было сразу, как, что, зачем, почему. Шатался — именно шатался — по Германии. Вывез оттуда гетры, пелерину и трубку. Теперь приехал в Париж. Вид имел неулыбающийся, растерянный. Сказал, однако, что намерен остаться в Париже на неопределенное время.

И остался. Жить в нашей парижской квартире было негде, и он поселился недалеко, в маленьком пансиончике,— мы видались, конечно, всякий день.

Скажу в скобках, что в этом пансиончике он ежедневно завтракал... с Жоресом! И, в конце концов, они познакомились, даже вели постоянные долгие разговоры. Боже мой,— о чем? Но воистину не было человека, с которым не умел бы вести долгих разговоров Боря Бугаев!

13

Об этих месяцах с Борей в Париже, о наших прогулках по городу и беседах не стоило бы здесь говорить, если бы темой этих бесед не был, почти постоянно,— Блок.

Мой интерес к Блоку, в сущности, не ослабевал никогда. Мне было приятно как бы вызывать его присутствие (человек, о котором думаешь или говоришь, всегда немного присутствует). То, что Боря, вчерашний страстный друг Блока, был сегодня его таким же страстным врагом,— не имело никакого значения.

Да, никакого, хотя я, может быть, не сумею объяснить, почему. Надо знать Борю Бугаева, чтобы видеть, до какой степени легки повороты его души. Сама вертится; и это его душа вертится, туда-сюда, совсем неожиданно,— а ведь Блок тут ни при чем. Блок остается как был, неизменяемым.

Надо знать Борю Бугаева, понимать его, чтобы не обращать никакого внимания на его отношение к человеку в данную минуту. Вот он говорит, что любит когонибудь; с блеском и проникновением рисует он образ этого человека; а я уже знаю, что завтра он его же будет ненавидеть до кровомщения, до желания убить... или написать на него пасквиль; с блеском нарисует его образ темными красками... Какое же это имеет значение,— если, конечно, думать не о Бугаеве, а о том, на кого направлены стрелы его любви или ненависти?

Как бы то ни было, эти месяцы мы прожили, благодаря Бугаеву, в атмосфере Блока. И хотя отношение мое к Бугаеву самое было доброе, на мне нет участия греха в мгновенной перемене его к Блоку. Боря ведь и мой был «друг»... такой же всегда потенциально предательский. Он — Боря Бугаев.

А Блок, сделавшись более понятным со всех сторон,— сделался мне ближе. Опять думалось: какие разные люди эти два «друга», два русские поэта, оба одного и того же поколения и, может быть, связанные одной и той же — неизвестной — судьбой...

14

Снова Петербург. Та же комната, та же лампа на столике, отделяющем мою кушетку от кресла, где сидит тот же Блок.

Как будто и не было этих годов... Нет, нет, как будто прошло не три года, а три десятилетия.

Лишь понемногу я нахожу в Блоке старое, неизменное, неизменяемое. По внешности он изменился мало. Но при первых встречах чувствовалось, что мы еще идем друг к другу издалека, еще не совсем узнаем друг друга. Кое-что забылось. Многое не знается. Мы жили — разным.

Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить с Блоком особым языком — о к о л о слов. Тут неизменность. Стал ли Блок «взрослым»? У него есть, как будто, новые выражения и суждения — «общие»... Нет, и это лишь внешность. Так же мучительно задумчивы и медленны его речи. А каменное лицо этого, ныне такого известного и любимого, поэта еще каменнее; на нем печать удивленного, недоброго утомления. И одиночества, не смиренного, но и не буйного,— только трагичного.

Впрочем, порою что-то в нем новое настойчиво горело и волновалось, хотело вырваться в слова — и не могло, и тогда глаза его делались недоуменно, по-детски, огорченными.

Блок читает мне свою драму, самую — до сих пор! — неизвестную вещь из своих произведений. (Не помню ее ни в печати, ни на сцене.) По тогдашнему моему впечатлению — она очень хороша, несмотря на неровность, условность, порою дикость. Его позднейшая пье-

са, «Роза и крест» — какая сравнительно слабая и узкая!

Эта — в прозе. Заглавия не помню — мы, говоря о ней, называли ее «Фаиной», по имени героини. Блок читает, как говорит: глухо, однотонно. И это дает своеобразную силу его чтению.

Очень «блоковская вещь». Чем дальше слушаю, тем ярче вспоминаю прежнего, юного, вечного Блока. Фаина? Вовсе на Фаина, а все та же Прекрасная Дама, Она, Дева радужных ворот, никогда — земная женщина.

Ты в поля отошла без возврата,
Да святится Имя твое...

Нет, не без возврата...

...года проходят мимо.
Предчувствую: изменишь облик Ты.

Я говорю невольно:

— Александр Александрович. Но ведь это же не Фаина. Ведь это опять Она.

— Да.

Еще несколько страниц, конец, и я опять говорю, изумленно и уверенно:

— И ведь Она, Прекрасная Дама, ведь Она — Россия!

И опять он отвечает так же просто:

— Да. Россия... Может быть, Россия. Да.

Вот это и было в нем, в Блоке, новое, по-своему глубоко и мучительно оформившееся или полуоформившееся. Налетная послереволюционная «общественность» на нем не держалась. В разговорах за столом, при других, он произносил какие-то слова «как все», и однако не был «как все», и с нашими тогдашними настроениями, довольно крайними, совсем не гармонировал.

Наедине с ним становилось понятней: он свое, для себя вырастил в душе. Свою Россию,— и ее полюбил, и любовь свою полюбил — «несказáнную».

15

Блок был нездоров. Мы поехали к нему как-то вечером, в маленькую его квартирку на Галерной.

Сжато, уютно, просто; много книг. Сам Блок дома сжатый и простой. Л. Д., жена его,— очень изменилась. Такая же красивая, крупная,— слишком крупная для маленьких комнат, маленького чайного стола,— все-

таки была не та. В ней погас играющий свет, а от него шла ее главная прелесть.

Мы знали, что за эти годы она увлеклась театром, много работала, ездила по России с частной труппой. Но, повторяю, не это ее изменяло, да и каботинка в ней, такой спокойной, не чувствовалась. В ней и свет был, но другой, не тот, не прежний, и очень вся она была иная.

Помнилась и она, однако, такой, как была перед отъездом нашим, и хотелось с ними обоими найти хоть какую-нибудь жизненную или общественную связь. Надо сказать, что за время нашего отсутствия в Петербурге создалось (из остатков прежних Религ⟨иозно⟩-философских собраний) целое Р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософское⟩ Общество, официально разрешенное. Мы в нем принимали, конечно, участие,— это был как раз «сезон о Боге», когда начались наши столкновения с эсдеками (эсдеки и выдумали нелепое разделение на «богостроителей» и «богоискателей»). Но Общество, многолюдное и чисто интеллигентское, не удовлетворяло нас. И мы вздумали создать секцию, нечто более интимное, но в то же время и более широкое по задачам. Чтобы обойти цензуру — назвали секцию секцией «по изучению истории религий». Непременно хотелось привлечь в эту секцию обоих Блоков. Блок несколько раз приходил к нам, когда создавалась секция, был чуть ли не одним из ее «учредителей».

Однако, после нескольких заседаний, и он, и жена его — исчезли. Да так, что и к нам Блок перестал ходить.

Встречаю где-то Л⟨юбовь⟩ Д⟨митриев⟩ну.

— Отчего вас не видно на Гагаринской? (Там собиралась секция.) Надоело? Заняты?

Ответ получаю наивно-прямой, который сам Блок не дал бы, конечно: на Гагаринской говорят о том, что... должно быть «н е с к а з а́ н н о».

В наивном ответе была тень безнадежной правды: и мы поняли, что ни в каких «секциях», даже самых совершенных, Блок бывать не будет и бывать не может.

16

В эти годы, такие внешне шумные, порою суетливые, такие внутренне трудные, тяжелые и сосредоточенные,— я помню Блока все время около нас, но не с нами; не в нашей жизни — а близ нее. У меня была потребность

видеть его; очевидно, была она и у него,— он приходил часто. Но всегда один, и тогда, когда мы бывали одни. Приходил надолго; мы засиживались с ним — иногда и наедине — до поздней ночи. Читал мне свое, или просто говорили... о чем? Не о стихах, не о людях, не о нем,— а то, пожалуй, и о стихах, и о людях, и о нем, в особом аспекте, как über die letzten Dinge — как «о самых важных, последних вещах» — около них, разумеется.

Нам, конечно, известно было то, что говорили о Блоке: говорили, что он «кутит»... нет, что он пьет, уходя один, пропадая по целым ночам... Удивлялись: один! Точно это было удивительно. Не удивительно; а если важно — то не само по себе, а вот то, что тут опять и блоковское одиночество, трагичность — и «незащищенность»... от рока, от трагедии?

Между нами разговора об этом не было. Да и зачем? Были его стихи.

Еще менее, чем о нем, говорили мы обо мне. Никогда, кажется, слова не сказали. Раз он пришел — на столе лежала рукопись второй книжки моих стихов, приготовленная к печати. Блок стал смотреть ее, очень внимательно (хотя все стихи он уже знал давно).

Я говорю:

— Хотите, А. А.? Выберите, какие вам больше нравятся, я вам их посвящу.

— Можно? Очень хочу.

Долго сидел за столом. Выбрал несколько одно за другим. Выбрал хорошие или плохие — не знаю, во всяком случае, те, которые мне были дороже других.

17

А вот полоса, когда я помню Блока простого, человечного, с небывало светлым лицом. Вообще — не помню его улыбки; если и была — то скользящая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее.

Это было, когда он ждал своего ребенка, а больше всего — в первые дни после его рождения.

Случилось, и довольно неожиданно (ведь мы реальной жизнью мало были связаны), что в эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели, он все время приходил. Не знаю, кто о жене его заботился и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы (говорил кто-то

после, что не было). Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» — спрашиваем. «Ничего, ей теперь лучше».

День за день; наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик.

Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: «Он такой большой». Выбрал имя ему — Дмитрий, в честь Менделеева.

У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло — и рассеянно.

— О чем вы думаете?

— Да вот... Как его теперь... Митьку... воспитывать?..

Митька этот бедный умер на восьмой или десятый день.

Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить, должен был умереть. Просто очень рассказывал, но лицо у него было растерянное, не верящее, потемневшее сразу, испуганно-изумленное.

Еще пришел несколько раз, потом пропал.

Уже 〈через〉 долгое время, когда Л. Д. совсем поправилась, они приехали к нам оба, прощаться: уезжают за границу. «Решили немножко отдохнуть, другие места повидать...»

У обоих лица были угасшие, и визит был ненужный, серый. Все казалось ненужным. Погасла какая-то надежда. Захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь.

18

Может быть, кто-нибудь удивится, не поймет меня: какая надежда для Блока в ребенке? Блок — отец семейства! Он поэт, он вечный рыцарь, и если действительно был «невзрослым», то не прекрасно ли это — вечный юноша? Останься сын его жив,— что дал бы он поэту? Кое-что это отняло бы скорее; замкнуло бы, пожалуй, в семейный круг...

Трудно отвечать на размышления такого порядка. Скажу, впрочем, одно: Блок сам инстинктивно чувство-

вал, что́ может дать ему ребенок и как ему это нужно. А мог он ему дать кровную связь с жизнью и ответственность.

При всей значительности Блока, при его внутренней человеческой замечательности, при отнюдь не легкой, но тяжелой и страдающей душе, я повторяю — он был безответственен. «Невзрослость» его — это нечто совсем другое, нежели естественная, полная сил, светлая юность; а это вечное хождение около жизни? а это бескрайнее, безвыходное одиночество? В ребенке Блок почуял возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской; возможность, что жизнь не ответит ему гримасой, как всегда. Не в отцовстве тут было дело: именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло довершить его как человека.

Сознавал ли это Блок так ясно, так грубо, как я сейчас пишу? Нет, конечно. Но весь просветлел от одной надежды. И когда она погасла — погас и он. Вернулся в свою муку «ничегонепониманья», еще увеличившуюся, ибо он не понимал и этого: зачем была дана надежда и зачем была отнята.

19

Своеобразность Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит — он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ — он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все в нем было своеобразно, угловато — и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Был ли он вне их? Конечно, его считали аполитичным и — готовы были все простить ему «за поэзию». Но он, находясь вне многих интеллигентских группировок, имел, однако, свои собственные мнения. Неопределенные в общем, резкие в частностях.

Столкновения, которые когда-либо происходили между нами и Блоком, были только на этой почве. Мимолетные, правда: ведь общих дел у нас не было, приходил он к нам один, да и касаться этих вопросов мы избегали. Но подчас столкновения были резкие. Не помню их ясно; о последнем, главном, речь впереди.

Иногда Блок совершенно исчезал. Возвращаясь раз в ярко-солнечный вечер, мы заехали к нему.

Светлая, как фонарик, вся белая, квартирка в новом доме на Каменноостровском. Как непохожа на ту, на Галерной!

Нас встретила его жена. А Блок еще спал... Вернулся поздно,— как дала нам понять Л. Д.— только утром. Через несколько времени он вышел. Бледный, тихий, каменный, как никогда. Мы посидели недолго. Было темно в светлой, словно фонарь, квартирке.

На возвратном пути опять вспомнился мне — вечно пребывающий, вечно изменяющийся облик Прекрасной Дамы:

По вечерам, над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

. . . .

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...

. . . .

В моей душе лежит сокровище
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

«Незнакомка» всем известна; но кто понял это стихотворение до дна? А вот две строки из другого, строки страшные и пророческие:

О, как паду, и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!

Ужас предчувствия: «изменишь облик Ты» — исполнялся, но еще далеко было до исполнения. «Она» в черном, не в белом платье и не над вечерней рекой, не под радужными воротами, а «меж пьяными» — о, это еще не так страшно. Это еще не все.

Так как я пишу почти исключительно о том Блоке, которого видели мои глаза, то сами собой выпадают из повествования все рассказы о нем, о его жизни,— правдивые или ложные, кто разберет?

Друг-враг его, Боря Бугаев (теперь уже окончательно Андрей Белый), давно, кажется, опять стал его «другом». Но я плохо знаю их новые отношения, потому что в последние годы перед войной редко виделись мы и с А. Белым: он женился на московской барышне (на сестре ее женился Сергей Соловьев), долго путешествовал и, наконец, сделавшись яростным последователем д-ра Штейнера, поселился с женой у него в Швейцарии. Однажды, проездом в Финляндию (Штейнер тогда был в Гельсингфорсе), А. Белый явился к нам. Бритый, лысый (от золотого пуха и воспоминаний не осталось), он, однако, по существу был тот же Боря: не ходил — а танцевал, садился на ковер, пресмешно и премило скашивал глаза, и так же водопадны были его речи,— на этот раз исключительно о д-ре Штейнере и антропософии. А главное — чувствовалось, что он так же не отвечает за себя и свои речи, ни за один час не ручается, как раньше. И было скучно.

С Блоком в эти зимы у нас установились очень правильные и, пожалуй, близкие отношения. Приходил, как всегда, один. Если днем,— оставался обедать, уходил вечером.

Несколько раз являлся за стихами для каких-то изданий, в которых вдруг начинал принимать деятельное участие: «Любовь к трем апельсинам» или сборник «Сирин».

По моей стихотворной непродуктивности, найти у меня стихи — дело нелегкое. Но Блоку отказывать не хотелось. И вот мы вместе принимались рыться в старых бумагах, отыскивая что-нибудь забытое. Если находили там (да если и в книжке моей), являлось новое затруднение: надо стихи переписывать. Тут Блок с немедленной самоотверженностью садился за мой стол и не вставал, не переписав всего, иногда больше, чем нужно: так, у меня случайно остался листок с одним очень старым моим, никогда не напечатанным, стихотворением — «Песня о голоде», переписанным рукой Блока.

Блок уже издал «Розу и крест», собирался ставить ее в Москве, у Станиславского. «Роза и крест» обманула

мои ожидания. Блок подробно рассказывал мне об этой пьесе, когда только что ее задумывал. В ней могло быть много пленительности и острой глубины. Но написанная — она оказалась слабее. Блок это знал и со мной о пьесе не заговаривал. Мне и писать о ней не хотелось.

21

Каждую весну мы уезжали за границу; летом возвращались — но Блок уже был у себя в деревне. Иногда летом писал мне. А осенью опять начинались наши свиданья. В промежутках, если проходила неделя-две, мы разговаривали по телефону — бесконечно, по целым часам. Медлительная речь Блока по телефону была еще медлительнее. Как вчера помню,— на мое первое «allo!» его тяжелый голос в трубку: «Здравствуйте»,— голос, который ни с чьим смешать было нельзя, и долгие, с паузами, речи. У меня рука уставала держать трубку, но никогда это не было болтовней, и никогда мне не было скучно. Мы спорили, порою забывая о разделяющем пространстве, о том, что не видим друг друга. И расставались, как после свиданья.

22

Война.

Трудно мне из воспоминаний об этих вихревых первых месяцах и годах выделить воспоминание о Блоке. Уж очень сложна стала жизнь. Война встряхнула русскую интеллигенцию, создала новые группировки и новые разделения.

Насколько помню — первое «свиданье» наше с Блоком после начала войны — было телефонное. Не хотелось — да и нельзя было говорить по телефону о войне, и разговор скоро оборвался. Но меня удивил возбужденный голос Блока, одна его фраза: «Ведь война — это прежде всего в е с е л о!»

Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно; страшило скорее, что он увлечется войной, впадет в тот неумеренный военный жар, в который впали тогда многие из поэтов и писателей. Его «весело» уже смущало...

Однако, скажу сразу, этого с Блоком не случилось.

Друга в нем непримиримые, конечно, не нашли. Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его «принимать» войну. Но от «упоения» войной его спасала «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность. Рыцарское обожание... ведь она была для него в то время,— Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама»...

23

Мы стали видеться немного реже и, по молчаливому соглашению, избегали говорить о войне. Когда все-таки говорили,— спорили. Но потом спор обрывался. Упирались, как в стену, в то, что одни называли блоковским «черносотенством», другие — его «аполитичностью».

Для меня — это была «трагедия безответственности». И лучше, думалось, этого не касаться...

Ранней весной должна была идти, в Александринском театре, моя пьеса «Зеленое кольцо». (История ее постановки с Савиной, Мейерхольдом и т. д. сама по себе любопытна и характерна; но к Блоку отношения не имеет, и я ее опускаю.) Блок пьесу знал еще в рукописи. Она ему почему-то особенно нравилась.

Шли репетиции; ни на одну мне не удавалось попасть. Их назначали по утрам. Случайно единственную назначили вечером. Принесли извещение, когда у нас сидел Блок.

— Хотите, поедемте вместе? — говорю ему.— Заезжайте за мною, и назад привезите. Не хотите — пусть Мейерхольд обижается, не поеду.

— А меня не погонят? — с шутливой опаской спросил Блок и сейчас же согласился.

Был февраль. Еще холодно, не очень снежно. Едем в автомобиле по ровной, как стрела, Сергиевской,— полутемной (война!). Я, кажется, убеждаю Блока не писать в «Лукоморье» (нововременский журнал). Потом переходим на театр. Я не верю в театр. Не должен ли он непременно искажать написанное?

— Вы были довольны, А. А., вашими пьесами у Коммиссаржевской?

Блок молчит. Потом с твердостью произносит:

— Нет. Меня оскорбляло.

Кажется, и он не верит в театр.

В темной зале, невидные, мы просидели вместе с Блоком все акты (3-й, с Савиной, не репетировался). Конечно, чепуха. Привыкнув играть любовников — актеры не могли перевоплотиться в гимназистов. Когда один, перед поцелуем, неожиданным (по смыслу) для него самого, вдруг стал озираться, даже заглянул за портьеру, Блок прошептал мне: «Это уж какая-то порнография!»

Лучше других была Рощина-Инсарова. Но и она не удовлетворяла Блока. В первом перерыве он ей послал записочку: «Спросите Блока. Он вам хорошо скажет».

Кажется, они потом долго разговаривали.

Мейерхольд был в ударе. Собрал всех актеров в фойе, произнес горячую назидательную речь. И мы уехали с Блоком домой, пить чай.

24

Блок не пошел на войну. Зимой 15—16 года он жил уединенно, много работал. У меня в эту зиму, по воскресеньям, собиралось много молодежи, самой юной,— больше всего поэтов: их внезапно расплодилось неистовое количество. Один приводил другого, другой еще двух, и так далее — пока уж не пришлось подумать о некотором сокращении. Иных присылал Блок; этим всегда было место. Блок интересовался моими сборищами и часто звонил по телефону в воскресенье вечером.

Приходил же, как всегда, когда не было никого. Раз, случайно — днем — столкнулся у нас с Марьей Федоровной (женой Горького). Она у нас вообще не бывала; очевидно, дело какое-то оказалось, какой-нибудь сборник — не знаю. Мы иногда встречались с нею и с Горьким в эти зимы у разных людей (Горький заезжал и к нам — чуть ли не предлагал стихи мои издать, но мы это замяли).

Жена Горького, впоследствии усердная «комиссарша» совдепских театров, была, пока что, просто зрелых лет каботинка, на всех набегавшая, как беспокойная волна.

Вижу ее и Блока сидящими за чайным столом друг против друга. Пяти минут не прошло, как уж она на

Блока набежала с какими-то весьма умеренными, но «эсдечными» — по Горькому — мнениями.

Ей удавалось произнести слов 50—60, пока Блок успевал выговорить четыре. Это его, очевидно, раздражило, и слова, спокойные, становились, однако, все резче.

Марья Федоровна без передышки наскакивала и стрекотала: «Как вы можете не соглашаться, неужели вы не знаете положения, кроме того общество... кроме того правительство... цензура не позволяет... честные элементы... а она... они... их... оно...» Блок словно деревянным молотком стучал, упрямо: «Так и надо. Так и надо».

С художественной точки зрения эта сцена была любопытна, однако мы вздохнули свободнее, когда она кончилась и Марья Федоровна уехала.

Уехала, но с Блока не сошло упрямство. Он и без нее продолжал твердить то же, в том же духе, ни на пядь не уступая. Доконала она, видно, его. Мы постарались совсем повернуть разговор. Не помню, удалось ли это.

25

Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать. Статья была принципиальная, затрагивала вопрос очень современный и, на мой взгляд, важный: о безответственности поэта, художника, писателя — как человека. На примере Ап. Григорьева и В. Розанова Блок старался утвердить эту безответственность и с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева (зачем осуждала бесшабашность и перекидничество его), так и на нетерпимость (?) новой, по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик (этот типичнейший русский нигилист), не смотревший ни на гражданскую, ни на человеческую мораль Розанова.

Много чего еще было в статье Блока. И в ответной моей тоже (впоследствии напечатанной в сборнике «Огни») — суть ее определялась эпиграфом:

Поэтом можешь ты не быть,
Но человеком быть обязан.

Печатать статью, не прочтя ее раньше Блоку, мне и в голову, конечно, не приходило. Мы сговорились с ним,— это было поздней весной 16-го года,— и он явился вечером — светлым, голубеющим, теплым: помню раскрытые, низкие окна на Сергиевскую, на весенние деревья Таврического парка, за близкой решеткой.

Мне памятен этот вечер со всеми его случайностями. Когда мы еще сидели в столовой,— в передней, рядом, позвонили, и вбежала незнакомая заплаканная девушка. Бросилась ко мне, забормотала, всхлипывая:

— Защитите меня... Меня увозят, обманом... Вы написали «Зеленое кольцо»... вы поймете...

И вдруг, взглянув в открытую дверь столовой, вскрикнула:

— Вот, у вас А. А. Блок... Он тоже защитит, поможет мне... Умоляю, не отдавайте меня ему...

Блок вышел в переднюю. Мы стояли с ним оба беспомощные, ничего не понимая. Девушка, неизвестная и Блоку, была явно нервно расстроена. Не знаю, чем бы это кончилось, но тут опять позвонили, и вошел «он», брат девушки, очень нежно стал уговаривать ехать с ним — домой (как он говорил). Общими силами мы ее успокоили, уговорили, отправили.

Впоследствии узналось, что девушка, хоть и действительно нервно расстроенная, не совсем была неправа, спасаясь от брата. Темная какая-то история с желаньем братьев из расчета упрятать сестру в лечебницу... Темная история.

Но что мы могли сделать? Мог ли когда-нибудь человек помочь человеку?

Мы, однако, невольно омрачились. И без того грусть и тревога лежали на душе.

Все это было, кажется, в последний,
В последний вечер, в вешний час.
И плакала безумная в передней,
О чем-то умоляя нас.
Потом сидели мы под лампой блеклой,
Что золотила тонкий дым.
А поздние, распахнутые стекла
Отсвечивали голубым...

В моем кабинете, под этой «блеклой» лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блок выслушал мои о нем довольно резкие строки. Мне хотелось стряхнуть с нас обоих беспредметную грусть этого свидания. Лучше спорить, горячиться, сердиться...

Спор был, но и он вышел грустный. Блок возражал мне, потом вдруг замолчал. Через минуту заговорил о другом,— но понятно было, что не о другом, о том же, только не прямо о предмете, а как всегда он говорит — около.

Не хотелось говорить и мне. Да, все это так, и нельзя не требовать от каждого человека, чтобы он был человеком, и не могу я от Блока этого не требовать, но... как больно, что я не могу и не перестану! В эту минуту слабости и нежности хотелось невозможного: чтобы прощалось вот таким, как Блок, непрощаемое. Точно от прощения что-нибудь изменилось бы! Точно свое непрощаемое, свою трагедию не нес Блок в самом себе!

Мы сидели поздно, совсем заголубели окна; никогда, кажется, не говорили мы так тихо, так близко, так печально.

Даже на пустынной улице, около свежего сада, он еще остановился, и мы опять говорили о чем-то, о саде, о весне, опять по-ночному тихо,— окна у меня были низкие.

...Ты, выйдя, задержался у решетки,
Я говорил с тобою из окна.
А ветви юные чертились четко
На небе — зеленей вина.
Прямая улица была пустынна.
И ты ушел в нее,— туда...
Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей — никогда.

Вернувшись осенью 16-го года в Петербург из деревни, мы узнали, что Блок если не на фронте — то недалеко от фронта: служит в Земско-Городском Союзе. Вести о нем приходили хорошие: бодр, деятельно работает, загорел, постоянно на лошади... Мать сообщала мне, что очень довольна его письмами, хотя они кратки: — некогда.

26

Я, может быть, увлекаюсь и злоупотребляю подробностями встреч моих с Блоком. Но кому-нибудь из любящих его память будут интересны и они. Теперь досказать осталось немного.

Дни революции. В самый острый день, а для нас даже в самый острый момент (протопоповские пулеметы

с крыш начали стрелять в наши окна, то с улицы, то со двора) — внезапное появление Б. Бугаева — Андрея Белого. (Он уже с год как приехал из Швейцарии в Москву, один, говорил, что ввиду призыва, но на войну не пошел. Связался с издательством одной темной личности — Ив⟨анова-⟩Разумника, что-то писал у него, ездил к нему в Царское Село.) В этот день он мирно ехал из Царского, где было еще тихо, и обалдел, выйдя из вагона прямо на улицы революционного города. В шубе до пят — он три часа волокся к нам пешком, то и дело заваливаясь под заборы, в снег от выстрелов. Так обезножел, что у нас в квартире и остался (да и выйти побаивался).

Опять вижу в эти дни танцующую походку, изумленно-скошенные глаза, гомерические речи и вскрики: «Да-да-да, теперь русский флаг — будет красный флаг? Правда? Правда, надо, чтоб был красный?»

Без моего погибшего дневника не могу восстановить даты, но скоро, очень скоро после революции, через неделю или две,— вот Блок, в защитке, которая его очень изменяет, взволнованно шагающий по длинной моей комнате. Он приехал с фронта, или оттуда, где он находился — близ северо-западного фронта.

В торопливо-радостные дни эти все было радостно и спешно, люди приходили, уходили, мелькали, текли,— что запоминалось? что забывалось?

Но Блок, в высоких сапогах, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающий по моему ковру,— ярко помнится; и слова его помнятся, все те же он повторял:

— Как же теперь... ему... русскому народу... лучше послужить?

Лицо у него было не просветленное; мгновеньями потерянное и недоуменное; все кругом было так непохоже на прежнее, несоизмеримо с ним; почему вдруг вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только более молодое и светлое, и слова:

— Как же теперь... его... Митьку... воспитывать?

Тогда только промелькнуло; а теперь, когда вспоминаю это воспоминание,— мне страшно. Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды? Слишком поздно?

27

Наступил период, когда я о Блоке ничего не помню. Кажется, он опять уехал к месту службы. Потом мы уехали на несколько недель на Кавказ. Там — два-три письма из Москвы, от А. Белого. По обыкновению — сумасшедше-талантливые, но с каким-то неприятным привкусом и уклоном. С восторгами насчет... эсдеков. С туманными, но противными прорицаниями. Что же спрашивать с Белого? Он всегда в драме — или мелодраме. И ничего особенно ужасного и значительного отсюда не происходит.

Наше возвращение. Корниловская история,— ее мы переживали изнутри, очень близко, и никак не могли опомниться от лжи, в которую она была заплетена (и до сих пор заплетена). Виделись ли мы с Блоком? Вероятно, мельком; потому, думаю, вероятно, виделись — что мой телефон осенью, совершенно поразивший меня, был действием простым, как будто и не первой встречей после весны.

Конец, провал, крушение уже не только предчувствовалось — чувствовалось. Мы все были в агонии. Но что ж, смириться, молчать, ждать? Все хватались за что кто мог. Не могли не хвататься. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевицкую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.

Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я, спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!), объясняю, в чем дело. Зову к нам, на первое собрание.

Пауза. Потом:

— Нет. Я, должно быть, не приду.

— Отчего? Вы заняты?

— Нет. Я в такой газете не могу участвовать.

— Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?

Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.

— Вот война,— слышу глухой голос Блока, чуть-

чуть более быстрый, немного рассерженный.— Война не может длиться. Нужен мир.

— Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?

— Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.

У меня чуть трубка не выпала из рук.

— И вы... не хотите с нами... Хотите заключать мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?

Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):

— Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира, они...

Тут уж трудно было выдержать.

— А Россия?!.. Россия?!..

— Что ж Россия?

— Вы с большевиками, и забыли Россию. Ведь Россия страдает!

— Ну, она не очень-то и страдает...

У меня дух перехватило. Слишком это было неожиданно. С Блоком много чего можно ждать,— но не этого же. Я говорю спокойно:

— Александр Александрович. Я понимаю, что Боря может... Если он с большевиками — я пойму. Но ведь он — «потерянное дитя». А вы! Я не могу поверить, что вы... Вы!

Молчание. Потом вдруг, точно другой голос, такой измененный:

— Да ведь и я... Может быть, и я тоже... «потерянное дитя»?

Так эти слова и остались звенеть у меня в ушах, последний мой телефон с Блоком:

«Россия не очень и страдает... Скорее уж с большевиками... А если и я «потерянное дитя»?»

О катастрофе не буду, конечно, распространяться. Прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было. Да, вот это забывают обыкновенно, а это надо помнить: большевики — позор России, не смываемое с нее никогда пятно, даже страданиями и кровью ее праведников не смываемое.

...Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!

К счастью, Блок написал эти строчки задолго до большевизма, и «такая» — не значит (в этом стихотво-

рении) «большевицкая». Однако — чем утешаться? Сомнений не было: Блок с ними. С ними же, явно, был и Андрей Белый. Оба писали и работали в «Скифах» — издательстве этого переметчика — не то левого эсера, не то уж партийного большевика — Ив⟨анова-⟩Разумника.

Слышно было, что и в разных учреждениях они оба добровольно работают. Блок вместе с Луначарским и Горьким. Его поэма «12», напечатанная в этих самых «Скифах», неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень нашумела. Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создалась об этих «апостолах» еще при жизни Блока. Наверно, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И, наверно, он не сказал,— «потому что это несказáнно». Большевики, несказáнностью не смущаясь, с удовольствием пользовались «двенадцатью»: где только не болтались тряпки с надписью:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.

Даже красноармейцам надоело, тем более что мировой пожар, хоть и дулся,— не раздувался.

Видали мы и более смелые плакаты, из тех же «Двенадцати»:

...Эй, не трусь!
Пальнем-ка пулей в святую Русь! —

и еще что-то вроде.

Не хотелось даже и слышать ничего о Блоке. Немножко от боли не хотелось. А думалось часто. Собственно, кощунство «двенадцати» ему нельзя было ставить в вину. Он не понимал кощунства. И, главное, не понимал, что тут чего-то не понимает. Везде особенно остро чувствовал свое «ничегонепониманье» и был тонок, а вот где-то здесь, около религии, не чувствовал,— и был груб. И невинен в грубости своей; чтó требовать от Блока, если «христианнейший антропософ» А. Белый в это время написал поэму «Христос воскресе»,— не имевшую успеха, ибо неудачную,— однако столь ужасную по кощунству, что никакие блоковские красноармейцы в сравнение с ней идти не могли.

Об А. Белом думалось с жалостью ⟨и⟩ презреньем. О Блоке — с жалостью и болью. Но не всегда. Кощунства — пусть, чтó с него тут требовать, не понимал ни-

когда и не лгал, что понимает. Но его Прекрасная Дама? Его Незнакомка? Его Фаина — Россия — «плат узорный до бровей» — его любовь?

И уж не боль — негодование росло против Блока.

О, как паду, и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!

28

Мы думали, что дошли до пределов страданья, а наши дни были еще как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, еще почти не начался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что́ им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Попробуют, видят — ничего, осмелеют. Хапнут.

Так, весной 18 года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки же мы были церемониться!). Антибольшевицкая интеллигенция,— а другой тогда не было, исключения считались единицами — оказывалась еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками «словом», угнетенным, правда, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат — она вообразить не могла.

За месяц до этого уничтожения мне предложили издать маленький сборник стихов, все написанное за годы войны и революции. Небольшая книжка эта, «Последние стихи», необыкновенно скоро была отпечатана в военной, кажется, типографии (очень недурно), и затем все издание, целиком, кому-то продано,— впрочем, книгу свободно можно было доставать везде, пока существовали книжные магазины. Очень скоро ее стали рекомендовать как «запрещенную».

Упоминаю об этом вот почему.

Эту новую беленькую книжечку, с такими определенными стихами против «друзей» Блока — трудно было удержаться не послать Блоку. Я думаю, все-таки и упрямое неверие было, все-таки! что большевики — друзья Блока. Ведь это же с ума сойти!

Одна из моих юных приятельниц — много у меня еще оставалось дружеской молодежи, честной,— вызвалась книжку Блоку отнести. Письма не было, только на первой странице — стихотворение, ему посвященное: «Все это было, кажется, в последний — в последний вечер,

в вешний час...» — «...Душа твоя невинна.— Я не прощу ей никогда».

Немного упрекала меня совесть... «Не прощу»,— а книгу все-таки посылаю? На что-то надеюсь? На что?

После ответа Блока уж и надеяться стало как будто не на что.

Тоненькие серые книжки... Поэма «12», конечно, и стихотворение «Скифы». Тут же и предисловие Ив⟨анова-⟩Разумника, издателя... Лучше не говорить о нем. На одной из книжечек — стихотворение Блока, написанное прямо мне. Лучше не говорить и о нем. Я его не помню, помню только, что никогда Блок таких пошлостей не писал. Было как-то, что каждому своя судьба (или вроде),— ...«вам — зеленоглазою наядой плескаться у ирландских скал» (?) «мне» — (не помню что) и «петь Интернационал»...

Нет, кончено, кончено, прячу брошюрки без возврата, довольно, взорваны мосты...

И еще прошли месяцы — как годы.

29

Я в трамвае, идущем с Невского по Садовой. Трамваи пока есть, остального почти ничего нет. Давно нет никаких, кроме казенных, газет. Журналов и книг нет вообще. Гладко.

Нравственная и физическая тяжесть так растет грозно, что мимо воли тянешься прочь, вон из Петербурга, в ту Россию, где нет большевиков. Верится: уже нет. (А если — еще нет?)

Все равно, мечта — повелительная — не дает покоя, тянет на свободу.

День осенний, довольно солнечный. Я еду с одной моей юной приятельницей — к другой: эта другая — именинница, сегодня 17 сентября по старому стилю.

Мы сидим с Ш. рядом, лицом к заколоченному Гостиному двору. Трамвай наполняется, на Сенной уже стоят в проходах.

Первый, кто вошел и стал в проходе, как раз около меня, вдруг говорит:

— Здравствуйте.

Этот голос ни с чьим не смешаешь. Подымаю глаза. Блок.

Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была — не шляпа) длинное, сохлое, желтое, темное.

— Подадите ли вы мне руку?

Медленные слова, так же с усилием произносимые, такие же тяжелые.

Я протягиваю ему руку и говорю:

— Лично — да. Только лично. Не общественно.

Он целует руку. И, помолчав:

— Благодарю вас.

Еще помолчав:

— Вы, говорят, уезжаете?

— Что ж... Тут или умирать — или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении...

Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо:

— Умереть во всяком положении можно.

Прибавляет вдруг:

— Я ведь вас очень люблю...

— Вы знаете, что и я вас люблю.

Вагон (немного опустевший) давно прислушивается к странной сцене. Мы не стесняемся, говорим громко, при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так несомненно трагично (в это время его коренная трагичность сделалась видимой для всех, должно быть) — что и сцена им кажется трагичной.

Я встаю, мне нужно выходить.

— Прощайте,— говорит Блок.— Благодарю вас, что вы подали мне руку.

— Общественно — между нами взорваны мосты. Вы знаете. Никогда... Но лично... как мы были прежде...

Я опять протягиваю ему руку, стоя перед ним, опять он наклоняет желтое, больное лицо свое, медленно целует руку, «благодарю вас»...— и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо, и еще вижу на площадку вышедшего за мной Блока, различаю темную на нем... да, темно-синюю рубашку...

И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле.

Великая радость в том, что я хочу прибавить.

Мои глаза не видали Блока последних лет; но есть два-три человека, глазам которых я верю, как своим собственным. Потому верю, что они, такие же друзья Блока, как и я, относились к «горестному падению» его с той же болью, как и я. Один из них, по природе не менее Блока верный и правдивый, даже упрекнул меня сурово за посылку ему моих «Последних стихов»:

— Зачем вы это сделали?

И вот я ограничиваю себя — намеренно — только непреложными свидетельствами этих людей, только тем, что видели и слышали они.

А видели они — медленное восстание Блока, как бы духовное его воскресение, победный конец трагедии. Из глубины своего падения он, поднимаясь, достиг даже той высоты, которой не достигали, может быть, и не падавшие, остававшиеся твердыми и зрячими. Но Блок, прозрев, увидев лицо тех, кто оскорбляет, унижает и губит его Возлюбленную — его Россию,— уже не мог не идти до конца.

Есть ли из нас один, самый зрячий, самый непримиримый, кто не знает за собой, в петербургском плену, хоть тени компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не едал корки соломенной из вражьих рук? Я — знаю. И вкус этой корки — пайка проклятого — знаю. И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов,— тоже знаю.

А вот Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего. Он совсем замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою «12» — возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нем. Пока были силы — уезжал из Петербурга до первой станции, там где-то проводил целый день, возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но — говорили — он ничего не хотел принимать из рук убийц. Родные, когда он уже не вставал с постели, должны были обманывать его. Он буквально задыхался; и задохнулся.

Подробностей не коснусь. Когда-нибудь, в свое время, они будут известны. Довольно сказать здесь, что страданьем великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России.

...И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье...
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да внидут в царствие Твое!

Радость в том, что он сумел стать одним из этих достойных. И в том радость, что он навеки наш, что мы, сегодняшние, и Россия будущая, воскресшая,— можем неомраченно любить его, живого.

1922

ОДЕРЖИМЫЙ

О Брюсове

...Но, всех покоряя,— ты вечно покорен:
То зелен, то красен,— то розов, то черен...

Нет на свете ничего интереснее «человека». Настоящего, живого человека, созданного природой, историей (или Богом). Но природное (или Божье) творчество необыкновенно тонко, сложно, узор его не для всех уловим. Писатели, создавая выдуманных людей,— типы — истолковывают «человека» непонимающим. Подчеркивают, огрубляют тонкие черты, усиливают звук отдельной души, или дополняют его схожим звуком другой; бросают краски мазками, пятнами, как на декорациях. Это громадное дело; его можно делать и гениально, и бездарно...

В моих «сказках действительности» я не истолковываю «человека». Я рассказываю о нем подлинном, настоящем, каким он прошел перед моими глазами,— или даже мелькнул — и каким он мне показался. Известен ли человек, обладает ли он какими-нибудь исключительными талантами или нет,— все равно; ведь часто самые неизвестные, незаметные люди бывают интереснее, как люди, знаменитейших писателей и общественных деятелей.

Я пишу лишь о тех, с кем встреч уже не жду на этом свете,— потому ли, что они отошли за его черту, или потому, что отошли за непереступимую для меня черту человеческую, как Брюсов-большевик и другие. Повторяю, впрочем, то, что было сказано в рассказе «о Блоке»: о живых или о мертвых пишешь — надо говорить правду; и о живых или о мертвых пишешь — надо о чем-то, о какой-то фактической правде, хорошей и дурной,— умолчать. Эти умолчания не искажают образа. Но не надо прикасаться к «тайне Личности», которая должна быть,— и все равно будет — сокрыта навсегда.

Поэт Валерий Брюсов — с 18-го, кажется, года — коммунист. Мало того: он сразу же пошел в большевиц-

кую цензурную комиссию,— не знаю, как она у них там называется, чуть ли не сделался ее председателем и заявил себя цензором строгим, беспощадным, суровым. Была у него издана, еще при нас, брошюрка: «Почему я стал коммунистом», но мне не попалась, да, признаться, и не заинтересовала меня: догадаться, как Валерий Брюсов стал «коммунистом», можно и без брошюрки, если немного знать автора.

Между нами никогда не было ни дружбы, в настоящем смысле слова, ни внутренней близости. Видимость, тень всего этого — была. В продолжение долгих лет видались мы постоянно, периодами же работали вместе, в одних и тех же изданиях. Говоря о нем, я, как в рассказе о Блоке, ограничусь лишь непосредственными с ним встречами,— по возможности, разумеется. Если с Блоком у нас отношения внутренние были шире внешних, то с Брюсовым даже не наоборот, а почти сплошь они были внешние. Но внешний облик Брюсова так характерен и так проницаем для долгого и внимательного взора,— что я вряд ли ошибусь в определениях сущности этой своеобразной души.

Брюсов не умер физически [1]. Но, ввиду его данного положения в большевицкой России, я могу со спокойной совестью считать, что он умер для меня и для большинства русских: ведь никакой больше «встречи» с ним на земле у меня произойти не может. Поэтому и вызвать из прошлого его тень (если уж вызывать) — дело вполне своевременное.

Добавлю еще, что Брюсов умер и как поэт. Мне это кажется естественным и логичным. Иначе, по-моему, и быть не могло. А сомневающихся я отсылаю к недавно изданной им в Москве книжке стихов,— не просто плохой, а какой-то даже не совсем вероятной: безграмотной.

1

Летом одного очень дальнего года, 1895, кажется [2], в редакцию «Северного вестника» была прислана книжечка «Chefs d'œuvre».

---

[1] Очерк был написан в 1921 г. Брюсов умер в конце 1924-го.

[2] Заранее оговариваюсь, что возможны мелкие фактические неточности, особенно в датах. У меня нет под рукой никакого материала, ни моих записей, ни писем.

Подобных книжонок, маленьких, тоненьких, с заглавиями еще менее скромными, присылалось тогда в редакции тьма-тьмущая: годы «декадентства». Последние годы, правда, «декадентство» в чистом своем виде близилось к закату. Будущая ответвь, символизм,— едва нарождалась. Сологуб только что начинал печатать свои странные и ясные рассказы, новые и такие свежие стихи.

«Шедевры» были несомненным декадентством. Все известное — «нарочное». И вдруг одно стихотворение меня остановило. Называлось оно «Сумасшедший», содержания не помню, как будто этот сумасшедший сидел под мостом, или что-то вроде...

Уверяю скептических редакционных критиков, что стихотворение недурное, что автор «явно не без таланта».

— Кто он? Какая странная фамилия. Неужели псевдоним? Напоминает календарь Гатцука: предсказания Брюса на такой-то год...

Вскоре мне сообщили, что «Брюсов» не псевдоним, а настоящая фамилия, что это — очень молодой москвич из среднего купечества и, кажется, в Москве им интересуются. В Москве закат «декадентства» еще не чувствовался, стояло оно пока в зените.

Литературная Москва и литературный Петербург всегда рознились между собою. Не то чтобы по времени: Москва вовсе не «шла» за Петербургом, опаздывая; нет, разница более сложная, подчас неопределимая. Разница в общем темпе жизни, в мере размаха, в различии вкусов. Многое Москва захватывала глубже и переживала длительнее. Петербург был зато зрячее и сдержаннее.

2

За книжкой «Шедевров» очень скоро последовали другие, подписанные именем Брюсова. Туча «декадентов» ограничилась десятком-двумя стихотворений и рассеялась. Замолкли. А Брюсов не уставал писать и печатать (в журналы, толстые, его, как вообще «декадентов», не пускали. «Сев⟨ерный⟩ вестник» составлял исключение,— но он был в Петербурге!).

В эти годы, до 1900, мы в Москву редко ездили и с Брюсовым познакомились в Петербурге, у нас.

Скромный, приятный, вежливый юноша; молодость его, впрочем, в глаза не бросалась; у него и тогда уже была небольшая черная бородка. Необыкновенно тонкий, гибкий, как ветка; и еще тоньше, еще гибче делал его черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Черные глаза, небольшие, глубоко сидящие и сближенные у переносья. Ни красивым, ни некрасивым назвать его нельзя; во всяком случае, интересное лицо, живые глаза. Только если долго всматриваться, объективно, отвлекшись мыслью,— внезапно поразит вас сходство с шимпанзе. Верно, сближенные глаза при тяжеловатом подбородке дают это впечатление.

Сдержанность и вежливость его нравились; точно и не «московский декадент»! Скоро обнаружилось, что он довольно образован и насмешливо-умен.

Поз он тогда никаких не принимал, ни наполеоновских, ни демонических; да, сказать правду, он при нас и впоследствии их не принимал. Внешняя наполеоновская поза — высоко скрещенные руки — потом вошла у него в привычку; но и то я помню ее больше на бесчисленных портретах Брюсова; в личных свиданиях он был очень прост, бровей, от природы немного нависших, не супил, не рисовался. Высокий тенорок его, чуть-чуть тенорок молодого приказчика или московского сынка купеческого, даже шел к непомерно тонкой и гибкой фигуре.

3

Он стал часто наезжать в Петербург. После каждого свиданья делалось все яснее, что этот человек не пропадет: помимо талантливости и своеобразного ума, у него есть сметка и — упорство. Упорство или воля... это решить было трудно.

Не много прошло времени — и вот Брюсов вместе с молодым Поляковым создает журнал «Весы», первый русский журнал нового типа, еще «декадентский» — но культурный. Вокруг него и вокруг связанного с ним издательства «Скорпион» начинают группироваться молодые силы, все «отверженные» — справедливо и несправедливо — традиционным русским «толстым журналом».

Брюсов — «декадент», но он же и «классик»: он пушкинист, поклонник забытого Тютчева и отошедше-

го в тень Фета. Он неутомимо работает над исследованием сокровищ русской поэзии и освобождает их из-под хлама «либеральщины», как он говорит. Под его редакцией в издательстве «Скорпион» начинают выходить сборники «Северные цветы», названные так в память пушкинских «Северных цветов».

Но Брюсов, кроме того, тянется к «европеизму». Стремится наладить связь новой русской литературы с соответственными уклонами во Франции и в Скандинавии.

Конечно, не Брюсов создал новые течения в литературе. Они создались сами, естественно. Декадентство, символизм (к нему Брюсов близко не примкнул), принцип «чистого» искусства, тяга к европеизму, наконец,— все это было неизбежной революцией против многолетнего царствования наследников Белинского и Писарева, приведшего действительно к литературному оскудению.

Ломались старые рамки. Много при этом было и уродливого, и ненужного — но и неожиданного. Молодые работники являлись тогда из самых разнообразных слоев общества. Все зависело от личных способностей и упорства. Вот этого упорства и работоспособности, при громадной сметке, у Брюсова оказалось очень много. Он по праву занял видное место в новом литературном течении; из него тогдашнего Брюсова не выкинешь. Между тем среда и обстановка, из которой он вышел, мало благоприятствовали избранной им линии. Сыну московского пробочного фабриканта, к тому же разорившегося, пришлось-таки потрудиться, чтобы приобрести солидное образование и сделаться «европейцем» — или похожим на европейца. Но брюсовское упорство, догадливый ум и способность сосредоточения воли — исключительны; и они служили ему верно.

4

Дело в том, что Брюсов — человек абсолютного, совершенно бешеного честолюбия. Я говорю «честолюбия» лишь потому, что нет другого, более сильного слова для выражения той страстной «самости», самозавязанности в тугой узел, той напряженной жажды всевеличия и всевластия, которой одержим Брюсов. Тут иначе как одержимым его и назвать нельзя.

Это в нем не сразу было видно. Почему? Да потому, что заботливее всего скрывается пункт помешательства. У Брюсова же в этой точке таилось самое подлинное безумие.

Ну, а скрывать, если хотел он что-нибудь скрыть, он умел. Самые дюжинные безумцы хитры на скрывание пунктиков. А Брюсов, крайне ловкий от природы, вне этой точки был разумен, сдержан, холодно и остро насмешлив, очень владел собою. (Говорю о Брюсове тех первых годов.) Он отлично видел людей и знал, на сколько пуговиц перед каждым стоит застегнуться. Что какое-то безумие есть в нем, сидит в нем,— это видели почти все; где оно, в чем оно,— не видел почти никто. Принимали огонек, мелькавший порою в глубоко сидящих, сближенных глазах, за священное безумие поэта. Против такого восприятия Брюсов, конечно, ничего не имел. Он не прочь был даже усилить впечатление, где можно, насколько можно. Отсюда его «демонические» и всякие другие позы.

Честолюбие может быть лишь одной из страстей, и в этом случае оно само частично: честолюбие литературное, военное, ораторское, даже любовное; тогда другие страсти могут с ним сосуществовать, оставаясь просто себе страстями. Так, военное честолюбие вполне совместимо со страстью к женщинам, или честолюбие литературное со страстью к вину, что ли. Но брюсовское «честолюбие» — страсть настолько полная, что она, захватив все стороны существования, могла быть — и действительно была — единственной его страстью.

Любил ли он искусство? Любил ли он женщин, вот этих своих «mille e tre»[1]? Нет, конечно. Чем он мог л ю б и т ь? Всесъедающая страсть, единственная, делала из женщин, из вина, из карт, из работы, из стихов, даже собственных,— только ряд средств, средств, средств... В конце концов и сам Брюсов (как это ни парадоксально) должен был стать для нее средством. Цель лишь она.

В расцвет его успеха — глупые, но чуткие люди говорили: Брюсов х о л о д н ы й поэт. Самые «страстные» его стихи не зажигали их. Еще бы! Самые «страстные» стихи его — замечательно бесстрастны: не Эрос им владеет. Ему нужна любовь всех mille e tre, всех;

---

[1] «Тысяча и три» *(ит.).— Ред.*

и ни одна из них сама по себе, вместе с любовью как таковой не нужна. Лишь средства, средства...

Об остатках — рудиментарных — человеческих чувств в этой сожженной душе я скажу дальше.

А пока вернемся к рассказу.

5

«Секрет» Брюсова о единой таинственной его страсти не сразу мне открылся. Это постепенно определилось, когда мы стали чаще видаться.

К «Весам» и «Скорпиону» мне пришлось стать в довольно близкие отношения. Не могу даже вспомнить всех моих в этом журнале псевдонимов.

Приезжая в Москву (а мы стали ездить туда часто), мы останавливались обыкновенно в «Славянском базаре» и в комнатах, окна которых выходили, через какой-то двор, прямо на гостиницу «Метрополь». В «Метрополе», тогда не вполне достроенном и не открытом, помещалась редакция «Весов». По вечерам, как только зажгутся знакомые окна,— идем туда. Я смеюсь: ваша редакция — самый новый, самый культурный уголок Москвы. И действительно, чего новее: первые отделанные комнаты еще неоткрытого, еще пустого, пахнущего штукатуркой, гигантского современного отеля. В редакции все чисто, солидно, все блестит. Кое-какие красивые вещи, книги, рисунки: Поляков недаром богат, Брюсов недаром «искусник» и «европеец». Чай — в электрических, тогда еще редких чайниках. (Если б мне кто-нибудь сказал, что через несколько лет этот самый Брюсов будет «раздувать мировой пожар» на «горе всем буржуям»! Впрочем, столько случилось невероятного, что, очевидно, никаких невероятных вещей нет.)

Мы бывали также и у самого Брюсова. Он был женат. Давно, с самой, кажется, ранней молодости. Жена его, маленькая женщина, полька, необыкновенно обыкновенная; если удивляла она чем-нибудь, то именно своей незамечательностью.

Удивление, однако, напрасное, ибо она воистину была замечательна. Еще бы! Ведь это единственная женщина, которую во всю жизнь Брюсов любил. При сумасшедше честолюбивой жажде женского успеха, при утонченной погоне за женщинами, при всех своих mille e tre и драмах, которые он разыгрывал порою до

самообмана — любил он, по-человечески, сколько мог, одну вот эту незаметную женщину — свою жену. Он никогда с ней не расходился, даже редко расставался. Когда она бывала при смерти,— несколько раз, при несчастных родах,— на Брюсове лица не было, он делался неузнаваем. Эта любовь, между прочим, была причиной и той единственной из его драм, которой на мгновенье мы стали свидетелями. Но о ней потом, она случилась гораздо позже.

В то время, 1901—2—3 года, Брюсов жил на Цветном бульваре, в «собственном» доме. Т. е. в доме своего отца, в отведенной ему маленькой квартирке.

Тут уже не электрические чайники редакции «Весов» style moderne, а самая старинная Москва. В калитку стучат кольцом; потом пробираются по двору, по тропинке меж сугробами; деревянная темная лесенка с обмерзшими, скользкими ступенями. Внутри маленькие комнатки жарко натоплены, но с полу дует. Стиль и книги редактора «Весов» — и рядом какие-то салфеточки вязаные и кисейные занавесочки.

Насмешливое остроумие, изредка граничащее со сплетничеством, никогда не покидало Брюсова; но у себя он был особенно жив, мил, по-московски радушен. Вообще москвичом он оставался, несмотря на весь «европеизм» — и даже некоторую «космополитическую» позу.

Известный московский «Кружок», душой которого (да и председателем) долгое время был Брюсов,— в 01—02 гг., кажется, еще не вполне расцвел. Мережковский, когда мы приезжали в Москву, читал лекции не в Кружке, а в какой-то университетской аудитории.

Вот ужин, после одной из этих лекций, в отдельной зале «Славянского базара», за большим столом. Присутствующие — профессора, солидные, седоватые, бородатые; но между ними и тонкий молодой Брюсов.

Мне особенно ясно запомнился профессор Н. Бугаев, математик, лысый и приятный [1]. Он, к общему удивлению, весь вечер говорил... о чертях. Рассказывал, с хохотом, как черт его на извозчике возил, и другие случаи из своей жизни, где чертовское присутствие обнаруживалось с несомненностью.

---

[1] Отец Б. Бугаева — Андрея Белого.

Потом Брюсов читал стихи. Поднялся из-за стола и начал высоким тенорком своим, забирая все выше:

Я долго был рабом покорным
Прекраснейшей из всех цариц...
. . . .
И вздрогнула она от гнева:
Месть оскорбителям святыны!..

Брюсов читает порывисто, с коротким дыханьем. Высокий голос его, когда переходит в поющие вскрики, например, в конце этого же стихотворения —

Но эту ночь я помню! Помню! —

делается почти похож на женский.

6

Естественно, в силу единой владеющей им страсти Брюсов никакого искусства не любил и любить не мог. Но если он «считал нужным» признавать старых художников, заниматься ими, даже «благоговеть» перед ними,— то всех своих современников, писателей (равно и не писателей, впрочем) он, уже без различия, совершенно и абсолютно презирал. Однако природная сметка позволила ему выработать в отношениях с людьми особую гибкость, удивительную тонкость. Даже неглупый человек выносил из общения с Брюсовым, из беседы с ним убеждение, что действительно Брюсов всех презирает (и поделом!), всех — кроме него. Это ведь своего рода лесть, и особенно изысканная, бранить с кем-нибудь всех других. А Брюсов даже никогда и не «бранился»: он только чуть-чуть, прикрыто и понятно, несколькими снисходительно-злыми словами отшвыривал того, о ком говорил. А тот, с кем он говорил, незаметно польщенный брюсовским «доверием», уже начинал чувствовать себя его сообщником.

Очень действительный прием с людьми, пусть и неглупыми, но не особенно тонкими.

Мне — Брюсов нравился уже тем, что был так ясен для меня. Нравилось и презрение, искусно спрятанное, строго последовательное. Без него образ был бы неполным, недостаточно художественным.

7

Мы на Брестском вокзале, в Москве. «Скорпионы» провожают нас за границу.

Опять мы с Брюсовым болтаем... о стихах. О, не о поэзии, конечно, а именно о стихах. С Блоком мы о них почти никогда не говорили. А с Брюсовым — постоянно, и всегда как-то «профессионально».

Выдумываем, нельзя ли рифмовать не концы строк, а начала. Или, может быть, так, чтобы созвучие падало не на последние слоги оканчивающего строку слова, а на первые?

Как-то потом, вдолге, мне вспомнилась эта игра. В «Весах» было напечатано несколько стихотворений под общим заглавием «Неуместные рифмы». В книги мои они, конечно, не вошли, и я их едва помню:

...Сквозь цепкое и ле-пкое
Скользнуть бы с Ча-шей...
По самой темной ле-стнице
Дойти до сча-стья...

Что-то в этом роде. В другой раз вышло интереснее. Мы подбирали «одинокие» слова. Их очень много. Ведь нет даже рифмы на «истину»! Мы, впрочем, оба решили поискать и подумать. У меня ничего путного не вышло. Какое-то полушуточное стихотворение (обращенное к Сологубу):

........извлек
Воду живую он из стены;
Только не знает, мудрец и пророк,
Собственной истины.

А Брюсов написал поразительно характерное стихотворение, такое для него характерное, что я все восемь строчек выпишу. Рифма, благодаря которой стихотворение и было мне посвящено, не особенно удалась, но не в ней дело.

Неколебимой истине
Не верю я давно.
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа, и Дьявола
Равно прославлю я...

Ну, конечно, не все ли равно, славить Господа или Дьявола, если хочешь — и можешь — славить только Себя? Кто в данную минуту, как средство для конечной цели, более подходит — того и славить.

Насчет «свободной» ладьи — ужимка, поза, рифма. Какая «свобода», или хоть мысль и понятие о ней, могут быть у одержимого брюсовской страстью?

8

В годы японской войны и революции мы с Брюсовым видались мало. Мы заняты были ликвидацией «Нового пути», журнала, который очень отвлек меня в последнее время от «Весов».

Успел ли Брюсов тогда начать «прославление» революции или мудро воздержался, выжидал — я решительно не знаю. Мы видели его в это время лишь раз, мельком, в Петербурге, у Вяч. Иванова. Очень скоро потом мы уехали в Париж, где оставались подряд два с половиной года. Но в Париже именно с Брюсовым у меня была самая деятельная переписка; и вновь началось сотрудничество в «Весах», из книжки в книжку (даже корреспондентский билет у меня был оттуда).

В Москве (да и в Петербурге) это было время «литературного возрождения» и литературной суеты; у «Весов» появились соперники в виде «Золотого руна» и других «эстетических» журналов. С другой стороны, пышным цветом расцветал Андреев (Горький тут несколько затмился).

Остроумные, едкие письма Брюсова позволяли мне разбираться в общем положении дел; позиция «Весов» была самая воинственная.

Тогда же вышла книга рассказов Брюсова: «Проза поэта» (мне пришлось писать о ней не в «Весах», конечно, а в «Русской мысли»). По существу она ровно ничего к Брюсову не прибавляла и ничего от него не отнимала. Лишь уясняла,— для меня — знаемое. Проза очень *голит* поэта как человека. Как раз для *человека*-то в прозе гораздо меньше, чем в стихах, «кустов», куда можно спрятаться.

И в рассказах, всегда фантастических, и в романах, полуисторических-полуфантастических,— все тот же Брюсов, одержимый все той же единственной тайной страстью, мертвый ко всему, что не она. Фантастика,

а главное — эротика, с отчаянным на нее напиранием,— одежды, которые Брюсов натягивает на свой темный провал. То, что на обычном языке называется «внутренней бессодержательностью», а на эстетическом — «бестенденциозностью», у Брюсова налицо. Но это сквозит его провал темный, его глубокое — решительно ко всему — равнодушие.

И все моря, все пристани
Я не люблю равно,—

хотя готов «прославить» что угодно, кому угодно... смотря по моменту.

Прославление так называемой «любовной» страсти, эротика, годится во все времена. Мертвенный холод Брюсова в этой области достаточно ощутим и в стихах; но в прозе, где труднее спрятаться, он, без меры, с отчаянием подчеркивая «любовные» сцены, делает их почти... некрофильскими.

Кстати сказать, ни у кого нет такого количества «некрофильских» стихов, как у Брюсова. На той «среде» Вяч. Иванова, где мы единственный раз в 1905 году встретили Брюсова, вышел забавный случай.

Присутствовал «цвет» современной поэзии (впрочем, и не цвет тоже). Литературный эстетизм переживал тогда момент судороги — революция, неудавшаяся, сказывалась. Оживление немножко сумасшедшее, напряженно-разнузданное... Частью оно потом выродилось в порнографию.

На средах было заведено, читает ли признанный поэт или начинающий, слушатели, поочередно, тут же высказывают свое мнение. В критике не стеснялись, резкости даже преувеличивали. Но она касалась главным образом формы; и выходило, что профессионалы критиковали молодых, обижаться было некому.

Сологуб сидел неподвижно и говорил мало. Кажется, он ничего не читал. А Брюсов, когда до него дошла очередь, прочел целый цикл... некрофильских стихотворений. Содержание в первую минуту удивило даже и собравшихся смелых новаторов; но скоро все оправились, и стихи, прочитанные «дерзновенно», высоким брюсовским тенором и по-брюсовски искусно сделанные, вызвали самые комплиментарные отзывы. Дошло до Сологуба. Молчит. И все молчат. Хозяин со сладкой настойчивостью повторяет свою просьбу «к Федору Кузьмичу — высказаться». Еще секунда молчанья. На-

конец — монотонный и очень внятный, особенно при общей тишине, ответ Сологуба:

— Ничего не могу сказать. Не имею опыта.

Эти ядовитые, особенно по тону, каким были сказаны, слова были тотчас же затерты смехом, не очень удачными шутками, находчивостью хозяина. Но Брюсов, я думаю, их почувствовал — и не забыл.

9

Очень скоро по возвращении в Россию — мы поехали в Москву. «Русская мысль» перешла тогда в заведованье П. Б. Струве, Кизеветтера, Франка и других. Послереволюционное оживление в журналистике и в газетном деле было необыкновенное. Нарождались новые журналы, толстые и тонкие, старые реформировались и преобразовывались. Расцвел литературный альманах.

Мы, в Петербурге, уже успели потерпеть довольно глупое поражение с одним толстым журналом. Хотели мы, вкупе с кружком Кусковой и Богучарского, приобрести его у тогдашнего его владельца, печальной памяти Василевского Не-Буквы (который тогда впервые, вместе с Гржебиным, и выплыл). Не-Буква нам журнал этот продал (с понедельничной газетой вместе), но на другой же день (буквально на другой) так нас всех обманул, ни одного своего слова не сдержав, что мы только руками развели и остались без журнала.

Вскоре после того Струве пригласил меня и Мережковского заведовать литературным отделом «Русской мысли», и для ознакомления с редакцией и нашими обязанностями мы в Москву и поехали.

Московское кипенье поразило нас еще больше, чем петербургское. Не говорю о Воздвиженке, степенной редакции «Русской мысли»: там была сравнительная тишина. Но где крутились «Золотые руна», «Альционы», да и «Весы», и «Скорпионы», был сущий базар. И как все изменилось — в моем поле зрения, по крайней мере,— до мелочей!

Мы жили не в старых, темноватых комнатках «Славянского базара» — а в «Национале», едва успевшем загрязнить свой показной «confort moderne» [1]. С утра —

---

[1] Современный комфорт *(фр.)*.— *Ред.*

люди, писатели и редакторы; причем скоро выяснилось, что лучше каждого принимать отдельно, ибо неизвестно, кто с кем на ножах; пожалуй, все со всеми.

Вот и Брюсов... тоже изменившийся. Нервный, порывистый, с более резкими движениями, злее, насмешливый. Он, оказывается, не встречался с редактором «Золотого руна», который у нас или только что был, или должен был придти — не вспомню. Заговорили о дуэли Брюсова с этим редактором. Тут же путался и Андрей Белый, не то в чине «секунданта», не то в каком-то другом — не знаю и припомнить не могу; все это как было для нас темной путаницей, которую не хотелось распутывать, так и доселе осталось.

Затем пошел Кружок, превратившийся в большой клуб с «железкой», ужин там после доклада Мережковского, еще какие-то ужины, доклады, опять ужины...

Брюсов покинул Цветной бульвар и отцовскую квартиру в деревянном флигеле, за дворовыми сугробами. И он жил теперь не без «confort moderne» в расписном rez-de-chaussée [1] против Сухаревки, в комнатах с красными стенами и какими-то висячими фонариками. Все было иное. Не изменилась только жена Брюсова. Такая же тихая, ровная, плотно и незыблемо сидящая на своем месте — брюсовской в е ч н о й жены. У писателей известных, как и у других «знаменитостей», часто бывают жены типа «верного», особенного, самоотверженные «служительницы гения», видящие только его, любящие до конца, прощающие, даже впредь простившие,— все. Жена Брюсова имела нечто сверх этого. Верная — конечно; всепростившая — конечно; но прежде-то всего — «в е ч н а я» жена: так тихо она покоилась на уверенности, что уж как там дальше ни будь, а уж это незыблемо: она и Брюсов вместе. Миры могут рушиться, но Брюсов останется в конце концов с ней.

Что ж, она была права. И если теперь жива — я не сомневаюсь: Брюсов с ней.

«Весы» уже близились к закату. Едем по Тверской вечером на извозчике с Брюсовым; он мне подробно рассказывает о Полякове (издателе), о положении «Весов» и «Скорпиона»... Вскоре и действительно «Весы» сошли на «нет». Дольше держались альманахи «Северные цветы».

---

[1] Первый этаж *(фр.).— Ред.*

10

Заведовать литературным отделом журнала, издающегося в другом городе, дело не легкое. Мы были рады, что к нему привлечен и Брюсов, москвич. Ему, впрочем, отданы были стихи. Брюсов заботился о присылке книг для очередной моей литературной статьи. Рукописи (прозаические) присылались беспорядочной кучей из редакции, и порою было от чего прийти в отчаяние! Чувствовалось, что дело не налажено. Вскоре наше с «Русской мыслью» дело и совсем разладилось.

Виноваты были мы. Вместо того чтобы ограничиться, по условию, чтением беллетристических рукописей, мы вздумали предлагать редакции вещи некоторых писателей, на наш взгляд достойные напечатания, но не чисто беллетристические. Между тем следовало бы помнить, что наши взгляды вне «искусства» не совпадают со взглядами редакторов журнала.

Мы всех их знали давно. Особенно хорошо знали П. Б. Струве, этого прелестного, умного и талантливого человека, этого... писателя? профессора? журналиста? политика? ученого? Как его назвать? Он всегда, делая, как будто делал не вполне свое дело, не главное,— и, однако, делал всякое прекрасно. Мы знали его еще в те далекие времена, когда он и М. Туган-Барановский были «первыми русскими марксистами». Воды много утекло, но по существу П. Б. Струве оставался все тем же: немножко тяжелым, упрямым, рассеянным, глубоким — и необыкновенно, исключительно — прямым. Много он от марксизма сделал поворотов; но умел, благодаря прямоте и серьезности, именно поворачивать: он никогда не «вертелся».

И в то время, о котором пишу, поворот его был не на нашу дорогу. Мы сохраняли — и сохранили — с ним наилучшие отношения; впоследствии мы даже сблизились на одних и тех же вопросах; однако совместная работа, конкретная, хотя бы журнальная, требует иных степеней близости,— если она не чисто формальная, конечно.

Франк, и особенно Кизеветтер, были нам более далеки.

Повторяю, ошибка была на нашей стороне: не следовало нам выходить за изгородь «литературы».

Что это, однако, «литература» или «не литература» — «Тройка» Блока, из-за которой вышло первое наше

столкновение? По-моему — литература, и даже «изящная», не в переносном, а в прямом смысле. Но «изящной» называется «беллетристика», а «Тройка» Блока имела вид «статьи». Она была лирична — тем хуже, раз это «статья». В ней говорилось о России — тем еще хуже; статья с Россией — это уж статья с политикой. Надо решить, значит, соответствует ли эта политика политике журнала. Пожалуй, и не стоит решать, и так ясно: никакая «лирическая» политика журналу не соответствует.

Блок читал эту статью на первом (после нашего возвращения) собрании Религ⟨иозно-⟩философ⟨ского⟩ О⟨бщест⟩ва. Она показалась нам тогда очень свежей, очень сильной. Но в «Русской мысли» ее не напечатали.

Дело все больше расклеивалось, пока не пало окончательно. Заведованье литературной прозой с нас было снято, мы остались просто сотрудниками, я — ежемесячным литературным обозревателем.

Заместителем нашим по части литературной прозы официально стал числиться Брюсов, но фактически он делил работу с самим П. Б. Струве. Об этой общей работе Брюсов, при наших дальнейших встречах, постоянно говорил. Постоянно на нее жаловался. Не удивительно. Гораздо удивительнее, что два таких разных человека — Струве и Брюсов — могли все же долго работать вместе.

11

По тонкости в н е ш н е г о понимания стихов — у Брюсова не было соперника. Способность к «стилю» и форме (не странно ли, что даже ее он утерял ныне!) позволяла ему «шалости» вроде издания целого сборника стихов от женского имени, под таинственным псевдонимом «Нелли». Это был, конечно, тот же Брюсов, холодный в эротике (и потому циничный), естественно бессодержательный. Но благодаря внешнему мастерству замаскирован он был ловко.

В н у т р е н н е г о же вкуса и чутья к стихам, предполагающего хоть какую-нибудь л ю б о в ь к поэзии, у него совершенно не имелось. Случаев убедиться в этом у меня было много. Вот один.

Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мок-

рые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал — не помню (может быть, он сам пришел), к юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и — мне все-таки, с несомненностью, показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день (приходилось бы сотнями, не положи я предела).

В стихи этого юнца «что-то попало», как мы тогда выражались.

Решаю про себя, что мальчик не без способностей, и вызываюсь (в первый раз в жизни, кажется, без просьбы) где-нибудь напечатать стихи: «в «Русской мысли», например; я пошлю их Брюсову».

Ответ получился не очень скоро, и даже, между прочим, в письме по другому поводу. Ответ насмешливый, небрежный и грубоватый: что до вашего юнца «со способностями», то таких юнцов с такими же и даже бо́льшими способностями у меня слишком достаточно и в Москве. Советую этому не печататься... Еще что-то было в том же роде, если не хуже.

Однако из юнца вышел, и необыкновенно скоро,— поэт, во всяком случае всеми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отделке ее — поэт в сорте Брюсова. Это был О. Мандельштам.

В красивой кожаной книжке, которую Брюсов мне подарил в январе 1909 года для моих стихов (в ней, вывезенной из Совдепии, и записаны они все с 1909 г., и книжка еще не кончена, хотя ей уже четырнадцатый год),— на первой странице есть милое и довольно длинное, любезное посвящение дарителя. Это стихотворение Брюсов где-то потом напечатал. Как оно ни любезно — я сознаю, что к моим-то писаньям оно совершенно не относится. Я естественно разделяю участь всех современных собратьев Брюсова: он с ними при случае любезен, при случае груб, как будто всех презирает, а в сущности, никого и не видал: нужды не чувствовал смотреть, времени не было.

Впрочем, в заказанной ему статье в «Истории русск⟨ой⟩ литературы» Брюсов с большой тонкостью разобрал аллитерации одного моего стихотворения с подсчетом согласных и гласных...

Случился довольно долгий перерыв в наших свиданьях, чуть ли не года в полтора. Мельком мы слышали, что Брюсов болел, поправился, но изнервничался, ве-

дет довольно бурную жизнь и сильно злоупотребляет наркотиками.

Когда, после этого долгого времени, он заехал к нам впервые — он меня действительно изумил. Вспоминался самый давний, тонкий, как ветка, скромный молодой человек с черной бородкой, со сдержанными и мягкими движениями, спокойно самоуверенный, спокойно насмешливый. А это... Брюсов? Впрочем, воспоминание мелькнуло и погасло; я уже узнаю опять Брюсова; хотя даже с недавним — какая внешняя разница!

Вот он сидит в столовой за столом. Без перерыва курит... (это Брюсов-то!), и руки с неопрятными ногтями (это у Брюсова-то!) так трясутся, что он сыплет пепел на скатерть, в стакан с чаем, потом сдергивает угол скатерти, потом сам сдергивается с места и начинает беспорядочно шагать по узенькой столовой. Лицо похудело и потемнело, черные глаза тусклы — а то вдруг странно блеснут во впадинах. В бородке целые седые полосы, да и голова с белым отсветом. В нем такое напряженное беспокойство, что самому становится беспокойно рядом с ним.

Все говорит, говорит... все жалуется на Струве. Который раз уж он приезжает по делам «Русской мысли». Что они там делают! Что печатают! Струве сам занимается литературными рукописями. На него, Брюсова, смотрит, как на редакторского служащего. Он, Брюсов, решил уйти, если это будет продолжаться. Он, Брюсов... Он, Струве...

Я, очевидно, не в состоянии припомнить, в чем был виновен Струве, из-за чего происходили эти волнующие конфликты. Да и никто не мог бы вспомнить, так это неинтересно. Мы, обеспокоенные брюсовским беспокойством, советовали ему лучше уйти, если так.

— Я уйду, я уйду,— повторял он — и, однако, не уходил. Опять являлся из Москвы, опять бегал у нас по комнате и жаловался на Струве: так не может продолжаться: я уйду...

Понемногу мы привыкли к новому виду Брюсова, да он в самые последние перед войной годы как будто немного успокоился, стал больше напоминать прежнего — насмешливого и остроумного Брюсова.

Никогда, конечно, ни о чем внутреннем мы не говорили. Не только ни разу не коснулись вопросов, которыми занят был весь наш кружок и которые имели широкое отражение в Религиозно-фил〈ософском〉 Обще-

стве,— но мы вообще ни о чем не говорили, только о литературе, да и то в смысле литературных дел и делишек, а всего больше о «Русской мысли» и о Струве...

Струве, кстати сказать, к вопросу религиозному, занимавшему тогда часть русской интеллигенции, имел довольно близкое касанье. Он был даже членом Совета Религиозно-фил⟨ософского⟩ Общества. В Совете имелись свои правые и левые. Впоследствии, когда борьба между ними обострилась и победили левые (вопрос, в связи с делом Бейлиса, об исключении В. В. Розанова из числа членов О⟨бщест⟩ва в многолюдном собрании был решен положительно) — Струве и его группа из Совета вышли. Струве был принципиально против внесения струи общественной, даже морально-общественной, в область религии.

С Брюсовым говорить о чем-нибудь таком и в голову не приходило. В далекие годы «декадентства» он не упускал случая выразить свое презрение или даже ненависть к «либералам». Но это уж так водилось. А затем — я не припомню ни одного брюсовского мнения по какому-нибудь вопросу более или менее широкому. Никогда не слышали мы, чтобы он и где-нибудь, не с нами, общих вопросов определенно касался. Стеклянный колпак накрывал его; под ним, в безвоздушном пространстве своей единой, на себя обращенной страсти он и оставался. Изумительно, однако, что никто даже ни разу не спохватился: да что же это за человек? Да живой он или мертвый?

Никто, ни разу: с такой мастерской хитростью умел Брюсов скрывать своеобразную мертвость души, мысли и сердца.

12

Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и о его жизни. Да мало и запоминаются такие рассказы. Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь — невольная или вольная. Факты, имеющие значение, узнаются сами собой. Что Брюсов стал кидаться в разные эксцессы, но не утопал ни в одном с головой и, наконец, прибег к наркотикам — было только логично, не верить не приходилось. Любовные драмы? Они, вероятно, происходят все по одному и тому же, Брюсову свойственному, образцу,— а количество их неинтересно.

Но раз мы услышали, что в Москве застрелилась молодая, скромная поэтесса, тихая девушка; и что это самоубийство связано с Брюсовым.

Подробностей не помню, да, может быть, мне их и не рассказывали. Этот случай проник даже в газеты.

Было неприятно, как всегда, когда слышишь о самоубийствах. Но, каюсь, о Брюсове мало думалось. Он невинен, если даже и виноват: ведь он вины-то своей не почувствует...

И нисколько не удивило меня известие, очень вскоре, что Брюсов приехал в Петербург: мы, петербургская интеллигенция, собирались тогда чествовать заезжего гостя — Верхарна. С Верхарном же Брюсов был хорош, чуть ли не ездил к нему в свое время гостить. По своему «европеизму» Брюсов деятельно поддерживал связи с заграничными писателями. Андре Жид даже давал статейки для «Весов».

Ну, очевидно, приехал для Верхарна. Занят, к нам заехать некогда, увидимся на банкете.

Но вот, накануне банкета, является Брюсов. Мы были одни — я, Мережковский и Философов. Время предобеденное, и уже горели лампы.

Брюсов так вошел, так взглянул, такое у него лицо было, что мы сразу поняли: это совсем другой Брюсов. Это настоящий, живой человек. И человек — в последнем отчаянии.

Именно потому, что в тот день мы видели Брюсова человеческого и страдающего, и чувствовали близость его, и старались помочь ему, как умели, мне о свидании этом рассказывать не хочется. Я его только отмечаю. Был ли Брюсов так виноват, как это ощущал? Нет, конечно. Но он был п р о н з е н своей виной, смертью этой девушки... может быть, пронзен смертью вообще, в первый раз. Драма — воистину любовная: она любила; верила в его любовь. Когда убедилась, что Брюсов, если любит, то не ее,— умерла.

Он так и сказал ей. Предсмертному зову не поверил,— не поехал. Увидел уже мертвую.

Но довольно. И это говорю, чтобы понятна была «пронзенность» Брюсова, страдание его,— такое, как в его положении было бы у всякого настоящего глубокого человека.

В этот странный, единственный час и он чувствовал нашу близость. И, может быть, она немного помогла ему.

О, конечно, он не к Верхарну тогда приехал: он «убежал» в Петербург, как в пустыню, чтобы быть совсем одному. Не знаю, кто еще его в этот приезд в Петербург видел. Во всяком случае, ни на каких банкетах он не показывался.

К нам тоже больше не пришел. Через несколько времени — письмо из Москвы, еще не брюсовское: теплое, глубже, ближе. Ну, а затем все и кончилось. Когда много месяцев спустя мы его опять увидели у себя (чуть не перед самой войной) — это был обыкновенный, старый, вечный Брюсов, по-обыкновенному нервный, по-обыкновенному зажигал он дрожащими руками папироску за папироской и презрительно-надменно раздражался делами «Русской мысли». И в глазах мелькал старый сумасшедший огонек старой страсти.

13

У очень многих людей есть «обезьяны». Возможно даже, что есть своя у каждого мало-мальски недюжинного, только не часто их наблюдаешь вместе. Я говорю об «обезьяне» отнюдь не в смысле подражателя. Нет, но о явлении другой личности, вдруг повторяющей первую, отражающей ее в исковерканном зеркале. Это исковерканное повторение, карикатура страшная, схожесть — не всем видны. Не грубая схожесть. На больших глубинах ее истоки. «На мою обезьяну смеюсь»,— говорит в «Бесах» Ставрогин Верховенскому. И действительно, Верховенский, маленький, суетливый, презренно мелкий и гнусный,— «обезьяна» Иван-Царевича, Ставрогина. Как будто и не похожи? Нет, похожи. Обезьяна — уличает и объясняет.

Для Брюсова черт выдумал (а черт забавник тонкий!) очень интересную обезьяну. Брюсов — не Ставрогин, не Иван-Царевич, и обезьяна его не Верховенский. Да и жизнь смягчает резкости.

Брюсовская обезьяна народилась в виде Игоря Северянина.

Можно бы сделать целую игру, подбирая к чертам Брюсова, самым основным, соответственные черточки Северянина, соответственно умельченные, окарикатуренные. Черт даже перестарался, слишком их сблизил, слишком похоже вылепил обличительную фигурку. Сделал ее тоже «поэтом». И тоже «новатором», «создателем школы» и «течения»... через 25 лет после Брюсова.

Что́ у Брюсова запрятано, умно и тщательно заперто за семью замками, то Игорь Северянин во все стороны как раз и расшлепывает. Он ведь специально и создан для раскрытия брюсовских тайн. Огулом презирает современников, но так это начистоту и выкладывает, не боясь, да и не подозревая смешного своего при этом вида. Нисколько не любит и не признает «никаких Пушкиных», но не упускает случая погромче об этом заявить, даже надоедает с заявлениями. Однако от гримасы на Брюсова и тут вполне воздержаться не может: если Брюсов «считал нужным» любить Пушкина и Тютчева, то Игорь «признает»... Мирру Лохвицкую (благо, и она умерла). Но верен себе и опять выдает некую тайну: Брюсов мог бы, но ни разу не сказал: «Хороши вы, не признающие меня и Тютчева» или «меня и Пушкина». Игорь же, ругая на чем свет стоит «публику», читающую и почитающую каких-то поэтов, поясняет:

А я и Мирра — в стороне!

«Европеизм» Брюсова отразился в Игоре, перекривившись, в виде коммивояжерства. Так прирожденный коммивояжер, еще не успевший побывать в людях, пробавляется пока что «заграничными» словцами: «Они свою образованность показать хочут»,— сказала чеховская мещаночка.

Игорь, как Брюсов, знает, что «эротика» всегда годится, всегда нужна и важна. «Вы такая экстазная, вы такая вуальная...» — старается он,— тоже с большим внутренним равнодушием, только надрыв Брюсова и страшный покойницкий холод его «эротики» — у Игоря переходит в обыкновенную температуру, ни теплую, ни холодную, «конфетки леденистой».

Главное же, центральное брюсовское, страсть, душу его сжегшую, Игорь Северянин не преминул вынести на свет Божий и определить так наивно-точно, что лучше и выдумать нельзя:

Я гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеместно оэкранен,
Я повсесердно утвержден...

Брюсовское «воздыхание» всей жизни преломилось в игоревское «достижение». Нужды нет, что один только сам Игорь и убежден, что «достиг». Для «упоенного своей победой» нет разницы, победой воображаемой или действительной он упоен.

Обезьяна Брюсова, конечно, нетерпелива. Где-то, чуть не в том же стихотворении «я гений», она объявляет, что дала себе для «повсесердного утверждения» гениальности годичный срок:

...сказал: я буду!
Год отсверкал, и вот — я есть!

Ужели что-нибудь изменится, если мы докажем бытие Игоря Северянина и в этом году сомнительным, а в сверкании последующих — превратившимся в полное небытие?

Игорь Северянин сразу произвел на меня беспокойное впечатление. Так беспокоишься, когда что-то вспоминается, но знаешь, что не вспомнишь все равно.

У Сологуба (он тогда очень возился с новоявленным поэтом) было в этот вечер всего два-три человека, кроме нас. Длинный бледный нос Игоря, большая фигура — чуть-чуть сутулая — черный сюртук, плотно застегнутый. Он не хулиганил — эта мода едва нарождалась, да и был он только эго-футурист. Он, напротив, жаждал «изящества», как всякий прирожденный коммивояжер. Но несло от него, увы, стоеросовым захолустьем; он, должно быть, в тот вечер и сам это чувствовал и после каждого «смелого» стихотворения — оседал.

Может быть, первое, в чем для меня смутно просквозил Брюсов,— это манера читать стихи. Она у обоих поэтов совершенно разная. Игорь Северянин — поет; не то что напевно декламирует, а поет, ну, как певец, не имеющий голоса, поет с эстрады романс, притом все один и тот же. Брюсов читает обыкновенно. Лишь тонкий тенорок его, загибая все выше, надрывно переходит иной раз во вскрик — и во вскрике нота, грубо повторяемая Игорем Северянином. С этой ноты Игорь прямо и начинает свое:

Я гений...

У Брюсова есть трагическая строчка:

Мне надоело быть «Валерий Брюсов»...

Игорь Северянин мог бы ответить ему: мало что надоело; ты все равно есть, ибо

вот — я есть!

Игру с обезьяньими параллелями можно продолжать без конца. О некоторых еще придется упомянуть. Но пока укажу, что Игорь Северянин, подобно Верховен-

скому, невольно льнувшему к Ставрогину, и сам ощущал нитку, которая с Брюсовым его связывала. Он о ней не раз говорит, бесцеремонно и бездумно, как обо всем говорит. Вспоминаю лишь строки насчет всеобщей, кажется, ничтожности перед ним, Игорем Северянином:

...кругом бездарь;
И только вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь...

14

Кто не загремел о будущих победах наших, едва началась война? И беллетристы, и драматурги; про стихотворцев и говорить нечего. Напрасны были все тихие уговоры:

Поэты, не пишите слишком рано,
Победа еще в руке Господней;
Сегодня еще дымятся раны,
Никакие слова не нужны сегодня...

Через год, впрочем, эта волна несколько схлынула. Но некоторые остались. Между ними — Валерий Брюсов (и, конечно, Игорь Северянин).

Никто так упрямо и так «дерзновенно» не прославлял войну год за годом, как Брюсов. Никто не писал таких грубо шовинистических стихов во время войны, как Брюсов (Иг. Северянин сделал эту грубость грубостью словесной, срифмовав: «Бисмарк — солдату русскому на высморк»).

Константинополь и Св. София в свое время вдохновили Брюсова на целый ряд стихотворений, где славилась будущая мощь Руси. Мы всех прославлений, конечно, не читали, и перечислить их я не могу. Отчасти благодаря настроениям этим, между нами и Брюсовым сообщение во время войны прекратилось. Мы слышали, что он постоянно в автомобиле ездит на фронт с какой-то не то гражданской, не то военной организацией; или, по знакомству, с военным агентом... не знаю, боюсь неточностей. Ему до нас и нам до него в это время дела было мало.

Игорь Северянин шатался в Петербурге. Вдруг его взяли да и мобилизовали. Заперли в казармы. Поклонники и поклонницы бросились во все канцелярии — освобождать; хотя бы из казарм; успели. Иг. Сев⟨ерянин⟩ вернулся к Невскому проспекту. Это не уменьшило

его военного жара. Написал, что гулять по Невскому «еще не значит быть изменником», а что когда все другие дрогнут, о, знайте —

тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Упоминание о «поклонницах» да не будет истолковано превратно: Игорь Северянин, несмотря на всех экстазных и вуалевых дам, на кокаин, на эскапады, даже на обещание вести полки в Берлин — по существу добрый муж своей жены, любящий отец.

Революция. Краткие, бурные месяцы керенщины,— февраль—октябрь. О Брюсове за этот период мы мало слышали, а что до Игоря Северянина — то он положительно растаял в туман, будто ветром его сдуло. Не было его и после октября нигде, ни в октябристах, ни в контр-октябристах. Я до поразительности ничего о нем не знаю; стараюсь вспомнить — и мерещатся какие-то глухие вести, а может быть, и не было их. Превратился в призрак.

В Петербурге первый писатель, перешедший к большевикам, почти немедленно после их воцарения,— был старец Иероним Ясинский. Единственный — он находился у большевиков тогда в почете. Они его славили в газетах, возили с собой на автомобилях, таскали в Кронштадт. Долго он был единственным русским... все-таки писателем, продавшим и предавшим свое имя; а вторым был москвич — Брюсов.

У нас еще Мейерхольд зычно кричал против большевиков в Союзе писателей, среди трясущихся, но непримиримых старых интеллигентов, как уж о Брюсове пришли первые смутные, странные вести.

Почему, однако, странные? «И Господа, и Дьявола равно прославлю я»...

Брюсовское «я» требует, раз прославление началось, крайности и поспешности: ведь надо быть первым, впереди. Игорь Северянин мог не успеть и запропаститься, но ведь он не Брюсов, а только брюсовская обезьяна...

Еще не была запрещена за контрреволюционность русская орфография, как Брюсов стал писать по большевицкой и заявил, что по другой печататься не будет. Не успели уничтожить печать, как Брюсов сел в цензора,— следить, хорошо ли она уничтожена, не проползет ли в большевицкую какая-нибудь неугодная большевикам контрабанда. Чуть только пожелали они сбро-

сить с себя «прогнившие пеленки социал-демократии» и окрестились «коммунистами» — Брюсов поспешил издать брошюру «Почему я стал коммунистом».

И так ясно — и так не удивительно — п о ч е м у. В брошюре, конечно, свои объяснения, если там есть объяснения. Брошюра неинтересна. И только один вопрос можно еще поставить относительно Брюсова: почему он, при таком своем упорстве, при таких жертвах (обязательная дружба с Луначарским чего стоит понимающему, что Луначарский причастен к литературе не более Хлестакова, написавшего «Юрия Милославского»),— почему Брюсов не достиг более высокого положения? Почему нет в нем «упоения своей победой», да и «победы» особенной как будто нет?

Страстно сосредоточенный на одном, весь на одном себе,— он до сих пор не достиг ни «повсеместного обэкранения», ни «повсесердного утверждения». Годами сидеть с Луначарским, годами ему повторять, что

> Лишь Анатолий Луначарский,
> Как некий равный государь,—

это и Брюсову может надоесть при малых результатах.

Даже Маяковский как-то более на виду. Брюсов уже обратил на это внимание. Недавно выступил с лекцией о поэзии Пушкина. Он Брюсову больше не «нужен», как «средство негодное». И Пушкин,— говорит Брюсов,— не мог найти созвучий, соответствующих русскому языку: их нашел Маяковский.

Я боюсь, что страстное чутье Брюсова на склоне лет начинает ему изменять. Боюсь, что, хватаясь за все «средства», он уже не тонко отличает годные от негодных. Его «ладья» действительно «всюду плавала». Ведь

> Все моря, все пристани
> Он не любил — равно...

Теперь, в море дьявольском, не начинает ли она тонуть?

Если Брюсов это видит, он должен безмерно страдать. И в сожженной страстью душе, даже страстью самой страшной и ненасытной, остается способность к страданию.

Как жестока жизнь. Как несчастен человек.

1922

МАЛЕНЬКИЙ АНИН ДОМИК

Вырубова

1

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА...

Хочется начать, как сказку: в некотором царстве, в некотором государстве, жили-были царь с царицей...

Что ж, разве это не страшная сказка — русская быль?

Длинна и недосказанна сегодняшняя, самая, кажется, страшная. Но как изумительна вчерашняя, ее породившая. Сказка, где в неповторимом сочетании действуют трое: царица, верная слуга ее, Анна Вырубова («Аня», как обычно звала ее царица, да и мы, бессильные, невольные участники совершавшегося), а третий — сибирский мужичонка Распутин.

Заранее скажу, что не для осуждения, даже не для суда я пишу. Судей много и без меня. Я только рассказываю. Сказка не нова — но ведь каждый рассказывает по-своему; со своего места видит свое; да и в каждом повторении она только страшнее.

2

АНЯ

Мы увидели «царицыну верную слугу» Анну Вырубову (Аню) в первый раз уже после революции; потом встречались постоянно.

Незадолго до первой встречи мне показали ее большой портрет. Странно: с первого взгляда — узнаешь ее, как давно знакомую. И даже, с первого взгляда, схватываешь ее всю: такое... не открытое, но откровенное лицо; так ясно для умеющего читать написана на нем ее несложная внутренняя сущность.

Портрет старый, т. е. снятый еще до ареста и мытарств по тюрьмам. Круглощекая русская «Красна-девица», и платье русское, придворное, идет ей как нельзя лучше.

Портрет старый, но в голову не пришло усомнить-

ся, такая ли она теперь, после всего, что пережила? Не изменилось ли это лицо? Нет, оно неизменяемо. То, что, высвечиваясь, делает лицо человеческое таким или другим — здесь неизменяемо. Неподвижно.

Вот она сидит, в черном платье, скромно причесанная, пополневшая, но она,— Аня портрета. Верная слуга царицы. Верная «другиня» Распутина. Верная — это прежде всего.

Сидит в кресле немножко тяжело (она вся тяжеловата и хромает сильно после неудачного сращения переломов), но держится прямо и все рассказывает, рассказывает, с детскими жестами пухлых ручек. У нее и говорок детский — или бабий — скорый, с захлебыванием, с чуть заметным пришепетыванием. «Каша во рту»,— обмолвилась однажды рассерженная царица.

Рассказывает Аня... все о своих последних несчастьях, о крепости, об издевательствах в тюрьме.

— Сколько раз Господь спасал от солдат... сама не вспомню, как...

Вид у нее, может быть, по привычке, деланно-искренний, деланно-детский. Ведь и глаза такие: широкие, открытые, светлые... но непроницаемые, вдруг стеклянные — слепые. Я не сомневаюсь, впрочем, в искренности ее рассказа: ведь ни о царице, ни о Распутине она слова не обронила.

Это молчание радует; чувствуешь облегчение. Не хочется, чтобы кто-нибудь вдруг спросил ее... о важном, о прошлом. Как-то жалко. Ведь она сейчас же, непременно, начнет лгать, побежит по каким-то окольным тропинкам, хитрым, путаным и вывертливым, тоже невинно,— физиологически. Она не может иначе, она верная. Она совершенна в самоотдаче, в каком-то круглом самопредании... Это делается с ней само, но уж если сделалось — она железнокрепка, упряма и хитра.

Царица тоже упряма и верна. Но как они различны, эти две женщины, царица и ее единственная подруга — Анна Вырубова!

Царица никому не нравилась и тогда, давно, когда была юной невестой наследника. Не нравилось ее острое лицо, красивое, но злое и унылое, с тонкими поджатыми губами; не нравилась немецкая угловатая рослость. Кто-то сказал при мне: «Погодите, а может быть, она замечательна. Ведь какое имя выбрала? Екатерина!»

Вышло вздор, Алису в православии нарекли Александрой. Но не совсем, должно быть, вздор, если через

многие годы пишет Алиса мужу: «...Как хорошо, что ты дал мне Верховный Совет!.. Вообрази меня сразу со всеми министрами!.. Со времени Екатерины ни одна императрица не принимала лично и одна. Григорий (Распутин) в восторге».

Кстати, здесь о письмах ее, т. е. не о них, а о факте напечатания, обнародования интимнейших писем женщины, жены к мужу. Да еще взятых у мертвой, только что вместе с мужем и детьми убитой столь жестоко и позорно.

Само по себе — такое обнародование чудовищно. Средний культурный человек, особенно до войны, не поверил бы, что это возможно. Однако недопустимое сделано, и — хорошо, что оно сделано. Без него никогда не знали бы мы правды, отныне твердой и неоспоримой, об этой женщине как верной и любящей женщине, как верной и любящей жене, как самоотверженной матери.

Не знали бы мы и правды о ней — императрице. Не знали бы с потрясающей, неумолимой точностью, как послужила она своему страшному времени. А нам надо знать. Эта правда ей не принадлежит. И хорошо, что не осталась она скрытой.

3

ПРИ ДВОРЕ

В 14-м году, летом (о войне еще никто не помышлял), к нам на дачу приехал редактор газеты «День» и без конца рассказывал о путешествии в Сибирь корреспондента в одном вагоне с Гр. Распутиным (тогда, вскоре, Распутина и ранили).

Корреспондента посылали платонически: о Распутине было строго запрещено упоминать.

Задавленная правда растет криво, вкось — сплетнями. Вот годы это длится с Распутиным, ужас — в одежде скандала. Там, при дворе, в сущности, ничего не понимают. Там идет какая-то своя жизнь, со своими большими и маленькими горестями, там свои дела и своя среда... Мещанская? Не знаю, во всяком случае — потрясающе некультурная, невежественная.

Царица, впрочем, помнит, что она царица, а муж ее — самодержавный царь. Это значит — что он неограниченный владыка над всеми решительно и по воле

Божией может делать в своей стране, что хочет. Люди злы, рабы часто бунтуют; для этого нужна строгость. Так хочет Бог.

Другого ничего царица никогда не слышала и потому, естественно, не знает. Ум от природы у нее был, но очень обыкновенный; а нужен исключительный, чтобы пробиться сквозь эту толщу невежества.

Но царица все-таки восприняла твердо то малое, что слышала, чему ее учили. У нее своя линия. Аня — живет как рыба в воде, как птица на ветке. Она везде бы искала, кого обожать, кому служить, кому отдаться. И везде бы нашла.

Царица чуть-чуть презирает Аню, однако Аня ей нужна. Без ее отдающейся верности она жить не может. Но часто и несправедливо раздражается против Ани и даже ревнует ее к мужу.

Серьезной ревности у нее, конечно, нет. Она не сомневается в верности мужа. Неизвестно, не было ли тут и психологически обратной ревности. Кому предана Аня больше, кого вернее обожает, царицу или царя? Считалось, что царицу. Но вот оказывается, что она так же безоглядно обожает и царя. И царица в раздражении, находит, что Аня с ней «груба», «нелюбезна»... «После ее поведения в Крыму — что-то пропало, разорвана связь... Она никогда не будет так близка мне, как была...»

Раздражение неглубокое, но совсем исчезло оно только в конце 16-го года. Незаметно окрепла их нерушимая связь — Распутин.

4

ЮРОДИВЫЕ БАБНИКИ

В Петербурге жила когда-то очаровательная женщина. Такая очаровательная, что я не знаю ни одного живого существа, не отдавшего ей дань влюбленности, краткой или длительной.

В этой прелестной светской женщине кипела особая сила жизни, деятельная и пытливая. Все, что так или иначе выделялось, всплывало на поверхность общего,— мгновенно заинтересовывало ее, будь то явление или человек. Не успокоится, пока не увидит собственными глазами, не прикоснется, как-то по-своему не разберется. Не было представителя искусства, литературы, адвокатуры, публицистики, чего угодно,— который не по-

бывал бы в ее салоне в свое время. Иные оставались дольше, другие закатывались немедля. На моих глазах там прошли Репин, Ге, Стасов, Урусов, Андреевский, Влад. Соловьев, Чехов... Она умело комбинировала людей, и «светские» знакомые никогда не смешивались с друзьями «ее духа». Впрочем, сидел там иногда молчаливый старик, никому не интересный. Его называли «серым другом». «Серый друг» этот, превратившись из серого в белого и одряхлев, был сочтен достойным поста премьера во время войны. Он пленяет, в 15-м году, царицу своим «здравым суждением», он находит, что царю «следовало бы быть увереннее в себе». Распутин благожелательно называет его «старцем». «У меня надеты невидимые штаны, уверяет царица, и я могу заставить старика приходить и поддерживать в нем энергию. Сегодня он пришел ко мне как к «soutien» [1], ибо, по его словам, я — l'énergie [2]. Наш Друг пошлет ему ободрительную телеграмму...»

Это был Горемыкин.

Но я продолжаю о салоне очаровательной женщины.

Мог ли в нем не появиться Григорий Ефимович Распутин, едва он взошел на петербургский горизонт?

Он и появился. Спешу сказать, что очаровательница не сделалась распутинкой. Она обладала исключительной уравновешенностью и громадным запасом здравого смысла. Всех «пытала» и ко всем, в сущности, оставалась ровна. Но чутье к значительности — даже не человека, а его успеха — было у нее изумительное.

Распутин, вероятно, понял, что тут много не возьмешь, но захаживал нередко. Надарил ей кучу портретов с безграмотными надписями. Она, смеясь, показывала нам портреты, рассказывала о «старце» и все звала к себе — повидать его.

Но мы к ней не пошли, как и впоследствии, когда Распутин бывал чуть не всюду, мы никуда не ходили «на него».

Слишком хорошо мы знали Распутина, не видав; знали раньше, чем попал он в первый нарядный салон. Пожалуй, раньше несчастного еп⟨ископа⟩ Феофана, которого толкнул злой дух направить сибирского «старца» в дом Романовых. Еп. Феофан — был монах редкой скромности и тихого, праведного жития. Помню его,

---

[1] «Поддержке» *(фр.)*.— *Ред.*

[2] Энергия *(фр.)*.— *Ред.*

маленького, худенького, молчаливого, с темным, строгим личиком, с черными волосами, такими гладкими, точно они были приклеены. Но он смотрел «горе», поверх человека,— где ему распознать было сразу хитрого сибирского мужичонку!

Распутин, в самом начале, терся около белого духовенства. Бывал на вечеринках у довольно известного тогда чудачливого священника М. Возлюбил эти вечеринки: там собиралось много барышень — гимназисток и курсисток. К ним он, конечно, лез целоваться. Одна, очень мне близкая, рассказывала, что долго от этого уклонялась, а когда он все-таки ухитрился ее поцеловать — побежала к хозяйке в комнату умываться. «Я ему сказала, что если он еще раз посмеет, я ему дам самую «святую» пощечину. Теперь издали, но еще хуже пристает: «Черненькая! черненькая! подь, я не трону, сердитая!»

Но вообще «бабничество» Распутина никого особенно не удивляло: ведь так предлежит «старцу», если он «с юродством». К юродству же в каждой русской душе премирная тяга. Даже слова «юродивый» ни на каком европейском языке нет, а русский человек без юродства как будто и святости не понимает.

В Распутине, конечно, настоящего «юродства» никогда не было, но юродствовал он постоянно, и с большой сметкой: соображал, где сколько положить.

Кто ни писал о Распутине, все, даже враги его, признавали его замечательность, ум, необыкновенную проникновенность взгляда и т. д.

Я же утверждаю, что он был крайне обыкновенный, незамечательный, дюжинный мужик. Замечательно его положение, так сказать, место во времени и пространстве, его роль, но не он сам. И события делаются от этой заурядности как-то еще страшные.. Француз Жильяр при мимолетной встрече увидел во взгляде Распутина «злую силу»... Но откуда знать французу, что Россия издавна полна вот такими сметливыми, кряжистыми и похотливыми «святыми странниками»? Интеллигенция русская в эту сторону не привыкла смотреть и наивна. Но даже мне приходилось встречаться с несколькими подобиями Распутина.

Один в особенности был точно вылитый. Об Илиодоре я не говорю, он глупее, беспорядочнее и мельче как мошенник. Но Щетинин, чемряцкий «батюшка» — да его не отличишь от Распутина. В то же приблизи-

тельно время он и в Петербург прибыл. Видали мы не только его, но и главного ученика — Легкобытова, и последовательниц его из рабочей среды. Щетинину не повезло: совался повыше, но не вышло случая; продолжал поневоле действовать среди рабочих.

И сапоги бутылками, и рубаха русская, и кафтан на крючках, и взор «пронзительный» из-под бровей, и тоже кряжистый, темпераментный, покрепче сколочен разве — а то ни дать ни взять Распутин. Правда: Щетинин не только практик, но и теоретик, и даже графоман. Распутин темным, угрозным и юродливым языком своим, нарочито безграмотным, изрекает краткие пророчества или пишет личные телеграммы высоким особам. И всегда в его ахинее есть простая, определенная цель, то или другое конкретное внушение, требование. Ахинея старца Щетинина — безудержна, водопадна и возвышенно-отвлеченна: он брал иногда тем, что одуревал слушателей. Наконец и писать стал; мне приходилось видеть его напечатанные брошюрки и листки. Думаю, однако, что, попади он в распутинский «случай», бросил бы он и «общину крутить», и растеканье в словесных ерундах.

Вел он себя совершенно так же безобразно, как и Распутин, так же юродливо-бабнически. Он действовал в Петербурге несколько лет подряд (перед войной) и попал под уголовщину совершенно случайно. Было начато дело (скоро притушенное, Щетинина просто убрали куда-то), но следствие успело дать такую картину разврата этого безобразника, что если б не документальные подтверждения, не показания «жертв», то и поверить бы нельзя. Как Распутин, он любил сниматься. Любопытна его фотография в женском платье, в кругу поклонниц.

Да и Варнава — удешевленное издание Распутина и Щетинина. Он только сразу признал себя «младшим» и стал под покровительство Распутина (всегда ему тайно завидовал, впрочем). Питирим, последний царский митрополит, того же типа, хотя, связанный «саном», пошел по своим рельсам, размаха того не мог иметь и даже на оргии распутинские посылал только своего секретаря.

Я беру первых попавшихся из прошедших на моих глазах; можно бы вспомнить и других. А что будет, если мы заглянем повнимательнее в прошлое,— в историю?

5

ЦАРЬ И ЦАРИЦА

Да, Распутин как личность — ничтожен и зауряден. Лишь как тип — он глубоко интересен, и мне много еще придется о нем говорить. Аня — ясна, как стеклышко; царица сложнее, хотя ограниченность ее несомненна. Зато сочетание этих трех во времени и пространстве — почти грандиозно. Они вместе написали страницу русской истории, которая не скоро забудется.

А царь? Не покажется ли странным, что я ни слова не говорю о царе?

Пора сказать о нем, хотя это очень трудно. Потому трудно, что царя — не было. Отсутствие царя при его как бы существовании — тоже вещь сама по себе очень страшная. И царица, и слуга ее верная, и «старец» Гришка все-таки были, «царя» же не было окончательно и бесповоротно. Николай Александрович Романов, человек — чуть-чуть был; бледная тень, и даже в приятных очертаниях. Его супружески любила данная ему жена; может быть, дети были к нему привязаны. Но уже марево — обожание стеклоглазой Ани, которая думала, что обожает «царя», бледную же тень человека она вовсе не различала.

Да и трудно было различать. Оттого трудно и любить. Оттого с удивляющей легкостью ушли от него почти все, едва было объявлено, что «царя нет». Царя нет, от Николая Романова ушли, как от пустого места.

Что нет царя и что едва есть человек — муж, царица бессознательно, чувственно, кошмарно подозревала. В этом было ее напряженное страдание. Отдать отчет она себе, конечно, не могла, робкая и неумелая в размышлении, упрямая в том малом, чему ее научили. Но все время, с изумительной непрерывностью, ищет она увидеть, ощутить, что царь есть, есть, есть, настоящий царь по ее понятию, настоящий человек по ее любви. Она и сыном («наследником») дорожит не только как сыном, а как одним из воплощений царского бытия. Цепляется за «наследника», почти смешивает их обоих в слепом надрыве и, не разбираясь, бросается вместе с ними,— куда же еще? К Богу, конечно. Уж Бог-то не может не помочь и ее правду не поддержать,— ведь это Его, Божья правда!

Но царица материалистка. В области, которую она называет «религиозной» и «духовной»,— ей нужно осяза-

тельное, видимое, телесное, человеческое. Ей необходим Распутин: без него ей не на что ноги поставить, неоткуда делать свои понятные земные дела. Ей для них нужна постоянная Божья санкция, словесная, слышимая.

Распутин ей необходим для всех больших и маленьких, но определенных чудес — начиная от семейных удач до выздоровления наследника и превращения Ники в Петра Великого, в полной своей явной славе.

И, немужественная, робкая, даже трусливая по природе,— она делается безоглядно самонадеянной, уверившись, что за ней стоит «высшая сила», знаков от которой она жадно ищет и всегда находит: это сны, видения, темные и как бы исполняющиеся пророчества... Распутина. Гребешки, бутылочки, яблоки, иконки — его же, от него же. Все — вещественное, несомненное, видимое, как он. Он делает для нее «невидимое видимым»; сделает и «желаемое и ожидаемое» — настоящим...

Распутин ей необходим.

6

АНИНЫ «МЕМУАРЫ»

Аня зашла к нам на минуточку по делу. Это было между двумя ее арестами: еще не все успели у нее отобрать. Остались фотографии — целые громадные альбомы. И она пришла посоветоваться, где бы их сохранить от следующего обыска.

Как всегда, смотрит ясно хрустальными — стеклянными глазами; по бабьей привычке прибедняется: «Что ж, мол, ведь я простая глупая женщина. Я по воле Божьей... Как Богу угодно...»

Но вдруг, говоря о фотографиях, по-новому оживилась. Ведь все снимки ее путешествий... с государыней и государем. Много ее собственных. Есть снимки очень редкие, на «Штандарте»...

Это в первый раз она говорит о бывшем, о царской семье. Увлеклась воспоминаниями. Как все они мирно, скромно и беззаботно жили до войны! Гуляли, читали, чай пили, потом опять гуляли... Императрица любила рисовать, занималась рукодельем... Государь делал большие прогулки...

Слушаю этот невинный рассказ, немножко страшный,— какая, подумаешь, идиллия! и опять мне не хо-

чется, чтобы кто-нибудь спросил ее о позднейшем, о войне, о Распутине. Жалко. Будет лгать, метаться, вывертываться...

Мне и теперь жалко, что ее убедили написать и выпустить какие-то «воспоминания».

Тем же детским или бабьим говорком рассказывает она и о страданиях после революции, и о прежнем житье, и прогулках на «Штандарте». Но вот надо — тут уж надо, ничего не поделаешь! — сказать о войне, о Распутине; — она долго, трогательно крепится, потом бросается в ложь, как в воду. Хитрости ее не очень хитры, все тот же незамысловатый прием,— под прикрытием явно нелепой сплетни — выдать за ложь и заведомую правду. Путает, мечется... Кому это нужно? Так же не нужно, как не нужны были допросы, держанья в тюрьмах, следствия.

Все, что она могла сделать страшного и непоправимого, она уже сделала. Вернее — оно уже сделалось, прошло *через* нее, кончилось. Теперь она — пустота в пустоте. И невинно нема, никакой правды «открыть» не может, ибо ее не знает.

Анина ложь правды не сокрушит, конечно, но порою оседает на правде, как пыль. И мне придется кое-где обращаться к «воспоминаниям», чтобы стереть эту пыль.

7

МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК

Война ошеломила царицу; но скоро она оправилась. Война входила в круг ее понятий, имела, как возможность, свое место. Кроме того, царица относилась к войне, в первую голову, как к делу семейному. Нам трудно понять, а между тем это естественно. Ведь воюют между собою все «Джорджи», «Вильямы», «Ники». Война — дело Ники, и победа над Вильямом будет его победой, его славой.

Царица не забывает о «России»; о России, для этого случая, есть все готовые слова, как есть и предписания, что следует делать главным заинтересованным лицам: Нике и ей самой.

Ей, царице, «матери России» (и наследника), нужно, прежде всего, стать «утешительницей», ухаживать за ранеными, служить «царскому воинству»; она принимается за дело без промедления. Создает лазареты, одевает-

ся сама и одевает молоденьких дочерей сестрами милосердия. Что за беда, что в Царскосельском лазарете — главным хирургом г-жа Гедройц, врач малосведущий и женщина малосовестная. «Она любит *нас*»,— остальное приложится.

Аня, конечно, тоже в лазарете, тоже перевязывает. Но царица, решив исполнить какой-нибудь «долг», уже не оставляет его, не устает. Аня — другая; ей, естественно, надоели беспросветные лазареты; тут нет еще никакой вины, она не «царица». Но царица беспощадна: «Вначале каждый день просила операций, а теперь они ей надоедают. Постоянно уходит. Небрежно перевязывает...» «Хотела иметь крест, об этом и хлопотала. Теперь получила, и интерес упал».

Долга своего в деле войны царица не ограничивает, однако, вот этой работой, ранеными, лазаретами. Именно потому, что война — дело личное, близкое, семейное, она обязана действенно вмешаться в него, бороться рядом с Ники не только против «Вильяма», но и против других его врагов — всех, кто может отнять у него славу победы. Например, великий князь Николай Николаевич («Николаша», как она его называет). Ники добр и прост, не видит зла, но она-то, царица, видит. Ведь ей это открывает тот, кто все видит, все знает — Бог (через Распутина). Ники должен взять свое дело в свои руки, должен сделать его сам, должен быть царем, должен быть, быть, быть!

Распутин, выздоровев от раны, поспешил приехать (в сентябре). Наследник опять болен, но царица не особенно встревожена: «Он скоро поправится теперь, раз что Друг наш его видел». (Распутин везде называется «Нашим Другом», с большой буквы.)

Как относился к Распутину сам Николай II? Может быть, недурно, а может быть, равнодушно. Никто не знал, да и не жаждал знать. Никто и не узнает никогда. Николай II недаром был завязан в молчание, точно в платок. Так, в молчании, и отошел к прошлому. Ни одного слова от него не осталось; те, что читал он по бумажке на приемах — забылись.

Пожалуй, и сама царица не знала хорошенько его отношения к Распутину. Просто предпочла уверить себя, что они оба относятся к нему одинаково. Если Ники еще не всегда понимает, что Распутин — «наше общее спасение»,— она поможет ему понять это, заставит понять — все.

«Друг счастлив за тебя, что ты поехал (в Ставку), и был так рад видеть тебя вчера»,— пишет она 20-го сентября. «Он любит тебя ревниво и не выносит, чтобы Николаша играл какую-нибудь роль».

Видел царя вчера, царицу увидит сегодня...

Аня, в своих записках, вертится: вот сколько неправды говорили. Например, говорили, что Распутин *«постоянно»* бывает у их величеств. А я могу засвидетельствовать, что он бывал во Дворце очень редко. Во Дворце есть охрана, велись записи (тут долго и подробно об охране), можно проследить по записям, говорю ли я правду.

Можно бы, но не стоит: она говорит правду; но этой формальной правдой старается прикрыть существенную ложь. Дело ведь не в том, где виделся постоянно Распутин с царицей и царем, а в том, что он постоянно с ними виделся. Эту правду — свиданий царицы с Распутиным по два, по три раза в неделю, а с царем всякий раз, когда он приезжал из Ставки, можно проследить по не менее верным, чем охранные, записям самой царицы.

Свиданья происходили не во дворце, а в «маленьком домике» — у Ани. О них она молчит. О «домике» упоминает вскользь, «я там жила одна». Между тем этот «маленький домик» вблизи Царскосельского Дворца должен быть отмечен историей. Там писался четвертый акт русской трагедии. Там заседало последнее самодержавное правительство.

Главная работа царицы в первые месяцы войны — это укрепление веры Ники в Распутина, утверждение полной связи между ними. Это фундамент, на котором она будет строить. Цель ее ясна, план постройки несложен. Надо найти и отобрать людей верных, преданных и любящих Ники и ее, царя и царицу, и дозволить им помогать Ники в его победе не только над Вильямом, но также и над всеми остальными людьми, далекими, чужими и родными, но неверными, непреданными и нелюбящими,— «врагами». Неясно рисовалось, что есть «народ» вообще, «войско» вообще; какое-то необходимое, подданное «оно». Но не о нем речь, оно вне игры, вне борьбы, которая происходит здесь, в Царском, в этой самой комнате, где царица принимает «старика», пишет письма. Все решается здесь — и в Маленьком Домике.

Как, однако, находить нужных, верных людей, как

их узнавать? Это царицу не заботит. Она верит себе и указанью свыше, которое ей всегда будет дано — через Распутина. Еще нужно, конечно, чтобы Ники вел себя, как царь. И для этого есть — ее помощь, во-первых, Божья, во-вторых (Распутин).

Вот и вся «политика» царицы. Другой у нее никакой не было.

Зато работает она не покладая рук. Начинает исподволь, потихоньку. Да в первый год и не успела приноровиться, еще не вошла «в войну». Ее еще занимает старая, мирная, домашняя жизнь, отвлекают семейные, неважные сплетни, заботит здоровье наследника, сердит Анино настроение и случайный Анин флирт... Но первое дело уже намечено и ведется систематически: смещение «Николаши». Во-первых, если царь — глава всей России! — не глава войск,— он еще не совсем царь. Во-вторых,— «Николаша» враг (враг Друга). Ники должен понять, что отставка Н. Н.— воля Божья (которая открывается через Распутина).

8

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

— Вы знаете, «Аня» так серьезно ранена в царскосельском поезде, что вряд ли выживет.

— Выживет! И, в конце концов, ее просто жалко. Чем она лично виновата в этом царском скандале? Обожает Гришку? Да мало ли баб его обожает! Какая-то роковая она, это правда, но вины ее тут нету.

Аня выжила, несмотря на всю небрежную жестокость, с которой была ей подана первая помощь. Невежественная г-жа Гедройц весьма удачно оставила ее калекой на всю жизнь.

— Распутин это все предсказал! — уверяет Аня. На самом же деле Распутин, когда Аня лежала при смерти и царица спросила, чего ожидать, с необыкновенной ловкостью ответил:

— Если она еще нужна тебе и России — Господь сохранит ее. Если же, напротив, она чем-нибудь может повредить — Бог возьмет ее к себе.

Аня выжила,— ну, значит, «на благо России».

Царица, однако, продолжает с ней быть холодна. Катастрофа не помогла. Уже 22-го января, через неделю приблизительно, пишет: «Сидела у Ани, которая по-

правляется... Она вечно просит, чтобы с ней сидели... Говорит, что похудела, но я нахожу, что ее ноги колоссальны... Лицо розовое... Как она от меня далеко ушла со времени своего гнусного поведения... Отношения наши никогда не могут стать прежними...»

Впрочем, это так, попутно; главное не забывается и тут: «Аня просит тебя, от имени нашего Друга, чтоб ты ни в коем случае не упомянул ни разу имени Главнокомандующего (Николаши) в Манифесте...»

Февраль, март — те же «любящие письма от Друга»... «Аня несносна, ворчит, притворяется, пристает... Мы ее слишком избаловали...» В апреле — Аня уже опять в «маленьком домике». Начинается новая цепь свиданий с «Другом» (дети там постоянно).

Письма — немножко в стиле церковных Соборов: «Нам и Духу Святому изволится...»

«Нашего Друга и меня... одинаково поразило, что Н. (Николай Николаевич) составляет телеграммы, отвечает губернаторам, как ты...» «Ты слишком добр и мягок... Громкий голос и строгий взгляд делают чудеса...»

До конца июня главная кампания против Николая Николаевича ведется в темпе ускоряющемся; но параллельно начались и другие. Распутин почти не выходит из «маленького домика».

«Аня передала Ему сейчас же, что ты телеграфировал. Он благословляет тебя и так доволен...» После одного из свиданий: «Был очень добр, массу о тебе расспрашивал...» Идут военные соображения, не послать ли несколько казачьих полков к Либаве и т. д.,— очевидно, из беседы, ибо прибавляется: «Наш Друг говорит, что немцы страшно хитры».

В июне царица бежит в 10 часов вечера в «маленький домик» с детьми. Бежит «кружным путем», чтобы обмануть охрану. Друг уезжает на родину, но все задуманное не только на мази, оно вполне готово к исполнению. Даже «крестные ходы», приказ о которых должен исходить отнюдь не от Синода, а прямо от царя.

В это свиданье Распутин «говорил много и чудесно».

Он входит во все детали: заботится, чтоб не увеличивали трамвайную плату, чтоб новые денежные знаки были такого, а не иного образца, чтоб был приказ конфетным фабрикам делать снаряды...

«Он сожалеет, что ты не говорил с Ним немного больше обо всем, что ты думаешь и намерен сделать, и о чем предполагаешь говорить с твоими министрами, и о переменах, которые предполагаешь сделать... Он может больше помочь, когда ты откровенно говоришь с Ним».

Оплошность исправляется, и через несколько времени царица благодарит мужа за посланные военные и другие разъяснения, «чтобы я могла сказать нашему Другу...». «Никому не скажу, кроме Него...»

Бедная Аня! Зачем довели ее до того, что она пишет: «Это был простой сибирский странник. У Их Величеств разговоры с ним были всегда только на отвлеченные темы или о здоровье Наследника».

Царь должен приехать домой. Царица ждет его возбужденная, уверенная. Великий князь Н. Н.? «Он знает мою волю и боится моего влияния на тебя, направляемого Григорием...»

Недаром боится, можно сказать.

Царь вернулся 25-го июня — готовый совершенно. Исполнения начинаются: он — во главе армии, вместо Николая Николаевича,— это, конечно, первое; затем все как по нотам — и назначения, и смещения, и крестные ходы... Намечен и роспуск Думы.

И первое письмо после его отъезда, в августе,— ликующее, благодарное, подхлестывающее: «Еще месяцы назад говорил это наш Друг... Бог с тобой, Друг за тебя... Теперь все дело в армии. Ты — Самодержец, ты доказал это!..»

Царица так уверена в себе и в своей (с Распутиным) правоте, и так презирает «врагов» (общество, Думу и т. д.), что не особенно заботится о сокрытии «влияний» Маленького Домика. Царь — Главнокомандующий,— она считала это необыкновенно важным и не раз впоследствии поминала: «Наш Друг вовремя разглядел карты и пришел, чтобы спасти тебя, умолив выгнать Николашу и самому взять командование...» Или: «Не бойся называть имя Гр., говоря с генералом Алексеевым,— благодаря Ему ты остался тверд и год назад взял командование». Рассказывает и Саблину, что это был Распутин, «который заставил нас поверить в безусловную необходимость этого шага».

Только Аня, бедная Аня самозабвенно лепечет: «После падения Варшавы Государь решил бесповоротно, *без всякого давления со стороны Распутина или Государы-*

ни, стать самому во главе армии; это было единственно его личным, непоколебимым желанием и убеждением. Свидетельствую, что Императрица А. Ф. ничуть не толкала его на этот шаг».

Может быть, нам уже больше и не стоит отмечать подобные «свидетельства»?

В обществе принятие царем командования породило чувство болезненного недоумения. Слишком этот акт, при всей совокупности обстоятельств, был «неполитичен». Другие, за ним последовавшие, столь же неполитичные, уже начали вызывать панику. Да что же это такое, наконец? Мало-помалу все поняли, что это такое. Поняли, что у русского правительства — два врага и что войну оно ведет на два фронта: с Германией — и со всем русским обществом.

«Не мешайте нам вместе с вами бороться с немцами за Россию»,— вот была первая просьба общества и Думы к правительству (т. е., в сущности, к царю).— Нет, отвечало правительство, германская война — моя, вы — мои враги, а так как я и Россия — одно, вы враги и России.

И все стало напрасным: и уступки, и блок умеренных с правыми, и воззвания: «Но перед лицом общего, могучего врага внешнего...» Все. В «маленьком домике» у Ани решалась эта вторая война. Что значил Таврический дворец перед «маленьким домиком»? Мог ли он все-таки не принять эту войну? Военные действия были открыты.

Таврический дворец знал, что принять ее — гибель. Не принять — тоже гибель. И он принял ее... наполовину.

Как видим, и это была тоже гибель, третья.

9

ПРОТИВ ЦЕРКВИ

Успех окрылил царицу. Энергия ее удвоилась. Теперь надо спешить с подбором нужных людей, с устранением всех остальных. Много дурных, злых, не любящих ее и Друга... Но с Ним она чувствует себя непобедимой.

Заботы с министрами, а тут еще начинает путаться церковь,— Синод, епископы... С обер-прокурором, «государевым оком» в Синоде — была больш возня.

Смещения ненавистного Самарина (честного москвича, довольно популярного в умеренно либеральных кругах) царица легко достигла, но пока добралась до последнего ничтожества, Раева («он обожает нашего Друга»),— сколько хлопот, примериваний, кратких назначений и выгонов. Вообще с церковью (она думает, что с Синодом, с епископами) борьба неустанная, кропотливая. Сибирский монах Варнава, прожженный мужичонка распутинского типа, сразу отдал себя в распоряжение «Друга» и затем, ничего уже не боясь, выступил против Синода. Самовольно открыл на родине Распутина мощи нового святого и потребовал его канонизации. Ввиду такой наглости (Варнава, почти неграмотный и грубый, вел себя в Синоде непозволительно) началась прескверная и прескандальная история. Царица вне себя от бешенства. Не царь ли глава православной церкви? «Крикни на них, душка, на этих животных (епископов). Они не смеют... Твой приезд сюда должен быть карательной экспедицией...»

Варнаву она принимает и даже ласкательно зовет «Сусликом».

Кончилось это весьма позорно... для Синода. Половина епископов была выгнана, митрополитом назначен Питирим, избранник Распутина (сколько твердила о нем царица, с каким нажимом!). Варнава получил сан архиепископа и награжден крестом, открытый им «святой» признан. «Враги»,— на этот раз представители Церкви,— были еще раз побеждены царицей и ее Другом.

Впрочем, церковные дела не заставляют царицу забывать о делах более важных: необходимо выбрать министра внутренних дел.

Что касается «премьера» — о нем подумают после. «Старик» (бывший «серый друг» — Горемыкин) еще сидит, ничего. Но, конечно, стар, и под рукой Распутин ездит на поиски: «Завтра Друг увидит X., а потом я Его повидаю вечером. Он скажет мне, годится ли тот быть преемником Горемыкину...» На другой день царица пишет: «Ну, видела Друга с 5—7 у Ани. Он не может примириться с мыслью об увольнении старика. Думает, что лучше подождать... Называет его премудрым...» Очевидно, испытуемый не сгодился. И Горемыкина пока держат.

10

ГРИШКИНА «БЕЗМЕРНОСТЬ»

Но если Аня так фатально, очевидно и наглядно лжет, лепеча: Распутин не имел влияния на политику... он политикой не занимался... мог бы заниматься, к нему министры ездили, но не занимался... Он только об отвлеченных вещах...— если она лжет и мы видим, что Распутин, кроме дебошей, только и занимался, что «политикой»,— пора спросить себя, какая же у Распутина была политика?

Несложная и незамысловатая политика царицы? Утверждение самодержавия в лице любимого Ники? Но какое дело до Ники Распутину? Не хочет ли он «торжества правды», как ее понимает, не думает ли о России?

Нет, в беспардонной Аниной лжи есть доля страшной правды. Непрерывно занимаясь политикой,— можно сказать, *делая* ее,— Распутин, в сущности, ею не занимался или не ею занимался: о политике он даже первого понятия не имел, и ровно никакой политики у него не было; совсем никакой, даже самой примитивной, царицыной.

Заглянем, чтобы понять, в чем дело, в самое нутро вот такого русского мужика — лесного, земляного Гришки Распутина.

Во-первых,— он невежествен, почти непредставимо и — непоправимо. Во-вторых,— он умен. В соединении получается то, что зовут «мужицким умом»; какая-то гениальная «сметка», особая гибкость и ловкость.

Сметка позволяет Распутину необыкновенно быстро оборачиваться, пронизывать острым взором и схватывать данное, направлять его так и к тому, чего он желает. Но сами желания его до крайности просты, и без всякого подобия «политики». Распутин даже не «честолюбив»: слишком тонкое это для него понятие. Если попытаться выразить в словах, чего, собственно, желал Распутин, то выйдет приблизительно так: «Чтобы жить мне привольно, ну и, конечно, в почете; чтобы никто мне не мог препятствовать, а чтобы я, что захочу, то и делаю. А другие пусть грызут локти, на меня глядя».

Кроме этих: «Чтобы жить *мне*...» — никаких у него желаний не имеется; он и не подозревает, что могут существовать еще какие-то другие. Сами по себе — они обыкновеннейшие из обыкновенных. И мы в Рас-

путине опять ничего не поймем, если не поймем еще одного свойства его, очень важного.

В душе — или в «натуре» — такого русского «странника» каждое из его простых желаний доведено до размеров гомерических и вообще ничем не ограничено. Привольная жизнь? Он ее представляет себе безо́бразно и неопределенно, в каком-то таком виде, что «небу жарко». Почет? Такой уж почет, чтоб неслыханно. А делать, что хочется,— это значит на целый свет размахнуться, в вихрях закрутиться, без препоны, без удержу, и все прочь с дороги!

При такой непомерности волевого устремления самое простое желание принимает образ чудовищный. Понятие о *мере* является лишь с началом какой-нибудь культурности. Но Распутин — первобытный человек из вековой первобытной среды.

Как многие, ему подобные,— из более одаренных — он с юности томится тяжелыми страстями своих желаний; бросается в «божественность» (это одно — доступно, одно — рядом: и монастыри, и странники, и «святость»). Конечно, и тут он безмерен в размахе; тотчас стихия завивает его — и он тычется в разгул, в похабство — знай наших, все прочь с дороги!

Но «мужицкий ум» — сметка — не дремлет. Настоящей сладкой, почетной, вольной жизни нету. И чуть ему «пофартило» — он маху не дал. Зацепился — и поехал — поплыл по молочной реке к своим кисельным берегам.

Похоть, тщеславие, страх — обычная человеческая триада, первоначальный двигатель воли; но время кует ее на своей наковальне, а молот — сознание и то, что мы называем культурой. У Распутина — *похоть, тщеславие* и *страх* — в девственном, нетронутом виде и в русской, острой безмерности, бескрайности. И только они. Ничего другого ни в нем, ни у него не было. Как же и зачем станем мы говорить о какой-то «распутинской политике»?

11

БАХВАЛ И НЕМЦЫ

Попав на «кисельные берега», Распутин смекнул остро, чем держится и что́ ценится. С гениальным тактом юродствует, темнит свои прорицания, подчеркивает

«народную», «мужичью» святость. Да особой хитрости, тонкости и не требовалось. Среда, в которую он попал, была ведь тоже по-своему некультурна и невежественна. Шелковая русская рубашка Распутина — это для нее убедительно, умилительно, а попробуй он надеть дешевенький пиджак, заговори он человечьим языком (отлично знал его, понатершись), назови кого-нибудь на «вы», а царя и царицу не «папой с мамой» — еще неизвестно, чем бы обернулось.

Осторожный, опасливый, он не лез туда, где мог сорваться. Бывало, конечно,— при его-то безудержности — но он быстро поправлялся. В начале войны ошибся: запророчествовал более определенно, заехал в «политику» и «географию»: будет, мол, победа, как подплывут к городу Вене русские корабли...

Главная «политическая» роль — указывать, подыскивать, ставить «верных» людей — сразу пришлась ему по душе. Нехитро, почетно и выгодно. Он и выбирает таких, которые не только не сковырнут его, не лишат приволья и почета, но еще всячески стараться для него будут из одной благодарности за такое место.

Распутин, как и царица, уверен, что все совершается вот тут, в этом месте, около царей. Подальше, пошире? Там стены тумана, непоправимое невежество. А он и не любопытен. Схватывает остро лишь то, что, думает он, может коснуться его самого. Через полгода войны он, конечно, не сказал бы, что надо посылать корабли в Вену. Он вот рассуждает о будущей роли Англии и находит благоприятной гибель Китченера... Но об Англии он знает так же мало, как о России, и к обеим одинаково равнодушен.

Войны он не хотел (ни один русский мужик не хочет войны и ненавидит ее из своего угла). Но раз война — он обязательно хочет победы русского царя над Вильгельмом (царица по-своему, Распутин по-своему, по-мужицки, но оба смотрят на войну как на борьбу царей). Его прямой интерес, чтобы победил царь, около которого ему привольно и почетно живется. Все россказни о немецких симпатиях Распутина (не говорю уж царицы) — совершенный вздор. Он видел в победе прямое благо для себя,— как же не желать ее?

Не забудем, однако: в Распутине сидит еще и пьяный разгульник и похотник. «Чего захочу — чтоб не было мне никакой препоны...» Пьянство его — русское, гомерическое, с плясом диким и с гиком, непременно со скан-

далом... и с «бабами». Даже из наикультурнейшего русского человека выскакивает, если он пьян, Гришкин дебош и скандал. Что же после этого Гришка, в первобытности своей и безмерности?

Пил он действительно без меры. С ног не скоро валился, очень был крепок. А потому говорили, что он пьет — не пьянея. Как бы не так: если он пьет — он пьян до дна. Все — до дна: и гик, и крик, и пляс, и гомерическое бахвальство. В эти минуты расчет и хитрая сметливость отступают от него. Ему действительно «море по колено». Ему надо уж не удивлять — поражать на месте.

Грубые и грязные сплетни о его отношениях к царице — порождение самого Распутина. В известный момент он был способен на все. Неосторожное или намеренно ловкое слово собутыльника — и Распутин выхватывает из кармана кучу смятых бумажек — письма царицы. Не выпускает из рук, но махает в воздухе ими, тычет пальцем, хрипит: «а? что? Не писала этого? Да она у меня... Да я ее...»

Ловкому, холодному человеку ничего не стоило обойти его в эти минуты.

И меня не удивляет такой факт, не всем, может быть, известный, но достоверный: в Петербурге имелась очень серьезная немецкая организация — из русских состоящая. Люди достаточно тонкие, чтобы употребить на пользу и Распутина. Они ничего у него не просили; это были только верные товарищи и участники грандиозно безобразных его кутежей. Сами даже задавали сутками длящиеся кутежи, иногда прямо «в честь» Распутина.

И «собутыльники» эти уж, конечно, умели узнавать от Распутина все, что знал он. Треть его речей была чепухой, треть бахвальством, но треть, случалось, шла на пользу: в последние годы царица не устает расспрашивать царя о военных (секретных) планах и намерениях «для нашего Друга, который может помочь», не устает повторять: «Говори с Ним откровеннее обо всем».

И вот сам Распутин постепенно как будто втягивается в военные дела. То советует «наступать около Либавы», то настойчиво требует «приказать Брусилову немедля остановить южное наступление». Детальные военные письма царицы с названиями полков для защиты тыла, левого фланга и т. д.— даже странны своей определенностью. Она, конечно, повторяет чужие слова и, конечно, Распутина. Но и для Распутина они странны.

Уж не вложены ли в уши пьяного бахвала где-нибудь на «Вилле Роде» под утро? Не внушены ли с незаметной ловкостью грозному внушителю?

Слишком точно знали немцы наши «секретные» планы; слишком последовательны были наши военные неудачи. Кое-что можно отнести на долю и Гришкиной бахвальной, пьяной безмерности. Утвердим, однако: он никогда сознательно «своих царей» не предавал. Это было не в его интересах.

Не предавал и не продавал. Немцы недурные психологи в этих делах; думаю, они и не делали ему прямых денежных предложений, хотя знали, что Распутину деньги нужны и что он берет, по пословице, «с живого и с мертвого».

Брал он так и с такой оглаской, что даже министры струсили; пошушукались с охранным отделением и решили выдавать ему определенное ежемесячное содержание, в два срока, тайным порядком, конечно, из секретных сумм. История эта известна. Гришка явился, денежки принял, но толку не вышло никакого: не сократил гомерического побора. Да и что ему жалкие охранные тысчонки? Слизнуть. Поклонницы баловали его невероятно, одевали в шелк и бархат, квартиру заваливали цветами, конфетами и всяким добром посущественнее; с богатеньких просителей Распутин брал и натурой: шубой или чайным сервизом. Но все это было не то: требовались деньги. И не потому, что он жаден к деньгам: он жаден к их швырянью. Тоже русская черта: попойка — не попойка, море разливанное, денег не жалеть, не считать; захочу — псу под хвост суну, захочу — все себе загребу.

Для этого денег нужно было много; и не диво, что Гришка брал, не обинуясь.

Но никогда не брал у царицы, держал себя крепко. Скупая, она и не дала бы, пожалуй. Однако вряд ли взял бы, если б и дала. Ему нужно было слыть «там» — бессребреником. И слыл. Не опасался, что дойдут слухи до Царского: возьмут за «сплетню», а то и так: богатый дал — а он бедному отдал.

Недаром Аня «вспоминает»: «Сколько он добра делал! У него на приемах бывала всякая беднота, и он всем помогал».

Ане-то, положим, ведома эта «беднота», и она рассказывает о Распутине здесь с обычной своей правдивостью. Но царица верила, кажется, искренно.

12

ВЫБОРЫ МИНИСТРОВ

Жизнь в Царском несколько изменилась, когда царь стал главнокомандующим. Он все время теперь в Ставке. Еще меньше существует.

У царицы по горло хлопот. Ее хозяйство расширяется. Мальчика она упорно держит в Ставке, у отца. Болен? Поправится. Главное — пусть учится быть царем.

Общими усилиями (Аня действует, как никогда) найден, наконец, министр внутренних дел — Хвостов.

Начал Хвостов с Распутина, конечно. Пригласил его в Нижний (он еще нижегородский губернатор) и такие закатил ему пиры, что царица спешит: «Наш Друг телеграфировал, что Хвостов был бы хорош» министром.

Затем, с неразлучным Андрониковым, Хвостов переходит на Аню.

Андроников — толстый господин без определенных занятий, всем известный авантюрист. Но известное всем — никогда не известно при дворе. Да если б и узналось, как смотрят на него «все»? «Они» осуждают — значит, хороший человек. Враг «им» — друг нам.

Андроников и Хвостов очаровали Аню. И вот царица начинает на скорую руку (дел так много!) обрабатывать царя.

«Хвостов опять был у Ани и умолял, чтобы я его приняла, что я и сделаю сегодня. Некоторые боятся, что я вмешиваюсь в государственные дела, а другие считают, что я должна помочь,— Андроников, Хвостов, Варнава...»

«Ну, душка, я беседовала с «хвостом» (фамильярно-ласкательные клички — слабость царицы) и полна лучших впечатлений. Я несколько беспокоилась, так как Аня способна увлекаться, но, переговорив с ним, нашла, что работать с таким человеком — удовольствие. Ясная голова. Энергичен. Знает крестьян, народ. Будет охранять нашего Друга». «У него колоссальное тело, по словам Ани, но душа его возвышенна и чиста». Вечером польщенная приписка: «Толстый Андроников телеграфировал Ане, что Хвостов очень доволен моей беседой, и передавал другие любезности».

Андроников, Хвостов, Белецкий... Аня принимает их всех в Маленьком Домике и очень горда, что тоже «помогает». С непривычки трусит чего-то. Но — «Андроников дал Ане честное слово, что никто не будет знать,

что Хвостов у нее бывает». «Назначь его скорее, душка!»

В первый же приезд царя все желания Маленького Домика были исполнены. Хвостов и Белецкий назначены. Остальных, намеченных царицей, убрали.

Хвостов и после назначения не забывает Аню, считает, что очарование стоит поддерживать. Но царица уже ворчит: «Хвостов и Белецкий обедают у Ани, я нахожу, это жаль,— точно она хотела играть политическую роль, а она так тщеславна, самоуверенна, недостаточно осторожна, но они просили принять, верно им надо опять что-нибудь передать, а наш Друг всегда желал, чтобы она жила для таких вещей». (Неблагодарная Аня! Забыла и очарование свое, и все любезности, и уверяет теперь: «Хвостов производил неприятное впечатление...»)

Эта печальная зима с ее систематическими военными неудачами (15—16) — зима сугубо безобразных систематических кутежей Распутина. Скандал разрастался. Аня, может быть, знала, вздыхала, негодуя на «сплетни», но царица не знала ничего: и не слушала, да и некогда ей: принимает «своих» министров, ездит в Верховный Совет — «Как хорошо, что ты дал мне Верховный Совет!» — и ходит вечером к Ане, где Друг бывает... трезвый, серьезный, настойчивый: «Питирима — сюда. Друг просит тебя быть твердым, так как это единственный подходящий человек». Кроме того, Друг опять предлагает много вопросов о планах царя насчет Румынии, о рескриптах, о Думе, когда ее сзывать. «Он находит, что если будет какая-нибудь победа, то Думу совсем не надо сзывать...»

А вот у Друга — «ночное виденье. Просит *приказать* начать наступление возле Риги. Просит тебя серьезно...».

Это в ноябре-то наступать, потому что у Распутина ночное виденье!

Но если начинают наступление без него — он сердится: «Начали движение, не спросивши Его,— пишет царица.— Он всегда обдумывает, когда придет хороший момент для наступления».

Опять приезжает царь. Молча, как манекен, подписывает все, что от него требуют, назначает, смещает,— уехал.

Только что назначенный митрополит Питирим (он распутинского типа) добро помнит. Дает в честь Распутина завтрак, окружает его подобострастным внима-

нием — «привольная жизнь в почете!». Ане занездоровилось — митрополит сидит у ее постели в Маленьком Домике. «Добрый человек!»

В Петербурге жизнь шла странная,— стыдная. Все чувствовали, что наваливается что-то на плечи и тяжелеет. Думу созывали редко, с вечными отсрочками. Когда созовут, наконец,— думское колесо вертится в пустоте. Дела делаются там, за стенами маленького Аниного домика. И немножко на Троицкой, где Гришка принимает министров, облеченный в белую хламиду. Наиболее усердные целуют полу этой хламиды. Губы не отвалятся, а уж все равно,— раз Гришка, то почему не в хламиде? А раз в хламиде — почему и не приложиться к ней? Кто сказал «А» — почему ему не дойти и до «Z»?

Все же хламида — знак, что Распутин и в трезвое время, дома, не совсем нынче выходит из перегара. Ему хочется все большего, все большего «почета». Зудит что-нибудь выдумать самому. Хламиду выдумал. Пусть видят и чувствуют.

На Хвостова мы все, зная его, смотрели сначала с презрительным равнодушием. Потом стали ждать какого-нибудь скандального выверта. Уж очень пошла сильная чепуха. Филеры Хвостова следили за филерами, приставленными к Распутину, последним был отдан приказ следить за хвостовскими. Кончилось тем, что все столкнулись лбами, потом подружились, потом все так перепутались, что ни один уже не знал хорошенько, за кем следить.

Но Распутин был покоен. Ночами дебоширил, драл нос и безобразничал вволю, кочуя из одного притона в другой. К утру его привозили замертво из последнего, самого низкосортного — домой. Проспавшись, прочухавшись, умывшись, а то и в баньку съездив, он начинал свой день: министры, дамы, просители, цветы, еще дамы, опять министры, снова дамы... Это, конечно, если его по телефону не требовали в Царское или если Аня самолично за ним не являлась.

В Маленьком Домике — новая горячая работа: выбор премьера. Как ни тянули со слабеющим «стариком» — нет, видно, пора погадать о заместителе.

Распутин останавливается на Штюрмере. Человек пожилой, старцу Горемыкину не будет обидно; известный, почтительный, давно около ходит, богат, а уж как благодарен-то будет...

«Душка, возьми Штюрмера, он настоящий человек. Наш Друг так сказал. Он очень ценит нашего Друга, а это большая вещь...»

С каждым месяцем царь податливее, исполнительнее.

Царица, положим, не скупится на повторения и настояния, но как-то все происходит быстрее. В январе (16 г.) царь приезжает домой и в десять дней, безмолвно, успевает поставить свой штемпель на всех решениях Маленького Домика: «старец» Горемыкин удален, Штюрмер назначен. Тут же, кстати, выгнаны неугодные Питириму епископы («наглые животные!»). Сообщены «конфиденциально» военные планы, в больших подробностях: куда будет послана артиллерия, идет ли гвардия «к югу от Келлера», какие где силы остаются «для защиты левого фланга» и т. д. Сомневаюсь, чтобы осовелый от пьянства Гришка мог все с точностью запомнить; но кое-что, наверно, запомнил. Вскоре он зачем-то стал требовать назначения генерала Иванова. И царица принимается за свой благодарный труд: «Подумай, подумай, подумай о генерале Иванове...» «Что же насчет Иванова? Наш Друг так хочет, чтоб он был назначен...» (Конечно, исполнено.)

Со Штюрмером, новым премьером, «правительство маленького домика» переживает медовый месяц. Штюрмер у царицы с докладами каждый день.

Кто — Штюрмер? Лет 12—15 тому назад он — ярославский губернатор. И тогда уже немолодой, высокий, ширококостный, в белом военном кителе, любезный, гостеприимчивый — производил он скорее приятное впечатление, хотя немножко двойственное. Он видимо хотел показать себя перед «петербургскими писателями» прежде всего культурным человеком. Мягко либеральничал.

Но при этом — подчеркнутое тяготение к церквам, священникам, вообще к «православию». Немецкая фамилия и отдаленное немецкое происхождение видимо мучили его: они мешали, думал он, его карьере. И он старался играть русского коренного аристократа. На стене растреллиевских губернаторских покоев висели под стеклом, напоказ, масонские знаки «прадеда». В драгоценном альбоме автографов — «фамильном» — имелись записи русских царей и даже самой Екатерины...

«Немецкая тень» преследовала его воображение; от-

сюда и русофильство сугубое, и подчеркнутое православное благочестие.

Нам как раз случилось присутствовать при приеме знаменитого тогда о. Иоанна Кронштадтского (его впоследствии называли «Распутиным Александра III», но это неверно и несправедливо: у о. Иоанна, при всей бессознательности и грубоватости, было другое ядро; в голубых, рассеянных глазах светилась наивная, детская праведность).

Мы ездили со Штюрмером и о. Иоанном по всем домам, куда о. Иоанна звали. Видели человеческие волны, заливающие о. Иоанна. Удивительное зрелище. Но и Штюрмер был любопытен. Какое смирение, какое благоговение! Весь — елей.

На пышных званых обедах своих — он совсем другой. Знающий себе цену сановник. Мягкие, придворные манеры... Но какое окружение! Один Гурлянд, вечный его фаворит, чего стоил. Этого Гурлянда он довлек до своего премьерства и тотчас посадил на тепленькое местечко, уволив 25 лет служившего там человека. Царица и та удивилась.

Мы прозвали его тогда «лукавый царедворец». Он таким и остался, попав в премьеры. И если в конце концов не пришелся, то лишь потому, что безумие этого исключительного Двора даже его захлестнуло. Чтобы приспособиться, мало тонкого или даже грубого лукавства, надо самому быть сумасшедшим.

Штюрмер же все-таки пытался действовать по расчету. Полагал, что если существует, к несчастью, Дума, то разумнее бороться с ней исподволь, а не лезть нахрапом с дубиной. Понимая положение, он заискивает у Распутина и льстит царице, грубо, как ребенку, поддакивая. Но гнет к умеренности, действует с осторожностью. Это грубое лукавство долго спасало его. Не спасло... Запутался и сам махнул рукой. Царица, незадолго до его отставки, в конце 16-го года, замечает: «Он давно не видел нашего Друга — и потерял точку опоры».

13

МАЛЕНЬКИЙ СКАНДАЛ

Но пока — лучше Штюрмера нет, и он «постоянно беседует с Другом».

В самый разгар медового месяца разражается скан-

дал с одним из вернейших избранников: Хвостовым. Этой конфузной и грязной истории я не буду касаться в подробностях. Не то спутавшиеся охранники соединенными силами что-то пронюхали, не то завистливый бывший монах Илиодор донес — словом, открылось, что возлюбленный «Хвост» — заговорщик и подкупает каких-то лиц, чтобы убить Распутина. В этой истории, негласной, конечно, было много комизма. Кто и для чего втравил в нее Хвостова и было ли это серьезно — осталось во мраке неизвестности. Проваливаясь, Хвостов попытался было выставить себя перед общественными кругами «пострадавшим за освобождение России»: он хорошо знал всеобщую к Распутину ненависть. Но и это не удалось. Так шутом он и сошел со сцены, никого особенно не взволновав.

В Царском — другое. Царица и Аня «переживают тяжелые дни». «Я так несчастна,— пишет царица,— что мы с Аней, через Друга, рекомендовали тебе Хвостова...» Она, впрочем, сваливает все на них: «Я только уступила их давлению...» О собственном восторге перед «ясной и возвышенной душой» Хвостова она забыла — может быть, искренно. Потрясение Ани принимает бурные формы: «Она была убийственна со своими телефонами, визитами и историями про нашего Друга, кидала палкой по комнате, хохотала!»

Но все это ничто перед потрясением самого «Друга». Он действительно вне себя, и не от возмущения, не от досады — от страха. Самого обыкновенного, животного страха перед «убивцем», как зовет Хвостова. В бешеной ярости он бросается с кулаками на бедную Аню. Ежеминутно требует ее к себе (сам засел дома, носу не высовывает), если она медлит,— посылает жену, которая тоже делает ей сцены. Даже царица не может скрыть: «В теперешнем своем настроении Он кричит на Аню и так страшно нервничает... Боится уехать, говорит, что Его убьют... ну, мы увидим, это как Бог даст...»

14

«ПРОЩАЙТЕ, РОДНЫЕ...»

Лето 16-го года было прохладное, тихое.

В июньский вечер я стою на балконе нашей квартиры в Петербурге. Балкон во втором этаже, уличные торцы так близко. Наш дом — последний, и направо, за

решеткой, кудрявятся свежие высокие деревья Таврического сада. Чуть виден в зелени широкий купол дворца — это Дума. А налево — как стрела прямая, широкая Сергиевская улица, такая прямая, что конец ее потерян в золотом тумане заката, в небесном сиянии.

Улица пустынна и безмолвна. Но вот как будто далекие, слитые звуки, голоса — песня. Далекие — они приближаются, близятся, вытягиваются, вот совсем близко... и я вижу, как прямо на меня, из переулка, что вьется вдоль решетки, выходят рядами солдаты. Стройные ряды тотчас заворачивают на прямую улицу — туда, к закату. Они идут, идут — но не проходят; они не могут пройти, их слишком много. Каре за каре выступают все новые, огибают угол, наполняют длинную улицу, и не видно уже перерывов между каре — точно широкая, светло-серая змея тянет к заходящему солнцу свои кольца, наливает воздух стонущей песней, все той, опять той же, той же, винтом ввинчивающейся в душу:

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...

Издалека-издалека, от тех первых, что теперь уж едва видны в золотом тумане,— только сверкают над ними какие-то огоньки-точки, зажженные солнцем,— опять несется это —

Прощайте, родные...

Улица, зыблясь, поет —

Прощайте, друзья...

И плачут близкие, ровные волны —

Прощай, дорогая
Невеста моя!

Как расскажешь это? Навстречу пологим лучам, золотым острым мечам, катилось звенящее море людское и в них таяло. Там был конец им всем — невидный,— и к нему все новые и новые шли, в закате пропадали:

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...

Летнее позднее солнце точно остановилось на небе. Я ухожу, запираю балкон, не могу больше. Но и сквозь стекла, сквозь стены просачивается песня — значит, еще идут, идут, идут...

Это война. Это необходимость. Люди текут, идут умирать... за родину? Пусть они думают, что за родину. Или пусть ничего не думают. Потому что вот эти, сейчас проходящие, сейчас поющие, пойдут в огонь — за Гришкину привольную и почетную жизнь. И тогда пойдут, когда ничего не знающему, ни аза не понимающему Гришке взбредет в голову приказать наступление...

Я знаю, что преувеличиваю. Но нельзя уберечься от кошмара в густом воздухе войны — двойной; и вторая, война «маленького сумасшедшего домика» со всей Россией,— горше, пожалуй, первой.

15

ВРАГИ

Можно сказать, что летом 1916 года уже все общественные русские круги были в эту вторую войну вовлечены. Незаметно, один за другим, вовлекались,— от умеренно левых до неумеренно правых. Между «врагами» не делалось различия. Всякое движение пальцем; всякая, самая робкая, попытка принять участие в германской войне — преследовалась и каралась. Земские, городские союзы? «Послать туда «глаза» следить... Тотчас же убрать...» Дума? «Не бойся, только скорее распусти Думу. Государственный Совет? он поступает безумно...» «Как бы я хотела отхлестать и выгнать министров. Раздави всех».

Эти «все», которых рекомендовалось «раздавить», отлично угрозу чувствовали. Кошмар Маленького Домика висел тяжело. Кто стоял дальше и политикой не занимался — винили во всем Гришку. И ненавидели его жестоко.

Но, может быть, отсюда и пошла легенда о Гришкиной «силе» — необыкновенной, хотя и злой,— о его «замечательности». Ведь трудно и стыдно признаться, даже себе, что вот пришел ледащий, заурядный мужичонка, сел на спину тьме-тьмущей народу, поехал, и его покорно везут.

Великие князья, родственники царя,— люди, за немногими исключениями, самые дюжинные, выросшие в

малокультурной, невежественной среде гвардейской военщины. Привычно праздные, невоспитанные, склонные к кутежам. В зрелые годы иной становился хорошим семьянином, что не мешало ему оставаться таким же бездельником, с таким же узким кругозором.

На распутинский скандал они смотрели прежде всего как на семейный позор. Но чувствовали этот позор весьма сильно, ведь семья-то «царская»! Маленький Домик не замедлил открыть и по ним военные действия. Николай Николаевич пал первой жертвой, а когда пошли уговариванья, увещанья, семейные советы, письма с просьбами спасти «семейную честь», удалить Гришку,— Маленький Домик поспешил открыть военные действия и по другим родственникам. Начались высылки...

16

ПОСЛЕДНИЙ ИЗБРАННИК И ПОСЛЕДНИЕ БИТВЫ

Для ускорения работы царица ездит в Ставку и сама. Аня сначала остается. Едет в Евпаторию, потом на родину «Друга», с ним и его поклонницами, к мощам нового «святого», открытого Варнавой.

В Евпатории она познакомилась с караимом Гаханом, которого потом царица называет полупрезрительно ее «предметом». Аня даже представляла его царице, причем караим этот с первого слова такой понес вздор о заговоре английского посланника Бьюкенена на жизнь Распутина, что надо быть Аней и русской императрицей, чтобы слушать и верить.

Скоро «Друг» потребовал, чтобы Аня тоже ездила в Ставку. Едут. Не раз и не два. Аня пишет: «Императрица не сознавала, какой нежеланной гостьей была там... Иностранные офицеры во всеуслышание делали замечания: вот она опять приехала к мужу передать последние приказания Распутина». «Свита ненавидела ее приезды; это обозначало перемену в правительстве...»

Даже не веришь, что это Аня такую святую правду написала. Приказания Распутина там быстро исполнялись, а он подваливал новые, телеграммами. В одно из пребываний царицы в Ставке было их послано десять, самых длинных.

Но время не терпит, ведь нужен же министр внутренних дел.

Григорий не забыл Хвостова. Он не верит больше ни-

каким «светлым головам». Ему давай такого, «чтоб был попростее». То есть, говоря обыкновенным языком,— с идиотизмом. Наконец находится такой: Протопопов. Не доверяя больше и Ане, Распутин испытывает его сам; главным образом — таская по своим оргиям, даже московским. Ничего, «ладный»...

В сентябре — свиданье царицы с Протопоповым, при Друге, в Маленьком Домике. Мгновенный энергичный нажим, еще один визит в Ставку — и Протопопов министр. И такой «плотный» министр, каким не был ни один до него. Он (и царь) — власть исполнительная, покорная власти законодательной — Маленькому Домику.

Некий серьезный общественный деятель, вполне разумный, на моих глазах начал истерически хохотать, узнав о назначении Протопопова. А когда нам показали стенограмму «чашки чая» — первого свиданья министра с думцами и политиками,— мы все чуть не впали в такую же истерику неудержимого хохота.

— Да это нарочно! Кто это выдумал?

— Не выдумал, а официозная стенограмма...

Протопопова периодами, на 2, на 3 месяца в году помещали в лечебницу; выйдя, он не сразу опоминался, ходил растерянный, рассеянный, то глупо-предупредительный, то наивно-дерзкий. Его идиотизм был хотя и маниакального свойства, но не в той мере, чтобы при неусыпном бдении нельзя было этого министра «направлять».

Царица и Распутин оценили счастливую находку. Об Ане и говорить нечего. Аня хоть и пишет теперь: «Протопопов мне лично казался слабохарактерным»,— но он ей, в сущности,— как брат, как равный по своей «простоте» и покорности. В Маленьком Домике он ей сплетничает насчет «врагов»: Родзянки, Гучкова, Трепова... Оба, раскрыв рты, невинно смеются... Но время не ждет, царица серьезна: «Наш Друг и Калинин (так почему-то прозвали они дорогую находку) *умоляют* тебя закрыть Думу... Я бы не писала, если б не боялась за твою мягкую доброту, готовую сдаться, когда я, Аня и Друг не поддерживают тебя. Дурные ненавидят наше влияние, а оно на благо. Поскорее распусти Думу. Помни о снах нашего Друга. Тебе никого, кроме Протопопова, принимать не нужно... Брусилов — дурак, запрети ему...»

Как будто чувствуя сдвигающиеся стены ненависти (Распутин — ничего не чувствует, покоен с Протопо-

повым, предается разгулу, бахвальству, ласкам и баловству дам),— царица начинает впадать в напряжение, близкое к безумию.

Она уже почти не пишет о детях, о доме. О родственниках — только с бранью и с требованиями: «Сошли, вышли, прекрати... ведь ты царь!» О мальчике почти не вспоминает: он в Ставке непрерывно, и какие резоны ни представляет ей француз-воспитатель Жальяр, доказывая, что ребенку это вредно физически и морально,— не слышит. Для нее муж и сын уже странно слиты в одном понятии «царя»; около царя «наследник», как бы утверждающий его бытие. Не разбирается, конечно, и сама в этом кошмаре, но твердит: «С тобой Бэби... Ради Бэби, который тебя должен укреплять, будь самодержцем!»

Распутин для нее давно слился с Христом. «Как Христа, его гонят книжники и фарисеи...» Видятся у Ани почти ежедневно. Днем министры, главным образом Протопопов, вечером — Друг и его (Божьи!) указанья.

Кроме военных дел (они разрабатываются очень подробно) — есть важный внутренний вопрос — продовольственный. Друг настаивает — со Ставкой сноситься некогда — и царица берет решение на себя:

«Прости мне, что я это сделала; но Друг сказал, что это безусловно необходимо». И она посылает в Ставку на подпись срочную бумагу, передающую продовольствие в руки Протопопова,— «прежде, чем соберется Дума. Мне пришлось взять этот шаг на себя, так как Гр. говорит, что тогда Протопопов покончит со всеми *Союзами* и таким образом спасет Россию».

Дума, союзы... и далее открытое признание: «*Мы с ними со всеми в войне* и должны быть тверды».

Аня стерлась: она лишь «служба связи» между царицей и Другом. Каждое утро летает к нему от царицы — с портфелем. Но и она чувствует, что атмосфера сгущается, лепечет что-то о заговоре в Ставке, о том, что царицу хотят «заключить в монастырь...». Распутин спокоен. Ему важно одно: чтобы остался Протопопов: «тогда все будет хорошо».

А «подлые рабы-враги», Дума и все остальные, вплоть до некоторых еще не успевших полететь министров, возроптали против бедного «Калинина». До такой дошли «наглости», что стали требовать удаления министра с идиотизмом, министра, у которого оказалось «все в руках».

И письма царицы делаются все бешенее. В них теперь только одно: «Держи, держи Протопопова. Не меняй, не меняй Протопопова». Без доказательств, уговоров, просьб: голое повторенье, по пяти—семи раз в день, одних и тех же слов: молоток по черепу.

Тринадцатого ноября, не стерпев, она опять бросилась, с Аней, в Ставку. Туда, ежедневно, телеграммы Распутина. Темно, то угрозно, то ласкательно, с нарочитым косноязычием, и все о том же: держать «Калинина». «Моя порука этот самый Калинин, а вы его маленько кашей покормите. Дай власть одному, чтобы работал разумом Новый».

Калинина держат, но «рабы» продолжают свои протесты, а царица свой бешеный нажим: «Не меняй, не меняй... Хвати кулаком по столу, не уступай. Царь правит, а не Дума!»

Лишь после краткого визита царя в декабре — царица отдыхает: «Не напрасно мы страдали. Ты выдержал борьбу за Протопопова. Будь тверд, не сдавайся. Я страдаю за тебя, как за нежного ребенка (мальчик опять с ним в Ставке). Ты нуждаешься в руководстве, но Посланец Божий говорит тебе, что надо делать».

Насчет Протопопова царица успокоилась, но бешенство ее тем сильнее обращено на «врагов».

«Наш Друг просил же тебя закрыть Думу, Аня и я тебе об этом писали. Будь Императором. Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом... Львова — в Сибирь. Гучкова, Милюкова, Поливанова — тоже в Сибирь...»

Накануне рокового для нее дня она еще пишет: «Почему Милюков на свободе? Почему у нас рамольная тряпка в должности министра Двора?.. Не мешкай, милый, поверь советам нашего Друга и Протопопова...»

Эти советы — репрессии. Что ж, война так война!

Но вот короткое, взволнованное последнее письмо: «Я не верю, я не могу верить, что Он убит... Приезжай поскорее...»

Газеты писали: «Одно лицо было у другого лица еще с несколькими лицами. Первое лицо после этого исчезло. Одно из других лиц заявило, что первое лицо у второго лица не было, хотя известно, что второе лицо приехало за первым лицом поздно ночью» и т. д.

Распутина убили во время попойки. Убили члены царской семьи и крайне правый думский депутат — Пуришкевич.

Это убийство было отнюдь не началом войны, но первым актом обороны в войне, которую объявило русское правительство,— фактически правительство Маленького Домика — всем своим подданным. Войне беспримерной: в ней погибли все боровшиеся, с той и с другой стороны. И почти все не боровшиеся — тоже.

На опустелое поле битвы пришли третьи и завладели им.

17

«ПРОЩАЙ, ДОРОГАЯ...»

Июньский вечер; я на том же балконе. Направо, за решеткой, кудрявятся деревья Таврического сада. Чуть виден широкий купол дворца, но это уже не Дума: это «дворец Урицкого». А прямая, как стрела, улица — не улица: зеленая тропа, заросшая травой. Но то же солнце пологими лучами осверкало широкую тропу,— и так же, как три года тому назад (только три года!), потерялся ее конец в золотом тумане.

Босые, полуголые ребятишки роются меж плитами развороченного тротуара. Напротив — грязный, с осыпающейся штукатуркой дом. Окна открыты. На подоконниках лежат — солдаты.

А может быть, и не солдаты. Если те, что тогда, давно, выливались сомкнуто и стройно из-за угла, пели «прощайте, родные, прощайте, друзья» и пропадали в закатном солнце, если они — солдаты, эти — не солдаты. Просто деревенские парни, молодые мужики без дела, неизвестно зачем надевшие трепаные защитные куртки, расстегнутые или без пуговиц.

Навалившись животами на подоконники, мужики плюют на улицу. За их спинами, в комнате свистит и хрипит граммофон. Что-то веселенькое, романсик теноровый, искаженный пластинкой.

Войны больше нет,— войны «с Вильгельмом». Может быть, есть где-то, далеко, в стороне, где солнце закатывается, но чего ж туда смотреть? Солдаты и не смотрят, смотрят вниз, на тротуар, куда плюют. У них с Вильгельмом теперь мир, а если «похабный», по их определению, то ведь они своей жизни в этом мире так же не понимают, как не понимали смерти в войне.

Улица — солнечная пустыня; даже ребятишек больше нет. Прохожий виден далеко-далеко, за полверсты.

Вот как раз кто-то идет. Удивительно! Идет в нашу сторону.

Очень скоро узнаю, кто идет. По знакомой, припадающей походке. Идет хромая Аня. Вот она совсем близко, с палкой своей, на которую налегает, но движется она бодро и живо. В скромной блузке, старенькая юбка черная, под мышкой пакет — провизию какую-то добыла опять.

Увидала нас, остановилась под балконом, разговариваем.

Она идет в наш дом. Поднялась на минуточку в квартиру знакомой семьи, потом — к нам.

Сидит тяжеловато, но прямо — в кресле, в длинной моей комнате, смотрит круглыми глазами, похожими на хрустальные или стеклянные, и рассказывает.

Ее опять возили в Че-Ка. По доносу сестры милосердия, наверное, которая их грабила, ковер даже с полу стащила... Ну, опять допрашивали, целую ночь, как будто она не рассказала всего, что знает! Были любезны, не мучили, скоро отпустили.

— Вам бы уехать, Анна Александровна,— говорю я тихонько.— Если только возможно...

Аня, по сцеплению идей, перескочила на «затворника»,— он ей не велит еще бежать, велит оставаться. Затворник в Александро-Невской лавре. Он сидел там в затворе 25 лет, только в самое последнее время показался. Аня сподобилась видеть его, беседовать с ним. Как он говорит! Этого описать нельзя. Истинный посланец Божий. Аня ходит теперь к нему в Лавру постоянно. И вот он не велит ей уезжать. Велит, чтобы оставалась...

Совсем особенно произносит она это: «велит, не велит». Как воздух для дыханья, ей необходим кто-то «велящий» или «не велящий». Я не думаю, чтоб затворник смог ей заменить Распутина. Это лишь первые инстинктивные и неизбежные поиски. Их будет очень много...

Аня, конечно, не забыла Распутина. Нет, она по существу верная, по природе верная; она не предаст Распутина никогда, хоть жги, хоть режь ее. Но Распутина нет. А она живет. Ей нужна постоянная «Божья», как она думает, помощь, чтобы жить. И помощь осязательная, видимая, наглядно-чудесная. Ведь Аня — материалистка, совершенно как царица; только царица активная материалистка, Аня же в каждой капельке крови

своей пассивна. Чтобы действительно жить, ей необходимо потерять себя, носить в себе чужую волю, радостно слушать чужое приказание. Бог ей, в конце концов, бесполезен. Но ей совершенно необходим человек, который позволил бы верить в себя, как в Бога.

Смотрю в Анины хрустальные глаза. Слушаю детский ее, незабавный, лепет. Жалко? Не знаю. Странно, что вот кончилась та, первая сказка, другая началась, еще, пожалуй, страшнее,— но другая, не Анина: Аня — живой тенью перешла в нее, из одного мира в другой, словно из одной пустоты в другую,— ничего не знающая, неизменная, неуязвимая.

И кажется, так хорошо. Есть вина, страшная вина — но кто в ответе? Немой царь, призрак, несуществующий, как сонное марево? Убитая, на куски разрезанная, в лесу сожженная царица? Обалделый от удачи, похотливый и пьяный сибирский мужик? Или уж не эта ли стеклоглазая, круглолицая русская баба-фрейлина, хромая Аня?

Все равно. Все равно. Нельзя сделать, чтобы не было бывшего. Не для осуждения, не для мести надо вспоминать его, понимать его, держать в уме. Но в бывшем — теперешнее, а главное — будущее. Сказка, которую еще будут рассказывать...

Те же окна, тот же свет в них золотой, улица та же:

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...

Аня болтает, граммофон журчит напротив. Я не слышу. У меня кошмар будущего. И мне кажется — идут, идут за окнами невидимые полки, текут в закат и тают —

Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Россия моя!

1923

ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК

О Розанове

«Странник, только странник, везде только странник...»

«Иду. Иду. Иду... Даже «несет», а не иду. Что-то «стихийное, а не человеческое».

«Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость».

(Уединенное)

Часть первая

1

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ

Что еще писать о Розанове?

Он сам о себе написал.

И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что...

Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем»,— чтó он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал — «выговаривал» — все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.

Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки приблизительно. То есть между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове — всегда есть расстояние; у Розанова нет; хорошо, плохо — но то самое, оно; само движение души.

«Всякое движение души у меня сопровождается выговариваньем»,— отмечает Розанов и прибавляет просто: «Это — инстинкт».

Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело; и, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через «ѣ» или через «е» это слово пишется».

Отсюда упреки в цинизме; справедливые — и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря:

> «Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».

Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то о к о л о себя, на ему самому неведомых глубинах.

> «Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.
>
> Я каменный.
>
> А камень — чудовище...
>
> ...В задумчивости я ничего не мог делать. И с другой стороны все мог делать» («Грех»).
>
> Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое»; он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он — явление, да, но все же человеческое явление.

Объяснять это далее — бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уж тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».

Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем — *человеке*, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в каких мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе — ведь равных по точности слов не найдешь.

Больше я ничего не могу сделать.

Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных; и даже из книг его (воистину «рукописных», как он любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».

2

ВЕСНОЙ

Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897? или 98?) на Павловской улице, в крошечном домике.

Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).

— Да... Вот весна... Весна! — сказал Философов (он был с нами у Розанова, и еще кто-то был).

Мы все думали молча о весне и потому не удивились.

— Весна. «Клейкие листочки»... А что же вы скажете о Розанове?

И заговорили о Розанове.

Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется в связи с этим вопросом (о браке и деторождении) еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).

У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала и н т и м н о с т ь. Делала каким-то... шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).

В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8—9, падчерица Розанова, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами косилась и дичилась в уголку.

Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.

Ведь вот и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей

наружности говорил, писал, горевал!),— а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.

Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал),— но, думается, тоже никуда.

3

ВСЕГДА НАЕДИНЕ

Кажется, с 1900 года, если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренно «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен — и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира искусства», быстро тогда расцветшего.

И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов — фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам как писатель довольно слабый — преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили — интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко, шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои,— не сердился, не отвечал.

С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова в редакции «Мира искусства» не так ладно.

Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок (умерший). Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один или с

кем-нибудь «наедине», то с тем — то с другим, и не удаляясь притом с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или в каждый момент видел кого-нибудь одного и к нему обращался.

Ни малейшей угрюмости; веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки и вид — самый общительный.

В столовой «Мира искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчащему.

Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!) — Сологуба я там не помню.

Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.

— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

— А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный,— груб! И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб.

Инцидент сейчас же смазали и замяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная: и прелестная, и противная.

4

НАИМЕНЕЕ РОЖДЕННЫЙ

Вот сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи на Литейном,— трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе — меленько-меленько, непонятно,— если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит переворачивать.

Это он забежал с каким-то спешным делом, по Рел⟨игиозно-⟩философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить или к докладу заседания что-то прибавить... все равно.

Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с тол-

стыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время — набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам; сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)

Давно присмотрелись мы к его лицу и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое... А глаза вдруг такие живые, и плутовские — и задумчивые, что становится весело.

Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:

— Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учителишка и учителишка.

> Потом он это и написал (в «Уединенном»): «Неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом...» «Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало: «Ну, кто такого противного полюбит? Просто ужас брал». «...В душе думал: женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего...»

Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов» так отвратительно», и что «всегда любил худую, заношенную, проношенную одежду».

> «Да просто я не имею формы... Какой-то «комок» или «мочалка». Но это оттого, что я весь — дух; субъективное развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого». «И отлично...» Я «наименее рожденный человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе матери» и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, моя особенность). И «отлично! Совсем отлично!». На кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен и вместе юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо!..»

С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он — как говорит: в любой строке его голос, его говор, спешный, шепотный, интимный. И открытость полная — всем, т. е. никому.

Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении; никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не «работа» для него: просто жизнь, дыханье.

Розанов уже не в контроле; он на жалованьи в редакции «Нового времени». Печатает там время от времени коротенькие, яркие полуфельетончики; Суворин издает его книги. Старик Суворин, этот крупный русский нигилист, или, вернее, «je m'en fiche'ист» [1], очень был чуток к талантливости, обожал «талант». Как некогда Чехову — он протянул руку помощи Розанову, не заботясь, насколько Розанов «нововременец». Или, может быть, понимая, что Розанов все равно ни к какой газете, ни к какому такому делу прилипнуть не может, будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места — и написать прекрасно. Ну, почеркают «розановщину», и живет.

Мы все держались в стороне от «Нового времени»; но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молочишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.

Так называемые розановские «вопросы» — то, что в нем главным образом жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало,— было шире и всякого эстетизма и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия совершенно необычно сливались и жили в единстве. Это Бог и пол.

Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него — скажу грубо — одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался благодаря этому совсем новым, розановским; вопрос о поле — тоже. Последний

---

[1] Человек, относящийся ко всему наплевательски *(фр.).— Ред.*

«вопрос» и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или в загоне; как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?

Пожалуй, не круги — а «кружки». Ведь и «эстетизм» и другие петербургские едва намечавшиеся течения — были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».

5

ДУХОВНЫЕ ОТЦЫ

В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет — благодаря его отношению к христианству и Христу.

Однако мысль «Религиозно-философских собраний» зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться; чистая эстетика уже не удовлетворяла; давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить — стены раздвинуть.

В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным — тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский у Николаевского вокзала разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к Лавре? Не знаем: terra incognita [1]. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.

Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософских⟩ собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.

К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священ-

---

[1] Неведомая земля *(лат.)*.— *Ред.*

ники, из простеньких. Знакомства эти пришлись кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.

Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным; он не понимал, органически, никакого «секрета» и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадется. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)

Поэтому ему просто говорили: вот теперь мы идем к такому-то или туда-то просить о том-то; брали его с собой, и он шел, и был, по наитию, очень мил и полезен.

Наконец собрания, получастные, были разрешены. Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель — еп. Сергий Финляндский, тогда ректор Духовной академии; вице-председатель — арх. Сергий, ректор семинарии, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословения митрополита Антония и с молчаливого и выжидательного попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был — «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова, чиновника при Победоносцеве. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен и в тщеславии своем, желании попасть «в хорошее общество» — прекомичен. Понравилась ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского обозрения» в настоящий «журнал».

Каюсь, мы нередко потешались над ним: посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова; невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На собраниях же мы ему спуску не давали, припоминая его миссионерские похождения.

Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.

Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный и церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весь-

ма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «соблазнительным», и прения длились подряд три вечера.

А раз было следующее.

Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог сам прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.

Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2—3, молодого приват-доцента Духовной академии — А. В. Карташева. Карташев тогда впервые появился в Петербурге — из-за «железного занавеса у Николаевского вокзала», из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас,— такие они были иные по быту, по культуре; но изумительнее всего оказался их упрямый... рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!

Очень помню, как однажды мы с Карташевым сидели, по дежурству, у дверей залы Собраний,— принимали запись входящих членов. Заседание началось, двери заперли. Мы около полутемного столика тихо разговаривали. Острый профиль молодого Карташева напоминал в те времена профиль Гоголя в последние годы жизни.

— Верю ли? Если б верить, как в детстве... Но нет... рацио... рацио...— шептал он, приседая.

Так вот, Карташев, на просьбу Розанова прочесть вслух его странички возражения (весьма невинные), согласился. Прочел. На другой же день был призван к митрополиту Антонию и получил от этого сравнительно мягкого и «либерального» иерарха самый грубый выговор. Хотел было оправдаться — я, мол, только «одолжил Розанову свой голос», но его не дослушали:

— Чтобы — впредь — этого — не было.

И Карташев ушел, если не ошпаренный — то лишь потому, что привык; держали их там в строгости и в повиновении удивительном.

Да, опасным «еретиком» был Розанов в глазах высшей православной иерархии. Почему же все-таки духовенство, церковники сближались с ним как-то легче, проще, чем с кем бы то ни было из интеллигентов, ходили к нему охотнее, держали себя по-приятельски?

6

УСЕРДНЫЙ ЕРЕТИК

«Православие» видело «еретичество» Розанова и просто «безбожием» не затруднялось его называть. В глубины не смотрело.

Что́ ему, что этот «безбожник» говорит:

«...Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я... слишком мог бы... Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое «теплое» для меня. С Богом никогда не скучно и не холодно.

В конце концов Бог — моя жизнь.

Я только живу для Него, через Него; вне Бога — меня нет».

И еще:

«Выньте из самого существа мира молитву, сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее,— чтобы я этого не мог; и я с выпученными глазами и с ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас.

Но это все понимается, когда плачется... А кто не плачет, не плакал — как ему это объяснить?»

Или еще:

«Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня — я теряюсь?»

Самое «еретичество» Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозного его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог понять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали; например, исключительной глубины и прелести человек — священник Устьинский (он жил в Новгороде, изредка приезжал в Петербург) да, может быть, Тернавцев, тогда молодой и независимый; итальянская кровь давала ему большую силу жизни: весь он был неистовый, бурный и казался очень талантливым.

Ну, а другие «церковники» — приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную

икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и с умилением.

За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»... да, конечно, однако ничего: только бы построже хранить от него себя и овец своих.

7

СОБРАНИЯ

В первый же год Р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософские⟩ собрания стали быстро разрастаться, хотя попасть в число членов было не легко, а «гости» вовсе не допускались.

Неглубокая зала Географического общества, с громадной и страшной статуей Будды в углу (ее в вечера Собраний чем-то закутывали от «соблазна»),— никогда, вероятно, не видела такого смешения «языков», если не племен. Тут и архиереи — вплоть до мохнатого льва Иннокентия, и архимандриты, до аскетического Феофана (впоследствии содействовавшего внедрению Распутина во дворец) и до высокого, грубого молодца в поярковой шляпе — Антонина (теперешнего «живца»); тут же и эстеты, весь «Мир искусства» до Дягилева; студенты светские, студенты духовные, дамы всяких возрастов и, наконец, самые заправские интеллигенты, держащиеся с опаской, но с любопытством.

Во время перерыва вся эта толпа гудела в музее и толкалась в крошечной комнате сзади, где подавали чай.

Розанов непременно прятался в уголке, и непременно там кто-нибудь один его заслонял, с кем он интимничал.

Секретарем Собраний был рекомендованный Тернавцевым приятель его — Ефим Е⟨горов⟩.

— Ефим — пес,— говорил на своем образном языке, с хохотом, «кудрявый Валентин».— Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, у-ди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!

Действительно, Ефим оказался полезен. Двери Собраний сторожил, как настоящий «пес». Следил за отчетами. И сразу сдружился с «попами». Особенно же с архимандритом Антонином. Вместе шатались они по трактирам — где Ефим непременно заказывал себе кушанье постное, Антонин же непременно скоромное;

вместе забегали к нам, если Антонин «опоздняся» в городе, то у Ефима и заночевывал.

С лаврской духовной цензурой Ефим тоже завел дружбу, что было ценно, особенно когда начался наш журнал «Новый путь».

Но о журнале потом; здесь отмечаю лишь это любопытное приятельство «ни в Бога, ни в черта не верующего» нашего секретаря с духовными отцами. Насчет «либерализма» — вряд ли заветы 60-х годов были в нем особенно крепки. Он через несколько лет поступил, по рекомендации Розанова, в «Новое время», где прижился и, благодаря знанию языков, до конца оставался заведующим иностранным отделом.

Не могу не вспомнить здесь о «предании» более свежем, но «которому верится с трудом»: ведь в Англию во время войны ездила в виде «представителей русской печати» такая неподобная тройка: Чуковский, затем этот самый бывший «пес» из «Нового времени» и купленный ныне «для сраму» большевиками — Ал. Толстой. Жаль, что Василевского Не-Букву не прихватили. Была бы полнота «представительства».

8

ТЯЖЕЛАЯ СТАРУХА

Летом 1902 года мы ездили за Волгу, в г. Семенов; оттуда, с двумя нижегородскими священниками,— на раскольничьи собеседования за Керженец, к Светлому озеру («Китеж-Град»).

На возвратном пути мы зашли в Нижнем с прощальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты спорившему на озере со староверами.

Провинциальные «духовные» дамы скромны и стесняются «столичных гостей». Редко где попадья не убегала от нас и не пряталась, высылая чай в «гостиную». Молодежь поразвязнее, и у отца Николая, после бегства матушки с роем еще каких-то женщин, в гостиной осталась занимать нас молоденькая поповна.

О. Николай, еще хрипя, разглагольствовал о чудотворных иконах, а поповна показывала мне альбомы.

Показывала и объясняла: вот это тетенька; вот это о. Никодим, дядя; вот это знакомый наш, из Костромы...

Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по-ста-

ринному прямо, в очень пышном платье, сборками кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике. Губы сжаты, злыми глазами смотрит на вас.

— А это кто? — спрашиваю.

— А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова.

— Какая Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?

— Ну да, жена Василия Васильевича. Ее сейчас в городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего. С балкона видать.

— Покажите мне.

Выходим с поповной на угловой балкончик. Внизу булочная, и громадный золотой крендель тихо поскрипывает над железными перилами балкона, слегка заслоняя теплую, пыльную Варварскую улицу, вымощенную круглыми, как арбузы, булыжниками.

— Видите, прямо переулок идет, так вот слева второй домик, серенький, это и есть Розановой дом, где она жила.

— А фотография ее... давно снята? Она такая старая?

— Да, она уж совсем старая. Ну ведь и он, кажется, не молодой.

Хочу возразить, что Розанов «против нее — робенок», как говорят за Волгой, но поповна продолжает:

— Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить и с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер.

Мы вернулись в гостиную; и долго еще, охотно, рассказывает мне про «страшный характер» поповна, пока я вглядываюсь в портрет развалины с глазами сумасшедше-злыми.

Никогда Розанов не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева и других; впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нередко подолгу рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злобой, ни в то время — ни потом, в «Уединенном». А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.

Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко

православной, брак был таинством религиозным. И то, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучило ее, как грех. Но злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как он ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочетал, того человек не разлучает».

— Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! — возмущался Тернавцев.— Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского! И того она в свое время доняла. Это еще при первой жене его было. Жена умерла, она было думала тут на себе его женить, да уж нет, дудки, он и след свой замел. Так она и просидела, Василию Васильевичу на горе.

Розанов мне шептал:

— Знаете, у меня от того времени одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану — и непременно лицо водой сполоснуть, умываюсь. И так и осталось — умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так и помнится.

— Да почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич?

— Ну-ну, как же бросить? Я не бросал ее. Всегда чувство благодарности... Ведь я был мальчишка...

Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда раз он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину.

Но это что, сумасшедшая ревность. Дело нередкое. Любовница Достоевского, законная жена Розанова, была посложнее.

Ревность шла, конечно, не от любви к невзрачному учителишке, которого она не понимала и который ее не удовлетворял. Заставлять всякий день водой со слезами умываться — приятно, слов нет. Но жизнь этим не наполнишь. Старея, она делалась все похотливее; и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа.

Кое с кем дело удавалось, а с одним наиболее Розанову близким,— сорвалось. Авансы были отвергнуты.

Совершенно неожиданно студента этого арестовали.

Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова? Однако добился свиданья. Шел, радовался — и что же? Друг не подал руки; не стал и разговаривать.

Дома загадка объяснилась: жена, не стесняясь, рассказала, что это она, от имени самого Розанова, написала в полицейское управление донос на его друга.

Быть может, я передаю неточно какие-нибудь подробности; но не в них дело. Эту характерную историю сам Розанов мне не рассказывал. Он только при упоминании о ней сказал:

— Да, я так плакал...

— И все-таки не бросили ее? Как же вы наконец разошлись?

— Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уж когда она опять захотела вернуться — я уж ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала.

И все, повторяю, без малейшего негодования, без осуждения или жалобы. С человеческой точки зрения — есть противное что-то в этом все терпящем, только плачущем муже. Но не будем смотреть на Розанова по-человечески. И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене», как к чему-то раз навсегда святому и непотрясаемому. «Жена» — этим все сказано, а уж какая — второй вопрос.

И ни малейшей в этом «добродетели»; таков уж Розанов органически. У него и верность, и любовь тоже свои, особенные, розановские. О верности его мне еще придется говорить.

9

ПУСТОТА ВОКРУГ

Когда приподнялся «железный занавес», стали архиереи приезжать «в Петербург», на Собрания,— стали и мы изредка заглядывать в «иной мир», в Лавру. Бывали (всегда скопом) у молодого, скромного, широколицего Сергия Финляндского, ректора Академии (какое-нибудь предварительное обсуждение доклада), и у митрополита Антония.

У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея», читал там раз даже Минский, чуть ли не свою

«Мистическую розу на груди церкви». Он тогда (для чего?) очень кокетничал с церковью, впрочем, без всякого успеха.

Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал.

У Сергия было приятно: большие, пустые залы с таким полом скользким и светлым — хоть смотрись в него, с рядами архиерейских портретов по стенам. Чай пили в столовой, за длинным столом. Вкусный чай: сколько сортов всяких варений, а подавали тоненькие черненькие послушники.

В митрополичьих покоях не то: официальная пышность дворца, а варенье засахаренное.

Мне частенько Розанов, если мы сидели рядом, шептал свои наблюдения: «Заметьте, заметьте»... Он видел всякую мелочь.

Раз мы вышли, уже часов в 11, поздно, из Лавры и за оградой ее заблудились. Зима, но легкая оттепель; необозримые снежные пустыри, окружающие Лавру, скользки, точно лаковые, а ухабы по чуть видной дороге — как горы. Нас человек шесть, но идем не вместе, а парами, друг за друга держимся. И все крутимся по ледяной пустыне, и все тянется белая высокая ограда — не знаем, куда повернуть.

Я с Розановым. Он не смущается, куда-нибудь выйдем. Без конца говорит — о своем. Он неиссякаем «наедине»: с кем наедине — ему решительно все равно. Никогда не говорит «речи», говорит «беседно», вопрошательно, но ответов не ждет и не услышал бы их; даже вдвоем — он наедине с собою.

> «...Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении *пустоты около себя — пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде*,— что я едва знаю, едва *верю*, едва *допускаю*, что мне «современничают» другие люди...»

В эту минуту мы с ним, однако, «современничали» в том, что оба одинаково скользили, буквально на каждом втором шагу. И он вдруг это заметил.

Я смеюсь:

— Вы меня держите, Василий Васильевич, или я вас?

— Заметьте! Мы оба скользим! Оба! И не падаем. Почему не падаем? Да потому, что мы скользим *не в одну и ту же минуту*, а в разные. Вы скользите,

когда я стою, а когда я — вы не скользите, и я держусь за вас...

— Ну, вот видите. А если б мы шли отдельно, так уж давно оба валялись бы в снегу.

— Да, да, удивительно... В разные минуты...

Но тут, занявшись этим соображением, он навел меня на такую кучу снега, что, не схвати нас кто-то третий, шедший близко сзади, мы бы полетели вниз — и в одну и ту же минуту.

10

О ЛЮБВИ

Всю жизнь Розанова мучили евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как завороженный, прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался.

Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова.

Не забудем: Розанов жил только Богом и — миром, плотью его, полом.

> «Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, мимо такого нужно просто пройти. Обойти его молчанием».
>
> И тотчас же далее:
>
> «Связь пола с Богом — бóльшая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом...»

Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут,— еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архиариец, но архирусский, весь, сплошь, до «русопятства», до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России). В нем жилки не было нерусской; без выбора понес он все, хорошее и худое — русское. И в отношение его к евреям входил элемент «полярности», т. е. опять элемент «пола», притяжение к «инакости».

Он был к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен: он к ним «вожделел».

Влюбленный однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне:

— Вот рука... а кровь у нее там какая? Вдруг —

голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших...

Непривычные или грубодушные люди часто возмущались розановской «несерьезностью», сплетением пустяков с важным, и его... как бы «грязцой». Ну конечно! И уж если на то пошло, разве выносимо вот это само: «связь Бога с полом?» Разве не «грязь» и «пол»-то весь? В крайнем случае — «неприличие», и позволительно говорить об этом лишь научным, серьезным языком, с видом профессора. Розановские «мелочи» казались «игривостью» и нечистоплотностью.

Но для Розанова не было никаких мелочей: всякая связывалась с глубочайшим и важнейшим. Еврейская «миква», еврейский религиозный обычай, для внешних неважный и непривлекательный,— его умиляла и трогала. Его потрясал всякий знак «святости» пола у евреев. А с общим убеждением, в кровь и плоть вошедшим, что «пол — грязь» — он главным образом и боролся.

Вот тут узел его отношений к христианству и ко Христу. Христос? Розанов и к Нему был страстен, как к еврейству. Только все тут было диаметрально противоположно. Христос — Он свой, родной, близкий. И для Розанова было так, точно вот этот живой, любимый, его чем-то ужасно и несправедливо обидел, что-то отнял у него и у всех людей, и это что-то — весь мир, его светлость и теплость. Выгнал из дома в стужу; «будь совершен, иди и не оглядывайся, отрекись от отца, матери, жены и детей...».

Розанов органически боялся х о л о д а, любил теплое, греющее.

«С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего» — и вдруг — иди в холод, оторвись, отрекись, прокляни... Откуда это? Он не уставал бранить монашество и монахов, но, в сущности, смотрел дальше них, не думал, что «это они сделали», главного обидчика видел в Христе. Постоянно нес упрек Ему в душе — упрек и страх перед собственной дерзостью.

У нас, вечером, за столом, помню его торопливые слова:

— Ну, что там, ну ведь не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек... А вот что Он... Господи, прости! — (робко перекрестился, поспешным крестиком), что Он, может быть, Денница... Спавший с неба, как молния...

Розанов, однако, гораздо более «трусил божеского наказания» за нападки на церковь, нежели за восстания против первопричины — Христа. Почему? Это просто. В христоборчестве его было столько личной любви ко Христу, что она властно побеждала именно страх и превращала трусость нашалившего ребенка во что-то совсем другое.

Вот, например: тяжелая болезнь жены. Оперированная, она лежала в клинике. Розанов в это время ночевал раз у Тернавцева. И всю ночь, по словам Тернавцева, не спал, плакал и, беспрестанно вставая, молился перед иконами. Всю ночь вслух «каялся», что не был достаточно нежен, справедлив — к церкви, к духовенству; не покорялся смиренно, возражал, протестовал... Вот Бог и наказывает... и он, как мальчик, шепчет строгому церковному Богу: прости, помилуй, больше не буду!

В связи с этим в «Уединенном»:

> «Иду в Церковь! Иду! Иду!»
>
> И потом еще:
>
> «Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным».

Стал ли? Это и теперь его тайна, хотя пророческие слова исполнились:

> «Конечно, я умру все-таки с Церковью,... конечно, духовенство мне все-таки всех (сословий) милее...»
>
> Однако:
>
> «Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то мукой о них».
>
> Это борьба с «церковью».

А вот «Христоборчество». Вот одно из наиболее дерзких восстаний его — книга «Темный лик», где он пишет (точно, сильно, разговорно, как всегда), что Христос, придя, «охолодил, заморозил» мир и сердце человека, что Христос обманщик и разрушитель. Денница,— повторяет он прикрыто, т. е. Дух Темный, а не Светлый.

И что же, кается, дрожит, просит прощения? Нисколько. Выдержки из «Темного лика» читались при нем на Собраниях, он составлял самые стойкие ответы на возражения. Спорил в частных беседах, защищался — Библией, Ветхим Заветом, пламенно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливаясь с ним.

С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не подрался.

Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству, доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, пришедшего только с христианством; что евреи и понятия не имели о нашем чувстве влюбленности — в мир, в женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь Песней», и любовь, и огонь еврейства.

Принялся упрекать поэта в измене еврейству; тот ему ответил, что, во всяком случае, Розанов — больше еврей, чем он сам.

Этим спор окончился — Розанов внезапно замолчал.

Не потому, конечно, что заподозрил собеседника в атеизме. Атеистов, позитивистов он «презирал, ненавидел, боялся». Говорил: «расстаюсь с ними *вечным расставанием*». Но собеседник — еврей, а еврей не может быть атеистом. Нет, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про себя ни думал, ни воображал. В каждом все равно «Бог — насквозь». Недаром к Аврааму был зов Божий. Про себя Розанов говорил:

> «Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница».

И вдруг, и вдруг... словно чья-то тень — тень Распятого? — проходила между ним и евреями. Он оглядывался на нее — и пугался, но уже не феноменальным, а «ноуменальным» (любимое его слово) страхом. Вдруг — «болит душа! болит душа! болит душа!», и — потерявшись — он становится резок, почти груб... к евреям. Мне приходилось слышать его в эти минуты, но я расскажу о них его собственными словами, будет яснее.

> «...Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли «Темн. лик». Тут я сказал себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).
>
> Они думали, что я не вижу: но я, хоть и «сплю вечно», а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:
>
> — Ну, а все-таки — он лжец.
>
> Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: «Н-н-н-да... Я прочла «Темный лик». И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.
>
> Таких физиологических (зрительно-осязательных) вещиц надо увидеть, чтобы понять то,

чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то ненависть между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «распни Его».

Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере, никогда не высказываются».

Любовь к Христу, личная, верная, страстная — была куском розановской души, даже не души — всего существа его. Но была тайной для зорких глаз тайновидца: «смотрел и не видел». Порою близко шевелилась, скрытая; тогда он тревожился; бросался в сторону евреев и своего к ним отношения; отрекался, путался, сердился... Но жизнь повела его «долинами смертной тени». И любовь стала прорываться, подобно молнии. Чем дальше, тем чаще мгновенья прорывов.

«...Тогда все объясняется... Тогда Осанна... Но так ли это? Впервые забрезжило в уме...»

Сами собой гасли в этих молниях вспышки ненависти к евреям. Понималась любовь — по-настоящему; и забывалась опять. Может быть, потом понялась навсегда?

11

«В СВОЕМ УГЛУ»

Осенью 1902 года мы начали с П. П. Перцовым журнал «Новый путь».

Я до сих пор не понимаю, как это вышло, что мы его начали и даже довели без долгов до 1906 года. Он точно сам начался — естественно вышел из Р⟨елигиозно-⟩ф⟨илософских⟩ собраний.

Денег у нас не было никаких, кроме пяти тысяч самоотверженного Перцова да очень малой, внешней помощи издателя Пирожкова, и то лишь в самые первые месяцы. (Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами — обманутыми писателями, обманутыми бесцельно, ибо он и сам провалился.)

Перцову удалось получить разрешение на журнал благодаря той же приманке: «сближение церкви с интеллигенцией». Журнал был вполне «светский» (в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»), однако известно было, что издает его

группа участников Собраний и что там предполагается помещать стенографические отчеты этих Собраний.

Положение журнала было исключительно трудное: каждая книга подлежала двойной цензурной трепке; сначала шла к обыкновенному цензору, а затем в Лавру, к духовному. Была у нас и третья цензура, неофициальная, интеллигентская: по тем временам если эстетика и начинала кое-как завоевывать право на существование, то религия без разбирательства была осуждена; и нас записали в реакционеры.

Но среди всех огорчений с деньгами да с двумя официальными цензурами нам буквально не было времени огорчаться еще и этим. Пусть думают, что хотят.

Все мы работали и писали без гонорара. Платили только в редких случаях какому-нибудь начинающему (и очень талантливому) из неимущих. Литературная молодежь — все мои приятели — помогала и работала, на нас глядя, радостно, как в своем деле. Молодые поэты (Блок, Семенов, Пяст), кроме стихов, давали, когда нужно, рецензии, заметки, отчеты. Несколько неопытных «выходцев из-за железного занавеса» — приват-доценты Дух⟨овной⟩ академии Карташев, Успенский — тоже приучались к журнальной работе, но эти — в глубокой тайне, без всяких подписей, ибо, если б узнало Лаврское начальство, им бы не поздоровилось.

И нас, старых литераторов, было изрядное количество, так что в материале, совсем не плохом, недостатка не чувствовалось. Вячеслав Иванов печатал там «Религию страдающего Бога». Мережковский — свой роман «Петр и Алексей». Брюсов — ежемесячные статьи об иностранной литературе и даже... об иностранной политике.

О Розанове что и говорить. Он был несказанно рад журналу. Прежде всего — упросил, чтобы ему дали постоянное место «на что захочет», и чтоб названо оно было «В своем углу». Кроме того, он из книжки в книжку стал печатать свою длинную (и замечательную) работу «О юдаизме».

Вечно торчал в редакции, отовсюду туда «забегал». В редакции жил секретарь — «пес» Ефим Е⟨горов⟩ (он же секретарь Собраний). Не лишенный юмора и весьма, при случае, энергичный, он и тут, как секретарь, был очень ценен. Возил в Лавру, к отцам-цензорам весь наш материал (не один «духовный», «светский» тоже). И если отцы тревожились, подозревая скрытый «соблазн»

в каком-нибудь стихотворении Сологуба, В. Иванова, Блока,— нес им самую беззастенчивую, но полезную чепуху. Отстаивал порою статьи довольно смелые, хотя с великими жертвами: у В. Иванова однажды везде «православие» обратилось в «католичество»; а так как статья была о Вл. Соловьеве — то можно себе представить, что получилось.

Посетителей (неизвестных) принимал тоже Ефим. И препотешно умел рассказывать об этих приемах. Он был, что называется, «pince sans rire» [1]. Никто лучше него не мог бы справиться с «авторами». Его важность, отрывистые, безапелляционные реплики хорошо действовали на слишком назойливых. Бывали и застенчивые.

— А... могу я спросить, сколько вы платите? — говорил какой-нибудь явно безнадежный обладатель явно безнадежной толстой рукописи.

Ефим не задумывался:

— А мы очень много платим... если нам понравится. Но нам редко что нравится. Лучше вы вашу рукопись отдайте в другое место.

Собственно говоря, вся редакционная работа велась Перцовым и мною. Молодежь помогала, но положиться ни на кого из них мы не смели. А Розанов не только не помогал, но если б вздумал, мы бы в ужас пришли. Всякое дело требует своей «политики», т. е. какой-то линии, считанья с моментом, с окружающими обстоятельствами и т. д. Розанов ни на что подобное не был способен. Он, действительно, «всегда спал»; во сне хоть и умел «подглядывать», чего никто не видел, но подглядывал лишь то, что находилось в круге его идей, ощущений, лишь в том, что его интересовало и касалось.

Очень любил журнал. И совершенно невинно, не замечая, мог бы погубить его, дай ему волю, начни с ним советоваться, как с равным.

И так была ужасная возня. Приносит он очередной материал — главу «Юдаизма» и «Угол», бесконечные простыни бумажные, меленько-меленько исписанные. В набор? Как бы не так. Мы не «Новое время» и с набором должны экономничать. Без того приходится делать иногда, после светской цензуры, для духовной,— второй набор; как бы не навести «отцов» на неподобающие размышления... И вот мы с Перцовым принимаемся за чтение розановских иероглифов. Не вместе —

[1] Насмешник *(фр.)*.— *Ред.*

Перцов глух, сам читает невнятно и неохотно,— а по очереди.

Ни разу, кажется, не было, чтобы мы не наткнулись в этих писаниях на такие места, каких или цензорам нашим даже издали показать нельзя, или каких мы с Перцовым выдержать в нашем журнале не могли.

Эти места мы тщательно вычеркивали, а затем... жаловались Розанову: «Вот что делает цензура. Порядком она у вас в углу выела». Впрочем, прибавляли для косвенного его поучения:

— Сами, голубчик, виноваты. Разве можно такое писать? Какая же это цензура выдержит?

Скажу, впрочем, что мы делали выкидки лишь самые необходимые. Перцов слишком любил Розанова и понимал его ценность, чтобы позволить себе малейшее искажение его идей.

Редактируя для журнала стенографические отчеты Собраний, мы ни звука не выкидывали розановского: тут он сам за себя отвечает, пусть отвечает перед цензорами.

Сухость стенограмм порою приводила нас в отчаяние: исчезала атмосфера собраний, приподнятая и возбужденная, не передавалось настроение публики...

Чаще всего редактировали мы эти отчеты вдвоем не с Перцовым, а с Тернавцевым.

Собрание, недавнее, было еще свежо в памяти.

— Какой вздор! — говорю я.— Она (стенографистка) недослышала. Или не поняла... Ведь тут, помните, ведь тут...

— Ну да! — кричит неистовый Валентин.— Василий Михайлович (Скворцов) сказал «совесть». А кто-то ему крикнул: «Разная бывает совесть. Бывает и сожженная совесть»... Он так и осел... Вставляйте сюда «голос из публики»!

Валентин Тернавцев был не нашего «лагеря», но художественное чутье побеждало в нем «церковника», и мы оба увлекались, стараясь превратить казенную запись в образную картину Собрания.

— Здесь еще «голос из публики»! — орал Валентин.— Обязательно голос! Я слышал, толстуха промяукала, как ее,— секты исследует, она около меня сидела. Пишите тут — из публики!

Иногда мы посылали розановский доклад или возражение ему на просмотр, боясь ошибок записи. А он возвращал — совершенно измененную вещь, почти новую

статью. Что было делать? Звали его, бранились, и он на месте, тут же, в третий раз ее переписывал.

Перцов имел привычку вдруг уезжать из Петербурга на неопределенное, довольно продолжительное время. Глухой и скрытный, он глухо исчезал, не оставляя и адреса. Знали только, что куда-нибудь в Кострому или дальше: он был волжанин, «речной человек», как он говорил.

Тогда мне приходилось тесно. «Мальчики» мои, в сомнении, откровенно признавались, что не знают, как поступить. Розанов, не обращая на меня никакого внимания, лез к Ефиму; а Ефим разленивался, не читал первых корректур и спорил со мной из-за Брюсова, находя его недостаточно либеральным.

К счастью, Перцов уезжал не в очень горячее время — к весне. Месяца через два возвращался, и все входило в норму.

12

БУДЬ ВЕРЕН В ЛЮБВИ...

На ревнивых жен Розанову везло.

Ну, та, первая, подруга Достоевского,— вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая «Варя», мать его детей, женщина скромная, благородная и простая — тоже ревновала его ужасно.

Ревновать Розанова — безрассудство. Но чтобы понять это — надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.

Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него — его жена, и она единственная, но эти другие — тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные особенно радовали. Интересовали и девушки — будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные — и кокетливые, все наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил.

(Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале «Елизавета Сладкая». И огорчился, что мы не позволили.)

Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться, как вообще к окружающим. Если с интересом порою — то уже без специфического оттенка в интимности.

Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к «женщине» было у Розанова только «идейным». Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют «грехом», фактической «изменой». Может быть, да, может быть — нет. Неинтересно, ибо это *ни малейшего значения не имеет*, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает — ощущает — свою органическую *верность*.

> «Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность.
>
> Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять».

В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в «другую» женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с «Варей», чтобы жениться на этой другой? О ком угодно — можно, о Розанове — непредставимо! И если все-таки вообразить — делается смешно, как если бы собака замурлыкала.

Собака не замурлычет. Розанов не изменит. Он верен *своей жене*, как ни один муж на земле. Верен — «ноуменально».

Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к «женщине», к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.

Розановская душа, вся пропитанная «жалением», не могла переносить чужого страданья. Единственно, что он считал и звал «грехом»,— это причинять страданье.

> «Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы — это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть».

Что же ему делать, чтобы не видать страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным; страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает — никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать?

И он при ней изо всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глупым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому; в жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не угадывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения понемногу начал скрывать от жены. На всякий случай,— а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.

В «секреты» розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял — вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не «выдавать» его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, «чтобы она была спокойна».

Он действительно заботился только о ее спокойствии; о себе — как бы по неловкости не «согрешить», т. е. недостаточно уверенно соврать. Ведь —

> «...я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения «встать» и «сесть». Просто не знаю, к а к. Никакого сознания горизонтов...»

Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: «Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!» Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату; не услышат и будут правы: у них свои.

> «Даже и представить себе не могу такого «беззаконника», как я сам. Идея «закона» как «долга» никогда даже на ум мне не приходила.
>
> Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. «Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснять слабых. И только дурак ему повинуется». Так, приблизительно...
>
> Только всегда была у меня Ж а л о с т ь. И была благодарность. Но это как «аппетит» м о й; мой в к у с.

Удивительно, как я уделывался с ложью. Она меня никогда не мучила...

Так меня устроил Бог».

«Устроил», и с Богом не поспоришь. Главное — бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во «лжи», в «безнравственности», в «легкомыслии». Это все наши понятия. Легкомыслие? —

«Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение».

Дайте же ему «невеститься». Тем более что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?

Часть вторая

1

ДУША ОЗЯБЛА

Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Р⟨елигиозно-⟩ф⟨илософские⟩ собрания.

«Отцы» уж давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стене — одолевали. Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил — о ужас! — после двух собраний явно перешел на сторону «интеллигенции», и, вместо помощника, архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя. (Дальнейшая судьба этого незаурядного человека любопытна. Продолжал острую борьбу против православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих.)

При таких обстоятельствах оставалось одно: закрыть, от греха, Собрания. Закрыли.

Вскоре подоспела японская война, а с ней медленное, еще глухое, но все нарастающее внутреннее брожение.

«Новый путь» продолжался — очень трудно: без главного подспорья своего — отчетов о Собраниях, под неистовством духовной цензуры, с растущими денежными затруднениями.

Перцов стал охладевать к делу и все чаще уезжать на Волгу. Розанов понемногу начал отходить тоже.

Дело в том, что группа главных участников журнала к тому времени не была уже сплочена. Расхождение — не в идее, а, пожалуй, в направлении воли.

Собственно идея (как и тема наших споров с церковью) была всегда одна: Бог и мир; равноценность в религии духа и плоти. Можно себе представить, как это было близко сердцу Розанова. Однако, защищая «мир», он весь его стягивал к полу и личности; другие же в понятие «мира» хотели вдвинуть и вопрос общественный.

Иногда Розанов, по гениальному наитию, мог изрекать вещи в этой области очень верные, даже пророческие. Но не понимал тут ровно ничего, органически не мог понимать, и отвращался.

> «Общественность», кричат везде, «побуждение общественного интереса!»...
>
> «...Когда я встречаю человека с «общественным интересом», то не то чтобы скучаю, не то чтобы враждую с ним: но просто умираю около него».
>
> «Весь смокнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души.
>
> Умер».

И далее:

> «Народы, хотите ли я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков...
>
> — Ну? Ну?.. Хх...
>
> — Это — что частная жизнь выше всего.
>
> — Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!
>
> — Да, да! Никто этого не говорил; я — первый... Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу «и смотреть на закат солнца!..».

И «воля к мечте»... И «чудовищная» задумчивость...

— Что ты все думаешь о себе? — спрашивает жена.— Ты бы подумал о людях.

— Не хочется...

Не хочется — интереса нет. А что такое Розанов без внутреннего, его потрясающего, интереса? Ребячески путает и путается, если не случилось наития, бранится — и ускользает, убегает.

Перед революционными волнениями он уже льнет больше к литературно-эстето-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает «в башню» Вяч. Иванова, когда там

водят «хороводы» и поют вакхические песни в хламидах и венках. Юркнул и на «радение» у Минского, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины, и каплю ее крови опускали в бокал с вином.

Ходил туда Розанов, конечно, в величайшем секрете от жены,— тайком.

В редакции нашей показывался все реже. Воскресенья его — не помню, продолжались ли; кажется, опустели на время. А когда события сделались более серьезными, Розанова точно отнесло от нас, на другую волну попал.

Мы виделись, кажется... Но мельком. Кто-то говорил, что самые острые дни он просидел у себя на Шпалерной. Не из трусости, конечно,— что ему? А просто было «неинтересно» или даже «отвращало». Может быть, занимался нумизматикой...

Впрочем, скоро опять появился и даже стал интересоваться тем, что происходит,— со своего боку. Полюбил «митинги».

— Что вы там слушаете, Василий Васильевич?

— Что слушаю, ничего, я смотрю, как слушают. Какие удивительные есть — курсистки. Глаза так и горят. И много прехорошеньких.

В это время он написал брошюру «Когда начальство ушло» — такую же... даже не подберу выражения — осязательную, что ли, как все, что у него писалось-выговаривалось. Кроме этой «осязательности» стиля, ничего в ней не запомнилось. Но едва «начальство вернулось» — брошюра была запрещена.

Мы уже закончили наш журнал (в последнее полугодие сильно реформированный), передав его «идеалистам»: Булгакову, Бердяеву и всему их кружку. В начале 1906 мы собирались надолго за границу.

Розанов этой последней зимой бывал у нас иногда — не часто. Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев (А. Белый. Он, приезжая из Москвы, жил у нас).

С трагически скошенными глазами, сдвинув брови,— ко мне:

— Послушайте, послушайте. Ведь Розанов — это пло! П-л-о!

— Что такое? Какое еще «пло»?

Оказывается, это он ехал по Караванной и видел вывеску (фамилия, должно быть) Пло. И ему казалось, что если повторять страшным голосом: «Пло! Пло!» — то

можно его представить себе похожим на Розанова, и даже так, что сам Розанов — П-Л-О.

Меня эта ассоциация не увлекла, но, зная обоих, можно было уловить, как Бугаев соединяет «Пло» с Розановым и почему «боится» их. Не всякая чепуха совершенно бессмысленна.

Расстались мы с Розановым по-дружески. Он даже обещал писать (очень любил писать письма). Но не писал... долго. И вдруг, чуть не через год,— письмо за письмом, в Париж.

Что такое?

Розановские письма, как всегда сверкающие, махровые, разговорные — содержали на этот раз конкретную просьбу. Он умолял меня содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме, муж которой только что, после 1905 года, эмигрировал (притом довольно глупо и напрасно). Розанов знал, что чета находится в Париже. Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж конечно компрометантных и, конечно, блестящих — ведь это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!).

В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма — было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснялось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах может узнать Варвара Дмитриевна.

Чувство его к жене, какая-то гомерическая смесь любви и жалости, делается в этот период трагичным. В него вливается «осязательное» ощущение — смерти.

Не то чтобы Розанов изменился. Ощущение смерти не ново для него. Всегда в нем жило «но — не думал», а тут оно выплыло из глубин наверх, расширилось, покрыло все другие ощущения. (Да и навсегда окрасило, не уменьшив их силы, в свой цвет.)

> «Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть».

И еще:

> «Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь...»

Наконец:

> «Смерти я совершенно не могу перенести...»
> «...Я так относился к ней, как бы никто и

ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было».

«Самое обыкновенное, самое «всегда»: и этого я не видел».

«Конечно, я ее видел: но значит я не смотрел... Не значит ли это, что и не любил?»

«Вот «дурной человек во мне», дурной и страшный. В этот момент как я ненавижу себя, «как враждебен себе».

У Розанова нет «мыслей», того, что мы привыкли называть «мыслью». Каждая в нем — непременно и пронзительное физическое ощущение. К «рассуждениям» он поэтому не способен, что и сам знает:

«Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда!»

Смерть для него была физическим «холодом» (как жизнь, любовь-жалость,— греющим, светящим огнем).

«Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде.

У, как везде холодно!»

И когда он говорит:

«Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души» —

это не метафора, не образ,— где его «душа», где тело? — но опять физическое, телесное ощущение холода,— ощущение смерти.

Писем, о которых он так умолял, мы ему не достали. Мы знакомы были с мужем розановской мучительницы. К мужу и обратились с ходатайством. Он предупредил нас, что надежды мало. И действительно. Не отдала. Не захотела.

Я не думаю, чтобы из этого вышла большая беда. Вряд ли до больной женщины могли дойти слухи об этой, в сущности, невинной истории; а если бы и дошли? Она, вероятно, уже не приняла бы это так, как опасался Розанов.

А все же в то время очень мне было Розанова жалко.

2

В ЧУЖОМ МОНАСТЫРЕ

Я не пишу дифирамба Розанову. Не говоря о том, что —

«Никакой человек не достоин похвалы; всякий человек достоин только жалости» —

есть ли смысл хвалить (или порицать) Розанова? Есть ли хоть интерес? Ни малейшего. Важно одно: понять, проследить, определить Розанова как редчайшее явление, собственным законам подвластное и живущее в среде людской. Понять ценность этого говорящего явления, т. е. понять, чтó оно, такое, как есть, может дать нам или что можем мы от него взять. Но непременно такое, как есть.

«Иду! Иду! Иду! Иду!..

И где кончается мой путь — не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не человеческое. Скорее «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял».

Где уж тут «человеческое»!

Надо, однако, сознаться, что понять это чрезвычайно трудно. Так трудно, что и мы, знавшие его, мгновениями видевшие, что он не идет в ряду других людей, а «несет» его около них,— и мы забывали это, слепли, начинали считаться с ним, как с обычным человеком.

Может быть, и нельзя иначе,— нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстух и серые брюки, имел детей, дар слова... и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил среди нас, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество — монастырь. Для Розанова — чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел... со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали»,— говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом времени» одно,— в «Русском слове», под прозрачным и не скрывающимся псевдонимом,— другое.

Обеими руками он пишет искренно (как всегда), от всей махровой души своей.

Он прав.

Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской мысли» рядом параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве».

Однако я забегаю вперед.

Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суетливым, интимничающим, полушепотным говорком болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахровился, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.

Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было вместе делать, а тут почувствовалось, что и нечего делать.

В Петербурге же, после «половинной» революции, многие вообразили, что можно что-то «делать»,— во всяком случае, тянулись к активности.

О Розанове ходило тогда много слухов, вернее — сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.

Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).

Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил — остался, разговорился. Так в крылатке и бегал нервно по комнате, блестя очками.

Разговор был, конечно, о религии и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:

— Вы ведь «апокалиптические» христиане... А какое же там, в Откровении, христианство? Я Откровение принимаю... Я даже четвертое евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков. Давайте, откажитесь от синоптиков — будем вместе...

Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков,— и на них тотчас обратилось все его внимание.

— Вот бы детям... Ах, Боже мой... Вот бы детям свезти...

— Да возьмите, Василий Васильевич, выберите, какого лучше, и тащите с собой на дачу.

— Ах, Господи... Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы...

Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где будто бы Василия Васильевича... отвращают от православия.

— Скажите, что на улице нашли,— продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.

— Не поверят... Нет, не смею...

Так и ушел, не взял.

3

КАКИЕ «ДА»! КАКИЕ «НЕТ»!

Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософских⟩ собраний, целое Рел⟨игиозно-⟩фил⟨ософское⟩ общество, легализированное и многолюдное.

Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель — Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убедили (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) — покинуть Духовную академию. Он решился наконец (тем более что положение его было уже там непрочно) и, вместе с несколькими другими, выплыл в житейское море.

Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличала в нем человека из «иного мира»; но понемногу он приучался к «светской» свободе.

Р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософское⟩ общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве — и помину не было. Полное отсутствие так называемой «учащей церкви».

Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в Совет общества и естественно внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.

Розанов в Совете не состоял. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов — или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было другое. По времени — острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном поле, а о религиозной общественности.

Годы мелькали — последние, предвоенные. О них можно бы много рассказать, но я пишу не о них — о Розанове.

Мы его совсем больше не видели. Знали, что жена плохо поправляется, что он давно не живет на Шпалерной, переезжает с квартиры на квартиру, что после смерти старика Суворина положение его в «Новом времени» не изменилось. Слышали, что он видится с новыми людьми, очень от нас далекими... а главное, слышали его самого в изданных в это время «Уединенном» и «Опавших листьях» («2 короба»).

Именно слышали его в этих трех... книгах? Он был прав, говоря, что таких «книг» никто раньше не писал и никто не напишет. Для этого надо уметь «выговаривать» себя, как он, а чтобы издать их — надо быть «беззаконником», не понимающим, «что ему современничают другие люди». Словом — надо быть в полноте «Розановым».

Для знавших его, как мы знали,— ничего нового в этих книгах не содержалось. То же, что он говорил, не раз, и та же интимность до... до полного душевного раздевания. Был в них весь: с Богом и полом, с Россией, которую чувствовал изнутри, как самого себя, и любя, и ругая; с евреями, его притягивающими и отталкивающими; и даже с трагично выплывшим поверх других «ощущений» — ощущением смерти, холода.

Только все «да—нет» чем дальше, тем резче подчеркивались, все чудовищнее переплетались; он сам останавливается удивленно: «Душа моя какая-то путаница...» И эта эволюция (если это эволюция) была в нем как будто еще не закончена.

Действительно: не предстояло ли ему безмерно обостриться в противоречиях; дойти до глубины страданий; «выговорить» их в предсмертных тетрадях своего «Апокалипсиса» и, наконец, в монастыре, в Троице-Сергиевской Лавре — умереть на руках самого, кажется, умного и жестокого священника — П. Ф⟨лоренского⟩?

4

МНЕ ВСЕ МОЖНО

Об этом священнике кто-нибудь напишет в свое время. Мы знали его московским студентом-математиком (он писал в «Новом пути»). Потом встречали в Донском монастыре, у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония. Но действительно узнали и поняли через сестру его, Ольгу. Она любила его, ездила к нему в Лавру, но никогда не была под его влиянием. Была близка нам, подолгу живала у нас. Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22-х лет от роду.

Я не буду писать ни о ней, ни о брате: слишком удлинило бы это мой рассказ. Да и жизнь его еще не кончена. Думаю, сильная личность его не пройдет без следа даже в наше смутное время.

Любил ли его Розанов? Уже в предвоенные годы знал его. Но упоминает о нем редко, вскользь: «Вся его натура какая-то ползучая...»

Они видятся, однако, все чаще. Ко времени «дела Бейлиса», так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов, не без помощи Ф⟨лоренского⟩, начинает выступать против евреев — в «Земщине». Статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое время» — радостно хватались грязной, погромной газеткой.

Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно любить евреев, а Ф⟨лоренский⟩, человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови — жертва.

А Ф⟨лоренский⟩ сказал тогда сестре: если б я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Ющинского.

В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция — относились уже довольно враждебно. Повторяю: какая «совместность» человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей и знать не желающего их написа-

ных, но твердых уставов? Нельзя «двурушничать», т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать «свинства» (по выражению самого Розанова), например — напечатать, в минуту полемической злости, письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.

— Нельзя? — говорит Розанов.— Мне — можно.
«На мне и грязь хороша, потому что я — я».
— А вы все — «к черту!..».

Он прав, что ему — можно. Но «все»,— люди, посылаемые к черту,— правы тоже, знать не желая, почему «Розанову можно», и отвечая ему таким же «к черту».

Всенародное самовыворачивание Розанова, хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек, говорит из своего уединения. Но статьи в «Земщине», такие, в такой момент — делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было — общественно — защищаться.

Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религ⟨иозно-⟩философского общества.

Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были и в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его как явление исключительной ценности, понимали, что ему-то, от себя, «все позволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда лично не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно.

Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова; в данном случае — за необходимость исключения его из членов Общества.

Хочу сознаться, увы, что на мой тогдашний взгляд Розанов был еще слишком «человек»; и предельная безответственность его как человека мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных,— и как я о них теперь жалею!

5

МЕЛЬКНУЛИ ДНИ...

После «дела Бейлиса», статей в «Земщине» и всех попутных историй — Розанов совсем скрывается с нашего, по крайней мере, горизонта. А вначале бравировал, писал в «Новом времени» самые непозволительные ругательные статейки против «интеллигенции», приходил на каждое Р⟨елигиозно-⟩ф⟨илософское⟩ собрание, чуть не до последнего, на котором его торжественно исключили. Кто-то сказал, что «гонение» на Розанова жестоко; это неправда. Никакой жестокости в этих протестах, исключениях не было: ведь его «наплевать» — слово очень искреннее. Если и огорчался «скандалами» — то опять, кажется, боясь, не расстроили бы они его больную жену.

А вскоре и Бейлис, и Розанов — все было забыто: пришла война.

Что писал и делал Розанов во время войны?

Писал, конечно, в «Новом времени» — неинтересно. Думаю, сидел тихо у себя; жена все еще болела. Одна из дочерей его, как мы слышали, готовилась поступить в монастырь (мне неизвестна эта драма — вернее, трагедия — в подробностях. Знаю только, что дочь Розанова, монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца).

Может быть, Розанов в военные годы работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной). Он готовил ее очень давно. Еще во дни наших постоянных встреч увидал раз у меня на столе большого скарабея (приятельница-англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг.

— Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты — египетские. В Египте тó было, чего уже не будет: христианство задушило.

Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок.

В военные годы, еще до революции, Розанов начал и свой «Апокалипсис». Выпускал его периодически; небольшими тетрадями.

Мне помнится там рассказ — встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. Опять передал свое телесное ощущение: движется внешняя с и л а, только голая сила; тяжелая, грубая, «мужская»; перед ней Розанов, маленькая одиночка, прижавшаяся на тротуаре к дому,—

чувствует себя воплощенной слабостью, «женщиной»...

Вот опять мелькнули годы — мгновенья. Как вспыхнувшая зарница — радость революции. И сейчас же тьма, грохот, кровь, и — последнее молчание.

Тогда время остановилось. И мы стали «мертвыми костями, на которые идет снег».

Наступил восемнадцатый год.

6

ЛЕДЯНЫЕ ВОДЫ

Сначала еще видались кое с кем.

— Не знаете ли, что Розанов?

— Он в очень тяжелом положении. Был здесь, в Петербурге. Потом уехал, с семьей,— или кто-то увез его. Семья живет под Москвой, в Троицко-Сергиевском Посаде. Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки...

— Их, вероятно, Ф⟨лоренский⟩ в Лавре устроил?

— Кажется. Но живут очень плохо. Варвара Дмитриевна все больна — почти не ходит... И вы знаете, сын их умер.

— Как? Вася умер?

У Розанова было четыре дочери и единственный сын, Вася.

— Да, умер. Его взяли в красную армию...

Перебиваю:

— Да ведь ему лет 15—16?

— Ну, набирают теперь молодежь, даже четырнадцатилетних. Отправили куда-то далеко, к Польше. Да он не доехал. Заразился в поезде сыпным тифом и умер. С тех пор и Василий Васильевич нездоров. Впрочем, истощен тоже очень. «Апокалипсис» его до последнего времени выходил. Теперь — не знаю. Думаю, и в продаже его уже нет. Все ведь книги запрещены.

Окурки собирает... Болен... Странный стал... Жена почти не встает... И Вася, сын, умер...

Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: теперь казалось естественным. У всех, кажется, все умерли; все, кажется, подбирают окурки...

Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив.

Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное, непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней,— от этого

скука потрясающая. Кто не видал революции — тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье.

И было три главных телесных ощущения: *голода* (скорее всего привыкаешь), *темноты* (хуже гораздо) и *холода* (почти невозможно привыкнуть).

В этом длительно-однообразном тройном страдании — цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.

И Меньшикова расстреляли.

— За «Новое время». Он в Волочок уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься.

— Вот как.

— Да, говорят, и Розанова расстреляли. Тоже за «Новое время», очевидно. Это слух.

— И Розанова?

— А В. опять в Чека увезли. Вчера. Напишите Горькому. Вы ему еще не писали. Напишите вы теперь.

— Я?

Мне донельзя противно писать Горькому. Но действительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня. И В. очень жалко. Да и силы сопротивления у меня нет. Конечно, Горький меня не послушает. Дочь этой самой несчастной и невинной больной В., которую уже пятый раз волокут в Чека, целую ночь просидела у него на лестнице, ожидая приема. Не принял. Что же я?

Однако вяло беру бумагу. «Дорогой...», «уважаемый...»? Не поднимается рука. Просто: «Алексей Максимович...»

Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: вы вот русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...

Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно? Что терять? Без того противно писать Горькому. И бесцельно.

К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький пальцем насчет В. и Чека, не помню; но насчет Розанова как будто двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег.

Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х⟨овина⟩, к нам пришедшего. Этот Х⟨овин⟩ умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюрки, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний Розановский «Апокалипсис».

Х⟨овин⟩, оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с Лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы; надеялся добыть еще и свезти их Розанову сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому смертельно, болен.

— Было кровоизлияние; немного оправился — второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.

Х⟨овин⟩ принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».

Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было,— у него были. Тьма, голод и *холод* — смерть.

> «Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» — организму человеческому как организму «теплокровному». Он боится холода и как-то *душевно боится*, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как «гусиная кожа на холоду...».

Вот он снова его страх перед *холодом*. И как страшно холод настигал его. Настиг, внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью; схватил, внутренний, в болезни; и уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал — в смерти.

А защищаться было нечем. «Топлива для организма», еды,— не было.

> «Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не сты-

дится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...»

Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирал). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:

«Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц — может часто спасти день мой...»

Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.

Скоро, через Х⟨овина⟩ (а может быть, и нет), пришло к нам первое письмо Розанова, уже больного,— написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).

Первое, потом второе, потом третье... Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посылалось и другим, я думаю,— вот о «холоде» его предсмертном потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете. Наверно, писал он Горькому (и наверно, Горький письма сохранил, ведь его собственность всегда была неприкосновенна). «Спасибо Максимушке»,— ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарил его за подачку: на картошку какую-то хватило.

Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени...» Потом вдруг шутил; и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги — уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все подымается выше... Но — как передать? — ни в одной, самой страшной строке — не было «нытья», и даже почти жалобы не было, а детская разве жалостность.

«Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлебца кусочек, и так хорошо».

Но потом вдруг:

«Пирожка бы... Творожка бы...»

О дочерях писал; какие они, как за ним ухаживают: «На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, перекладывает, пока ту поправ-

ляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь...»

О жене — кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске — для нее.

Эти письма, писанные дочерью, до такой степени сам Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он, в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно разве: в предпоследние годы его бесчисленные мыслеощущения, его «да — нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода — смерти» — были уже так заострены, что куда же дальше? И однако они еще обострились, отточились; дошли до колющей тонкости, силы и яркости.

Ледяные воды поднимались к сердцу.

7

СЛОВА ЛЮБВИ

— Розанов нашел приют в Троице-Сергиевской Лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Ф⟨лоренским⟩, который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.

Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.

— Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот — дружба с Ф⟨лоренским⟩ и, параллельно, отход от евреев; обращение к христианству, к православию, переезд в Лавру...

Это говорили люди, судя Розанова по-своему,— во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было похоже на правду.

А что — на самом деле? Посмотрим.

> «Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя, обжигает меня.
>
> Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгниет мой народ».

Не написано ли это уже во время «поворота», уже под

влиянием Ф⟨лоренского⟩, не в Лавре ли? О нет! до войны, до Ф⟨лоренского⟩; в самый разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В «Лавре» же, в последние месяцы, вот что писалось — выговаривалось:

> «Евреи — самый утонченный народ в Европе...» «Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским...» «И везде они несут благородную и святую идею «греха» (я плачу), без которой нет религии... Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». Социализм? но «ведь социализм выражает мысль о «братстве народов» и «братстве людей», и они в него уперлись...».

Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Ф⟨лоренского⟩? Это — о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет т е п е р ь, в Лавре?

> «Ужас, о котором они не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую». «Попробуйте распять Солнце, и вы увидите, который Бог». «Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству...»

Что же это такое? Что скажем?

Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и л ю б в и своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за 6 лет до смерти:

> «...все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет». «Впервые забрезжило в уме. Если Он — Утешитель: то как хочу я утешения; и тогда Он — Бог мой. Неужели?
>
> Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все — объяснится.
>
> Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения. О, как она угрюма была, моя душа...
>
> Ужасно странно.
>
> Т. е. ужасное было, а странное наступает.

> Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела...»

И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается:

> «Душа восстанет из гроба; и переживет, каждая душа переживет, и грешная, и безгрешная, свою невыразимую «песнь песней». Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь».

Всегда возвращается; всегда — он, до конца — он, нашими законами не судимый, им неподклонный.

Вот почему не нужны, узки размышления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью, в чем изменился, что отверг, что принял.

Звонок по телефону:

— Розанов умер.

Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.

Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные дни. Кончину «христианскую», самую «православную», на руках Ф⟨лоренского⟩, под шапочкой Преподобного Сергия.

Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он — «узел, Богом связанный», пусть его Бог и развязывает.

Христианин или не христианин — чтó мы знаем? но верю, и тогда, когда лежал он совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:

> Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?
>
> Неужели умрем, и ничего?
>
> Господи, неужели это — Ты.

1923

ОТРЫВОЧНОЕ

О Сологубе

1

Люблю я грусть твоих просторов,
Мой милый край, святая Русь...
. . . .
И все твои пути мне милы.
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы,—
Я не хочу с него свернуть.

О Блоке можно было написать почти все, что помнилось: он умер. И о Розанове. Да и о Брюсове: он хуже, чем умер, он — большевицкий цензор, сумасшедше жестокий коммунист, пишет оды на смерть Ленина и превратился из поэта в беспомощного рифмоплета... что даже удивительно (или, напротив, не удивительно).

Но могу ли я говорить о Сологубе?

Он в России.

Я его знаю, люблю неизменно, уважаю неизменно вот уже почти тридцать лет. В последние годы, пожалуй, еще более люблю, еще более уважаю.

Но он в России.

По-прежнему я считаю его одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков. Для меня было бы только удовольствием написать еще одну (которую?) статью о его произведениях.

Но... *он в России.* Об это «он в России» — разбиваются, как о камень, все мои намерения. Нельзя писать о его литературе, у нас нет здесь его книг (есть ли они там?). Нет старого; о новом же мы почти и совсем ничего не знаем. Едва настолько, чтобы не сомневаться в непрестанном росте его души и таланта.

Он в России, в России, в родном городе святого Петра — Санкт-Петербурге,— на его глазах разрушенном до последнего камня, до Ленинграда... и одну ли эту потерю видели его глаза? Он в России... и пусть, кто может, поймет, почему мои слова о Сологубе будут сегодня краткими, отрывочными, целомудренно бледными. Главное — отрывочными.

Даже хотелось бы никаких не говорить... но все равно. Не для себя и не для него — для других вызову из прошлого милые тени наших встреч.

2

> Быть с людьми — какое бремя!
> О, зачем же надо с ними жить,
> Отчего нельзя все время
> Чары деять, тихо ворожить?

«Тени» — первый рассказ Сологуба, напечатанный в «Сев⟨ерном⟩ вестн⟨ике⟩». Свежий и сейчас, как тогда. Но ранее там было напечатано его стихотворение — кажется, «Ограда». Коротенькое, но такое, что пройти мимо нельзя. Магия какая-то в каждой вещи Сологуба, даже в более слабой.

Мы уже знали, что это — скромный учитель, школьный. Петербуржец, но служил до сих пор в провинции. Молодой? Даже не очень молодой. А фамилия его — Тетерников.

Н. Минский, тогда секретарь «Северного вестника», решил, что с такой фамилией нельзя выступать. Предложил ему наскоро, очевидно по неудачной ассоциации (выдумать не умел) — псевдоним «Сологуб». Только и было его выдумки, что одно «л»,— вместо двух в имени старого, весьма среднего писателя — графа Соллогуба.

Не знаю, как понравился псевдоним новому поэту, но он его принял. Минский очень увлекался и псевдонимом, и самим поэтом. В то время (дни декадентства) «Сев⟨ерный⟩ вестник» шел навстречу «новым талантам», даже искал их (добрая память ему за это).

У меня, при моем и тогда не увлекающемся характере, увлечения Сологубом не было; просто он мне очень нравился. Даже он один из всех и нравился; а не мало было их, новых, из которых иные пропали, а многие имеют ныне старые, заслуженно или незаслуженно громкие имена.

На Пушкинской улице в Петербурге был громадный пятиэтажный дом — гостиница, не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам.

Не избег ее и Минский. Говорил про себя тогда:

Он жил в Пале,
Он пел в Рояле.

Немало интересных собраний повидали на своем веку номерки этого Пале-Рояля, скромные, серым штофом перегороженные. Там впоследствии жил Перцов, там бывал Розанов, эстеты «Мира искусства»...

Там пришлось мне в первый раз увидать и Сологуба-Тетерникова.

Это было в летний или весенний солнечный день. В комнате Минского, на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью, стола, сидел весь светлый, бледно-рыжеватый человек. Прямая, невьющаяся борода, такие же бледные, падающие усы, со лба лысина, pince-nez на черном шнурочке.

В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре — спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях не мог бы «суетиться». Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил — это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь — такая же спокойная непроницаемость, как и молчание.

Минский болтал все время, конечно, Сологуб слушал... а может быть, и не слушал, просто сидел и естественно, спокойно молчал.

— Как же вам понравилась наша восходящая звезда? — пристал ко мне Минский, когда Сологуб, неторопливо простившись, ушел.— Можно ли вообразить менее «поэтическую» наружность? Лысый, да еще каменный... Подумайте!

— Нечего и думать,— отвечаю.— Отличный; никакой ему другой наружности не надо. Он сидит — будто ворожит; или сам заворожен.

В нем, правда, был колдун. Когда мы после подружились, то нередко и в глаза дразнили его этим колдовством.

3

«...Приветствую тихие стены
Обители бедной моей...»

На Васильевском Острове, в одной из дальних линий, где по ночам едва тусклятся редкие фонари, а по веснам извозчик качается на глыбах несколотого льда — серый

деревянный домик с широким мезонином. Городская школа.

Внизу — большие низкие горницы, уставленные партами. Там вечером темно и еще носится особый школьный запах: пыли меловой, усыхающих чернил, сапог и мальчишеских затылков.

А наверху — квартира Сологуба, «казенная». Он учитель и директор (или что-то вроде) этой школы.

Совсем они особенные — квартиры в старых деревянных, с мезонинами, домах. Свой лик во всем: в стенах, в порогах, в убранстве... Как милое лицо деревенской девушки исказилось бы под парижской шляпкой, так и уют квартирки исказило бы современство, все равно в чем: в мебели, в занавесах, даже в самих людях, там живущих. Исчезла бы гармония.

Квартира Сологуба воистину была прекрасна, ибо вся гармонична.

Он жил с сестрой, пожилой девушкой, тихой, скромной, худенькой. Сразу было видно, что они очень любят друг друга. Когда собирались гости (Сологуба уже знали тогда),— так заботливо приготовляла чай тихая сестра на тоненьком квадратном столе, и салфеточки были такие белые, блестящие, в кольце света висячей керосиновой лампы.

Точно и везде все было белое: стены, тюль на окнах... Но разноцветные теплились перед образами, в каждой комнате, лампадки: в одной розовая, в другой изумрудная, в третьей, в углу, темно-пурпуровый дышал огонек.

Сестра, тихая, нисколько не дичилась новых людей — литераторов. Она умела приветливо молчать и приветливо и просто говорить.

Я еще как будто вижу ее, тонкую, в черном платье, часто кашляющую: у нее слабое здоровье и по зимам не проходит «бронхит».

После чаю иногда уходили в узкий кабинетик Федора Кузьмича (он всегда писал свое имя с «фиты»). В кабинетике много книг и не очень светло: одна лампа под зеленым фарфоровым абажуром (в углу лампадка тоже бледно-зеленая).

Сестру Сологуба, если память не изменяет мне, звали Ольгой; Ольгой Кузьминишной. Иногда помогала разливать чай ее подруга, такая же тихая, в таком же глухом черном платье.

Шли годы, Сологуб становился все известнее. Появля-

лись, одна за другой, его книжки — первая, тоненькая, стихи; потом роман, ранее напечатанный в «Сев⟨ерном⟩ вестнике», рассказы... Он занял в литературе такое *свое* место и так твердо стоял на нем, что не понявшие его сначала — остались непонимающими и тогда, когда не признавать его уже сделалось нельзя.

Он бывал всюду, везде непроницаемо спокойный, скупой на слова; подчас зло, без улыбки, остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун. Ведь и в романах у него, и в рассказах, и в стихах — одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом и не перестает быть сказкой.

Мечта и действительность в вечном притяжении и в вечной борьбе — вот трагедия Сологуба.

...Хочу конца, ищу начала,
Предвижу роковой предел.
Противоречий я хотел,
Мечта владычицею стала.

Его влечет таинственная «звезда Маир» и — не наша «земля Ойле»... с которой он вдруг опять хочет возвратиться на родную, свою, нашу. Но на ней Дульцинея не превращается ли слишком часто в «дебелую Альдонсу»? и Сологуб, как праотец Адам, которому неожиданно была дана Ева, горько тоскует об ушедшей, легкой Лилит.

Когда Сологуб выходил на эстраду, с неподвижным лицом, в pince-nez на черном шнурочке, и совершенно бесстрастным, каменно-спокойным голосом читал действительно волшебные стихи,— он сам казался трагическим противоречием своим, сплетением здешнего с нездешним, реального с небывалым. И еще вопрос: может быть, настоящая-то реальность и есть это таинственное сплетение двух изначальных линий?

Сологуб — скажу кстати — совершенно не мог слышать своих собственных стихов, когда их с эстрады читал кто-нибудь другой, «с выражением». Я, впрочем, тоже; и на одном вечере, где читали все его и мои стихи, мы с ним столкнулись в дверях, оба стремясь вон из залы. Но это что! Воображаю, как был бы доволен поэт, если б слышал свои «Чертовы качели», исполнявшиеся раз в Минске (под поляками, в 20 году) на шумной студенческой вечеринке! Рыжая молодая любительница,

дебелая «Альдонса», вопила истошным голосом, мечась по эстраде, а когда зыкнула уже совершенно как труба: «Качайся, черт с тобой!» — зал радостно захохотал и зааплодировал.

Хорошо, что не было Сологуба!

Вспоминается один мой деловой визит на Остров, в светлый, холодный весенний вечер.

Брат и сестра кончали обед, на том же шатком четыреугольном столе, у окна с тюлевыми занавесями.

Свет бело-зеленый, неумирающий. Виноградная кисточка в стеклянной вазе. Я зову Сологуба участвовать на благотворительном вечере. В частной квартире, ибо цель его не может быть указана. Один из вечеров, которые устраивали постоянно русские писатели в пользу политических заключенных (Полит⟨ический⟩ Кр⟨асный⟩ Крест). Богатые люди, аристократия, генералы — охотно давали свои квартиры, рассылая билеты-приглашения «на чашку чая», и эти билеты недурно оплачивались.

Ближайший вечер — в квартире пожилого генерала, литераторам почти не знакомого (погиб, помнится, во время революции).

Объясняю все это Сологубу. Он согласен, конечно, только затрудняется:

— Что же мне прочитать?

— Ну вот, мало ли у вас стихов! Мне куда труднее... Знаете что? Давайте прочтем нашу переписку шутливую? Хотите? Вы свое читайте, а я свое... Будет забавно.

Мы так и решили, и действительно прочли на этом вечере нашу краткую переписку в стихах (Сологуб, конечно, читал и другие вещи).

Оба прекрасные ответные стихотворения Сологуба вошли потом в его книги; мои не были напечатаны и затерялись. Помню лишь первое, совсем шутливое, поводом к которому послужили разные мелкие «колдовства» Сологуба — над чьими-то калошами, а главное, случай с Вяч. Ивановым только что приехавший тогда из-за границы поэт-европеец отправился знакомиться с Сологубом. Да так пропал, с утра, что жена тщетно искала его по всему городу. И сидела у нас, в ужасе, когда ей дали знать, что он обретен наконец у себя в постели и в крапивной лихорадке. Словом, смешные пустяки; не знаю, почему и запомнилось:

Все колдует, все морочит
Лысоглавый наш Кузьмич.
И чего он только хочет
Колдовством своим достичь?
Невысокая природа
Колдовских его забав:
То калоши, то погода,
То Иванов Вячеслав...
Нет, уж ежели ты вещий,
Так не трогай эти вещи,
Потягайся с ведьмой мудрой,
Силу в силе покажи...
О, Кузьмич мой беднокудрый,
Ты меня заворожи!

Он и принялся меня «завораживать» прекрасным стихотворением о «Кругах». Отсюда уж пошла у нас поэтическая геометрия:

...Ты не в круге, весь ты в точке,
Я же в точку не вмещусь...
...будешь умирать,
И тогда поймешь и примешь
Троецветную печать...

О следующем стихотворении Сологуба помню только, что было оно написано мастерски, в удивительном ритме.

А кто знает здесь его строки, такие загадочные и таинственные, что даже духовные цензора (в журнале «Новый путь») долго сомневались, пропускать ли их:

Водой спокойной отражены,
Они бесстрастно обнажены
При свете тихом ночной луны.
Два отрока, две девы творят ночной обряд...

Эти стихи были специально выучены мною наизусть — чтобы дразнить В. В. Розанова. Он от них в ярость приходил.

Стопами белых ног едва колеблют струи
И волны, зыбляся у ног, звучат, как поцелуи...

— Ерунда, чепуха! — сердится Розанов.— Какие это поцелуи?

Огонь, пылавший в теле, томительно погас,
В торжественном пределе настал последний час...

— Да вы скажите, сколько их, сколько их? Двое или четверо? «Отражения в воде видны»... значит, двое?

Стопами белых ног, омытыми от пыли,
Таинственный порог они переступили...

Этот «порог» и «предел» приводили Розанова в особый раж. Непременно желал знать, что это такое. Однако самого Сологуба спросить никогда не решался. Со всеми интимничающий Розанов знал, что к Сологубу не очень подъедешь: «кирпич в сюртуке!»

4

...в молчании
Ты постигнешь закон бытия.
Все едино в создании,
Где сознанью возникнуть — Там Я.

...Я — все во всем, и нет иного,
Во мне родник живого дня.
Во тьме томления земного
Я — верный путь. Люби меня.

Костюмированный вечер.

Небольшая зала изящно отделанного особняка в переулке близ Невского. Розово-рыжие панно на стенах. Много электричества. Есть забавные костюмы. Смех, танцы... В открытые двери виден длинный стол, сервированный к ужину. Цветы.

Что это за бал? Большинство без масок, и какие все знакомые лица! Хозяйка — маленькая, черноволосая, живая, нервная молодая женщина, с большими возбужденными глазами. А хозяин — Сологуб.

Он теперь похож на старого римлянина: совсем лысый, гладко выбритый. В черном сюртуке, по-прежнему несуетливый и спокойный, любезный с гостями. Он много принимает. Новый литературный Петербург, пережив неудачную революцию, шумит и веселится, как никогда.

За время моего трехлетнего отсутствия многое изменилось. Умерла тихая сестра Сологуба: не «бронхит» у нее был, а чахотка. Очень выросла известность писателя. Какой он теперь «городской учитель»! Да и есть ли, существует ли еще серенький домик на Острове? Может быть,— да, может быть, еще пахнет внизу пылью и мелками, но уж наверху-то, наверно, не теплятся разноцветные лампадки...

Сологуб женился на молодой писательнице и переводчице А. Н. Чеботаревской.

Порывистая, впечатлительная, она окружила его атмосферой самого ревнивого поклонения. Слава Сологуба возрастала; никто не думал ее оспаривать, только любящей жене все казалось, что к нему несправедливы, что у него там или здесь — враги.

Сам Сологуб остался верен себе. Так же он замкнут в кольце холодка — «не подступиться». Так же, если не больше, спокоен, непроницаем, зло-остроумен. Если б нужно было одним словом определить узел его существа, первый и главный, то это можно бы сделать даже одной буквой: Я. В самом глубоком смысле, конечно: в смысле понятия личности. Не знаю человека с более острым, подземным, всесторонним ощущением единства человеческой личности.

Каждая строка его стихов; его лирика, его нежность и горечь насмешки; его сказка, вплетенная в обыденность; его лучшие рассказы (и лучший из лучших, Иринушка, «Помнишь, не забудешь?») — все это о том же, о неумирающей памяти, о неумирающей единой любви единого Я. Весь он в этом божественном узле... или в этой одной, воистину божественной, точке.

Да и теперь, в наши неслыханные дни, не то же ли звучит в его отрывочно долетающих к нам строках? То же; и только еще новая какая-то нота, мудрая и сильная. Мне вспомнилось недавно тютчевское «непризнание времени», а в звуках — шиллеровское:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел от мира перешла...

Но лишь вспомнились они, Тютчев и Шиллер, а сравнивать с ними Сологуба я не хочу. Пусть будут они, и пусть будет он, единственный: ведь в этом все, что каждый — единственный. Только этого-то как раз никто и не понимает.

5

Я здесь один, жесток мой рок,
А ты покоишься далече.
Но предуставлен Богом срок,
Когда свершиться нашей встрече.

Темно. Серые, промозглые сумерки. Очень холодно в нетопленой комнате. Сидим за столом, у нас. Сереется каждый, закутанный. И кажется закутанным в тряпки.

Впрочем, так оно почти и есть. На Сологубе пальто старое пузырится, на Анастасии Николаевне какая-то серая кофта в мохрах, валенки; а личико у нее — в кулачок, только глаза беспокойно блестят.

И мы не лучше. Мережковский в женском бархатном, вытертом шушуне и в калошах на туфлях войлочных.

Это Сологубы пришли к нам (пешком, конечно) с Вас. Острова, как часто приходят. На Васильевский они перебрались давно, еще с войны (потянуло на «родную сторону», говорил Сологуб). Но едва стукнул «красный Октябрь» — их с квартиры выгнали, забрав все, и мебель, и книги, и теперь они ютятся на Острове же, в каком-то «павильоне», где за ночь нарастает ледяная кора на полу.

— Видите, видите, Федор Кузьмич,— говорит с нервным хохотом Анастасия Николаевна,— вон у них какой хлеб, целый кусок...

На столе действительно лежит целый фунт черного хлеба, иглистого от соломы.

— Не завидуйте, Анастасия Николаевна. Не надо завидовать. И у нас вчера был хлеб.

У Сологуба такой же спокойный голос, чуть-чуть разве поглуше.

Мы беседуем... ну, как беседовали в то время в Петербурге люди, чуть живые не от холода и голода только, а от того, что отнята у них с пищей и теплом еще свобода самого дыханья.

Чуть живые, а все-таки живые. Говорим друг другу, что есть на земле иные страны. Есть, например, Франция. Париж. Там улицы, по улицам люди ходят, т. е. по тротуарам, а посередине — ездят. И ничего. И даже кафе есть, не запрещены. Анастасия Николаевна вдруг вспомнила, что долго жила в Париже. Уверяет, что русскому писателю при всех обстоятельствах хорошо быть наполовину парижанином.

— Вот и Федор Кузьмич так думает. Он даже по-французски стал стихи писать...

Но я хочу не французских, а русских стихов Сологуба. И он начинает читать, медленно, монотонно, твердо — одно стихотворение за другим.

Они такие, что я прошу А. Н. в передней: «Перепишите их для меня. Хочу их иметь. Все». Вышло много листков. Об одном. Было и ужасно — и хорошо перечитывать их. Но я их не помню, их нет, не надо о них.

Так мы видались, над коркой хлеба, в мертвом холоде — не раз...

Через долгие, долгие месяцы после разлуки, весной — письмо. В тот самый Париж, где «улицы, и люди ездят, и ничего». Бездомная воля! Горька ты, а все слаще и достойнее такой же бездомной неволи...

Писали нам оба, и сам Сологуб, и она. Писали радостно, что свершилось наконец, что их «выпускают». Дело только за «формальностями». Едут, конечно, в Париж.

Не приехали. Не выпустили их: обещали выпустить. Прошла весна, лето прошло, и новая осень наступила.

Этого томленья уже не могла выдержать А. Н. Ни душа ее, ни тонкое, как призрак, тело. Глухой осенней ночью она бросилась в замерзающую, черную воду Невы. Говорили, будто видел это какой-то прохожий... Но не знали. А нашли ее только после половодья, следующей весной.

И было еще одно письмо Сологуба — вот об этом. Что нашли тело и похоронили Анастасию Николаевну.

Больше ничего не было. Больше я ничего не знаю.

Пылавшие в огне — сгорели,
    Сказала мне она.
Тебе, в земном твоем пределе,
    Я больше не нужна.
Любовью сожжена безмерной
    И смертью смерть поправ,
Я вознеслась стопою верной
    На росы райских трав.
И ты найдешь меня, любимый...

Да, вот это я знаю, твердо, что он ее найдет. Знаю потому, что для него нет мертвых, но все живы.

1924

БЛАГОУХАНИЕ СЕДИН

О многих

1

Можно ли писать о тех, кого встречал в годы ранней юности?

Можно, только очень трудно. Юность занята собою, на окружающих смотрит вполглаза. Самый неблагодарный — да и неприятный — возраст 17—20 лет. К жизни еще не привык; к себе самому тоже; ни жизни, ни смерти, ни людей не понимаешь, а между тем убежден, что отлично все видишь, понял и даже во всем слегка разочаровался.

Досадно это юное невнимание к внешнему, усиленное внимание к себе. Но оно естественно, ничего не поделаешь. Я буду писать о юных встречах — о знаменитых стариках — просто что заметилось и что и как запомнилось (соблюдая всегдашнее мое правило — держаться лишь свидетельства собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук — опасно сливаются со сплетнями). Если придется кое-где упоминать о себе — прошу меня извинить: это возраст. Седовласые друзья мои извиняли не только неблагодарный возраст, но и соответственно неблагодарный вид мой: вид и манеры избалованного подростка. Журналы уже печатали мои «произведения», но и это не делало меня солиднее.

Старая литература в то время была на кончике. Достоевский, Тургенев, Алексей Толстой умерли; но некоторые, если не столь знаменитые,— все же известные,— «высоко держали знамя» русской литературы: были живы Полонский, Майков, Плещеев, Григорович, Вейнберг... не говоря о других, ныне забытых.

Был, наконец, жив Лев Толстой (его, впрочем, мне пришлось увидеть много позже).

Признаться, меня в первое время удивляло, что и эти «еще живы». Удивляло не ра́зумно, конечно, а в ощущении: если в хрестоматии учишь стихи Пушкина, Полонского и Плещеева, если с одиннадцати до шестна-

дцати лет одинаково читаешь Гоголя, Толстого, Григоровича и Достоевского — начинает казаться, что всех их, без изъятия, давно нет как людей — есть их книги. Это, впрочем, странное чувство, его трудно передать, а юности оно свойственно.

Первым знакомцем моим был Плещеев. С него у меня и началось влечение к «благоуханным сединам». «Благоуханье седин» — не теперешнее, а именно тогдашнее мое выраженье.

А. Н. Плещеев заведовал стихотворным отделом «Северного вестника» (самая первая редакция: Анна Михайловна Евреинова с мопсом, издание Сабашниковой).

Мы пригласили Плещеева обедать и решили постараться: знали, что он любит покушать.

Приехал он с очень тонкой любезностью: привез мне на прочтение редакционные стихи. Я, не без гордой радости, соглашаюсь ему «помочь».

— Это вот,— говорит Плещеев,— настоящие поэты. Льдов — молодой, но уж печатался. Аполлон Коринфский... А это — не знаю, всякие, в редакцию присланы...

Мне, однако, и льдовские не очень нравятся: врожденное, верно, чувство к стихам. Я ведь и самого Плещеева считаю «детским» поэтом и уже отлично понимаю, чем пушкинский «Пророк» лучше лермонтовского...

Стараюсь убедить себя, что к «живым» поэтам надо быть снисходительнее (хотя почему?), но льдовские, вот эти, все не нравятся:

...И грезят ландышей склоненные бокалы
О тайнах бытия...

Мережковский кричит, что Льдов настоящий поэт, что у него есть «дивные» стихи:

Как пламя дальнего кадила,
Закат горел и догорал.
Ты равнодушно уходила,
Я пламенел — я умирал...

Плещеев склоняется к «бокалам», я скромно не противоречу. Зато из вороха несчастных «неизвестных» извлекаю немедля презабавные строки — описание весны:

Лес листвою одеётся,
Зеленеют деревья,
И в кустах уж раздается
Громкий голос соловья...

Плещеев мне очень нравится. Он — большой, несколько грузный старик, с гладкими, довольно густыми волосами, желто-белыми (проседь блондина), и великолепной, совсем белой бородой, которая нежно стелется по жилету. Правильные, слегка расплывшиеся черты; породистый нос и как будто суровые брови... но в голубоватых глазах — такая русская мягкость, особая, русская, до рассыпанности, доброта и детскость, что и брови кажутся суровыми — «нарочно».

Нравилось мне в Плещееве и его добродушное эпикурейство. Когда-то он имел состояние, но покойный Щедрин говорил, что он его «в Москве на сладких пирожках проел». И на хлебосольстве, вероятно. Теперь, в Петербурге, он жил стесненно, почти в нужде. Получал из «Сев⟨ерного⟩ вестника» грошовое жалованье...

Против собора Спаса Преображения — у Плещеевых скромная квартира в партере, с очень низкими потолками. Случались там «вечеринки» (не часто). И когда набьется куча всякого народу, старых, молодых, знаменитых и неизвестных — душно. Молодежь пела хором, потом затевались танцы. Старик Плещеев так бодро и благостно глядел на танцующих, что вот, кажется, сам сейчас пойдет вальсировать.

Мы бывали в семье Плещеева и запросто. Сына его тогда не помню, а лишь вторую жену, Катерину Михайловну, ее дочь, молоденькую Любочку, и дочь Плещеева от первого брака, Леночку, представительную, красивую блондинку с изящными руками.

К нам Плещеев любил приходить один, обедать или так. Мы болтали о стихах и о чем придется. Ему нравилась моя живость и юность: уверял, что юность его вообще «расшевеливает».

О стихах мы, однако, говорили больше о редакционных, и если о литературе — то скорее о современных литературных делах и делишках. Раз, впрочем, Плещеев рассказывал о Некрасове: как Некрасов, поздно ночью, читал ему у себя, вслух, только что написанную поэму «Рыцарь на час». И читал так, что когда дошел до известных строк обращенья к матери:

...Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви,—

то и Плещеев, и сам Некрасов (кажется, был и еще кто-то) — плакали, Плещеев даже рыдал, уронив голову на стол.

Плещеев рассказывал об этом очень просто, но когда рассказывал — было понятно, что и нельзя иначе и что сам в ту минуту, верно, так же бы плакал.

Никогда Плещеев не говорил ни о Полонском, ни о Майкове. И вот я, приглядываясь к петербургской жизни, делаю открытие: существует какая-то черта, разделяющая литературных людей, литературных стариков, да и всех вообще, пожалуй. Есть, оказывается, «либералы», как Плещеев, Вейнберг, Семевский, и затем другие, не либералы или менее либералы. Самым худшим считался еще неизвестный мне старик Суворин, редактор «Нового времени». Газету все читают, а писать в ней «нельзя».

Но как все-таки удивляло меня вначале: вот два поэта, их мы и называть привыкли вместе, и в хрестоматиях они рядом, и оба «живы» оказались, и в одном городе живут: Плещеев и Полонский. А никогда не видятся, друг у друга не бывают... Лишь понемногу начинаю я разбираться. Полонский? Да, и он старый русский поэт, и в тех же хрестоматиях напечатан, и так же небогат, как Плещеев, и даже в квартире, чуть получше плещеевской, почти такие же низкие потолки,— только и разницы, что она на самой вышке, на пятом этаже, а плещеевская совсем на тротуаре. И у Полонского в семье молодежь — юная дочь, сыновья-студенты... Но Полонский — *цензор*. Теперь ли цензор, или был во время оно — не знаю, однако уже понимаю смутно: Плещеева, с его прекрасной, почтенной бородой и стихотворением «Вперед, без страха и сомненья!» — должна разделять некая бездна с цензором, который «запрещает». У П. И. Вейнберга тоже великолепная борода (в другом стиле) и свое, соответственное, стихотворение «Море» —

Бесконечной пеленою
Развернулось предо мною...—

и Вейнберг тоже не бывает на пятницах Полонского-цензора...

Таковы мои первые, формальные наблюдения. Детали от меня еще ускользают: почему мы — я, Мережковский и другие молодые литераторы и даже некоторые не совсем молодые,— можем бывать и у Плещеева, и у Полонского... и ничего? Почему у Суворина, к примеру, и мы бывать не можем, хотя он не цензор?

Но эти детали не очень беспокоят меня; я с удовольствием пока что иду и к Полонскому.

2

«Пятницы» Полонского — совсем другое, нежели вечеринки Плещеева. Разницу я еще не могу определить, ибо это оттенок, но я ее чувствую.

Большая зала с окнами на две улицы, Знаменскую и Бассейную (вышка Полонского — угловая). Во всю длину залы — накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?).

За столом — гости.

Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя... Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол.

Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые,— встают и уходят те, кто чай кончил.

Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом.

Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика — Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом — его костыли.

У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая — но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем.

От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немножко с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе.

Ко мне Полонский проявил сразу большое благоволенье. Часто усаживал около себя.

Гости в кабинете подбирались все солидные, вероятно, известные (не мне, в то время). Молодежь — дети Полонского со своими гостями, студентами и барышнями, хохотала в смежной комнате, куда была открыта дверь.

Признаюсь: сначала эта смежная комната возбуждала во мне грустную зависть. Ужасно хотелось туда, к ним, где было так весело. Хотелось — и, увы, было невозможно. Что ж такое, что мне лет меньше, чем многим из них; они — петербургская «молодежь» и у них свои дела. Я — другое, я уж литератор, я печатаюсь. Мне надо сидеть в кабинете и слушать, что говорят литераторы.

Безвыходность положения смирила меня. Что ж, постараемся и здесь не скучать. Если бы дверь они, однако, затворяли!

Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом.

Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко.

Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось.

Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось.

Есть фо-орма,— но она пуста!
Краси-иво — но не красота!

Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыкании Полонского.

Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение:

Что мне она? Не жена, не любовница
И не родная мне дочь.
Так почему ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь?..

Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне), и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе, как громовержно продекламировал бы его Яков Петрович:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена — стихия.

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена — свобода!

Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие,— ему было в высокой степени наплевать.

Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты... Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн... На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря, в день рождения Полонского, бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра.

Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг.

Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами... Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют... Мне подумалось: а ведь это ей написано:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...

Все ли знают, что бал этот — маскарад, «тайна» — просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица?

Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю...

Какая магия в этом стихотворении! И какое волшебство — душа человеческая! Не видал лица — и лишь «казалось», что любит. Увидал — такое некрасивое (в молодости она была еще некрасивее) — и вот — уже наверно знает, что любит.

Среди толпы, то в той, то в этой комнате прохаживался, особняком, какой-то странноватый человек. Мы с ним все поглядывали друг на друга, я на него, он на меня. Не очень высокий, худощавый, походка нетороплива, зацепляющая каблуками пол. Бледный... старик? нет, неизвестного возраста человек-существо с жилистой птичьей шеей и — главное (это-то меня и поразило) — с особенно бледными, прозрачными-восковыми, большими ушами. В этих ушах было даже что-то жуткое.

Все ходит ушан, все посматривает. Ни с кем не говорит. Нет, вот остановился, разговаривает с дочерью Достоевского... Опять пошел. И возвращается. Ах, теперь они о чем-то разговаривают с Минским. Надо спросить Минского.

Но Минский затерялся в толпе и нашелся только через долгое время, когда ушан совсем исчез.

— Скажите, пожалуйста, кто это был... с ушами? Подошел к вам недавно, у окна?

— Как, вы не знаете? А он меня о вас спрашивал. Да это Победоносцев!

3

Я вернусь к Полонскому, ибо помню еще одну черту в нем, не лишенную интереса, но сейчас мне хочется дорисовать милый облик все-таки первого из моих старых друзей — Плещеева.

Мы часто виделись, а если не виделись — то писали друг другу записочки и даже целые письма. Когда же летом разъехались — он на дачу, на станцию Преображенскую, мы — под Москву, переписка наша стала необыкновенно оживленной. Я как будто вижу его меленький-меленький черный почерк, на небольших почто-

вых листиках, по линейкам. О чем только не писал он мне! И о стихах, и о жизни, и о людях, и о даче... Но тон был всегда прелестный: никогда — как старший пишет младшему; детская и нежная шутливость, ну совсем точно не лежало между нами четыре десятка лет.

Писал о журнальных делах... И вдруг однажды такое письмо: «...скажите Дм. С-чу (Мережковскому), чтобы он не спешил искать издателя для своих двух книг и к Суворину подождал бы обращаться: я, может быть, сам их издам. Вы удивитесь, спросите, откуда у меня деньги? Дело в том, что случилась неожиданность: я, кажется, скоро буду богат, и очень богат...»

Действительно неожиданность: на голову Плещеева свалилось громадное наследство. Боюсь напутать, но, кажется, от какой-то дальней родственницы, на которую он и рассчитывать почти не мог. Наследство спорное; однако после хлопот его утвердили, и Плещеев очень быстро, со всей семьей, уехал в Париж.

В тот год, к весне, и мы с Мережковским решили съездить недель на шесть за границу — в Италию.

Это было мое первое заграничное путешествие. По России-то пришлось покататься — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды»,— но Европа... ведь Европа совсем другое!

И она захватила меня с самой Вены. Венеция, первый итальянский город, так навсегда и осталась в воспоминании «самым первым городом на свете».

Мы жили там уже две недели, когда раз Мережковский, увидев в цветном сумраке св. Марка сутулую спину высокого старика в коричневой крылатке, сказал:

— А ведь это Суворин! Другой, что с ним,— Чехов. Когда они выйдут на площадь, я поздороваюсь с Чеховым. Он нас познакомит с Сувориным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин, хоть и того же поля ягода, но на вкус иная. Любопытный человек, во всяком случае.

Чехова мы оба считали самым талантливым из молодых беллетристов. Мережковский даже недавно написал о нем статью в «Сев⟨ерном⟩ вестнике». И однако меня Чехов мало интересовал: детское убеждение, во-первых, что все равно никто из теперешних не сравнится с Гоголем, Толстым и Достоевским, а во-вторых, и безотносительно писанья Чехова казались мне какими-то жидкими. Ну, а познакомиться со «страшным» Сувориным — хотелось: и привычка к старикам, да и любопытно.

Я отступаю от моей темы, касаясь Суворина: ведь его седины — совсем не «благоухали»! Позволяю себе такое отступление ради интереса, который имеет его характерная для России личность.

Но ранее я, кажется, дерзну на еще большую вольность: скажу несколько слов о Чехове. А у него не только не было «седин», но даже чувствовалось, что никогда никаких и не будет. Не оттого, что приходила мысль о его ранней смерти. Но оттого, что Чехов,— мне, по крайней мере,— казался природно *без лет*.

Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов; и при каждой встрече — он был тот же, не старше и не моложе, чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое; оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеке и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных. Но они так тонки, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа.

А эта основа — *статичность*.

В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения: нет, он был живой человек и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один (если и это дар) был дар — *не двигаться во времени*.

Всякая личность (в философском понятии) — ограниченность. Но у личности в движении — границы волнующиеся, зыбкие, упругие и растяжимые. У Чехова они тверды, раз навсегда определены. Что внутри есть — то есть; чего нет — того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был — сразу. Не возрастая — естественно был он чужд и «возрасту». Родился сорокалетним — и умер сорокалетним, как бы в собственном зените.

«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента»,— сказал про него однажды С. Андреевский. Да, именно — момента. Времени у Чехова нет, а момент очень есть. Слово же «нормальный» — точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная», по нем, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образо-

вания и культурности, он соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему — писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально.

Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не мог представить, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или — как Гоголь постился бы десять дней, сжег «Чайку», «Вишневый сад», «Трех сестер» и лишь потом — умер. Иногда Чехов делал попытки (довольно равнодушные) написать что-нибудь выходящее из рамок нормального рационализма. Касался «безумия» (не безумие ли Гоголь, не безумие ли черти Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумец ли со своим «Хозяином»?), но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно и — по-докторски извне. Или же получалась — это гениально сказал про «Черного монаха» один мой друг — просто «мрачная олеография».

Так же *извне* смотрел Чехов и на женщину — ведь он мужчина! и в нем самом ни одной черты женской! Он наблюдает ее, исследует ее; нормально ухаживает, если она ему нравится, нормально женится. Очень показательны в этом смысле его письма (недавно выпущенные) к невесте и жене. Как все в них «соответственно», все на своих местах и как «нормально»!

Чехов, уже по одной цельности своей,— человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к «норме» и к статике, но бессловесным. Он их выразитель «в искусстве». Впрочем — не знаю, где теперь эти души: жизнь, движение, события все перевернули, и Бог знает что сделали с понятием «нормы». Ведь и норма — линия передвижная; Чехов был «нормальный человек и писатель *момента*», т. е. и нормы, взятой в статике.

Отступление мое, однако, затянулось. Давно пора вернуться в Венецию.

«Страшный» Суворин (он даже у «цензора» Полонского не бывал!) мне понравился. Какой живой старик! Точно ртутью налит. Флегматичный Чехов двигался около него, как осенняя муха. Это Суворин

«вытащил» его за границу и явно «шапронировал» [1], показывал ему Европу, Италию. Слегка тыкал носом и в Марка, и в голубей, и в какие-то «произведения искусства». Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, нарочно «ничему не удивлялся», чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину.

Но было в Чехове немножко и настоящего безразличия к «чудесам Европы». У него уже имелся на них свой, чеховский взгляд. Суворин, смеясь, с досадой жаловался:

— Вот, все просится скорее в Рим. Авось, говорит, там можно где-нибудь хоть на травке полежать!

Последние дни в Венеции мы провели почти вместе. Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить «фалерно» в роскошный длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. Салон этот был увешан венецианскими, безрамными зеркалами и люстрами со сверканьем стеклянных подвесок. Золотое фалерно тоже сверкало. И все были веселы. Веселее всех — Суворин. Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и... вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:

— А черт его знает! Может, оно все и не так.

Меня эти его переверты, к собственному мнению презрительные, тогда просто забавляли. Лишь вдолге (мои личные отношения с Сувориным Венецией не кончились; встречались мы, положим, редко, случайно, но временами начинали переписку, довольно резкую) — лишь очень вдолге стал мне понятен глубокий душевный *нигилизм* этого примечательного русского человека. Талантливый, с хитрецой умный, он всего себя, черт знает почему, даже без удовольствия, душевно выпустил в трубу. По-русски.

Очень русское было у него и лицо. Как у Плещеева, как у Полонского. Но Плещеев, хоть и звал «вперед, без страха и сомненья», был настоящий русский барин, родовитый, мягкотелый, с широкой повадкой, с ленцой. В чертах Полонского — меньше добродушия; мелькало что-то, чуть-чуть, от петербургского чиновника. Настоящим чиновником, из важных, смотрел красивый, сухонь-

---

[1] От *фр.* chaperonner — сопровождать.— *Ред.*

кий, подобранный Майков с пронзительно умными глазами. Должно быть, Тургенев имел барственно-помещичий вид: его не сохранил или не достиг слишком живой и мелочный Григорович, когда (в те годы) устроил свою прическу и бородку «совсем под Тургенева».

А у Суворина было — тоже русское, но русское *мужицкое* лицо. Не то что грубое, и сказать, что в Суворине оставалась мужиковатость — никак нельзя. Но неуловимая хитринка сидела в нем; и черты, и весь облик его — именно облик умного и упрямого русского мужика. Седоватая борода не коротко подстрижена; глаза из-под густых бровей глядят весело и лукаво; зачесанные назад волосы (прежде, верно, русые) еще не поредели, только зализы на лбу. Оттого, что высок — сутулится, голова немного уходит в плечи.

Моя живость, очевидно, нравилась ему, как Плещееву; но чужая молодость, чтобы самому молодеть около нее, была ему не нужна: имелся как будто достаточный запас собственной.

Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. Я — впереди с Сувориным, за нами Чехов и Мережковский. Пока мы продолжаем наш спор, и Суворин горячится, и отлетают во все стороны полы его коричневой размахайки,— Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать каждую итальянскую «девочку»,— quanto? [1] Более подробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему не удается сделать, так, по крайней мере, хоть узнает, до чего может дойти дешевизна. Он уже встретил одну, которая ответила ему: «Cinque»...[2]

Мы все в одном и том же купе выехали в Пизу. Дорогой спорили о Буренине. Впрочем — не спорили: на все мои резкости Суворин виновато пожимал плечами и говорил:

— Да черт его знает... Нехороший человек, нельзя сказать, чтобы хороший...

Начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять. Из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике — Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем. В последний раз столкнулись в

---

[1] Сколько *(ит.)*.— *Ред.*

[2] Пять *(ит.)*.— *Ред.*

Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна — от цветных стекол — на белом мраморе. Опять живой и быстрый Суворин, медлительный Чехов... Уж не знаю, удалось ли ему тут, в Риме, где нибудь «на травке полежать»...

4

Мы рассчитывали быть в начале мая уже в России. Но вот середина мая, а мы — в Париже! В новом для меня Париже, с совсем еще новенькой Эйфелевой башней,— ведь ее не так давно, к последней выставке построили. Еще и парижане к ней не привыкли.

Что же случилось?

Случилось, что пришло в Рим очаровательное, нежное письмо Плещеева: раз уж мы за границей — как не приедем к нему? «...Ну, хоть ненадолго, если б вы знали, как тут хорошо! Май — лучший месяц в Париже. Приезжайте прямо в мою гостиницу...»

Гостиница эта оказалась отелем Mirabeau (тогда еще не перестроенным). Широкий балкон плещеевских апартаментов выходит на улицу, и прямо передо мною — скромная золотая вывеска «Worth». Налево сереет Вандомская колонна, внизу весело позванивают бубенчики фиакров.

— Правда, хорошо? — спрашивают нарядные дочери Плещеева, показывая мне «свой» Париж.— А как вас папа ждал!

Старик тоже с нами. А потом мы пьем чай на круглом столе, в салоне. Алексей Николаевич оживлен. Очень обрадовался мне — да и я ему. В нем, впрочем, есть какая-то перемена. Не та, что вот, вместо низенькой залы на Спасской, он сидит в кресле лучшего парижского отеля на rue de la Paix. Но он похудел, осунулся и в кресле сидит тяжелее; он, несмотря на оживление, больше «старик», чем был в Петербурге, когда взбирался к нам на пятый этаж.

Но это еще едва заметно. Париж его «расшевеливает», говорит он, как вечная молодость. Дома не сидится. Мы ходим с ним по улицам, едем в Булонский лес, а вечером — в кафе des Ambassadeurs, где молоденькая, тоненькая diseuse [1] в черных перчатках, Ivette Guilbert, производит фурор.

[1] Актриса разговорного жанра *(фр.)*.— *Ред.*

Бывает, что обед особенно вкусен (а Плещеев любит покушать); раз, после особенно плотной трапезы, он сказал: «Ну, теперь ведите меня в assommoir!» [1],— и тотчас же сам добродушно расхохотался над собой:

— Тьфу ты, я хотел — в ascenceur! [2] А лакеи-то глядят на меня: обедал-обедал, и вдруг еще ведите старика в ассомуар!

Но и тут, отдохнет немножко,— и опять за цилиндр (он стал франтом):

— Пойдемте, хоть так по бульварам пройдемся, поглядим!..

Внезапное богатство после нужды, да еще на старости лет, хотя бы для человека и состоятельного когда-то,— вещь нелегкая. А то, что разбогател Плещеев, «передовой» (как тогда говорили) поэт, со всем своим «светлым» прошлым (он был замешан в дело петрашевцев и даже приговорен к смертной казни),— все это положения не облегчало, а очень осложняло.

Однако могу засвидетельствовать, что неожиданная перемена судьбы не исказила ни одной черты в образе этого милого человека. Напротив, его нежная, по-русски немного безалаберная доброта, его невинное, трогательное эпикурейство только подчеркнулись. Он радовался каждой мелочи в Париже; радовался голубому небу, потом, в Швейцарии, и голубому морю в Ницце; радовался так, что на него весело было смотреть. Любил каждый трепет жизни, хватался за него, чувствуя, верно, что жизни уж немного осталось.

Сказал как-то:

— Что мне это богатство? Ведь вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул... перед смертью.

Здоровье его действительно очень пошатнулось, и даже на зиму он в Петербург не приехал; а очень хотел. С тех пор в России он бывал только летом, в Петергофе на даче. Там мы с ним, после Парижа и Ниццы, и виделись. Эти два года были для него решительным подарком Судьбы. Воистину жизнь «блеснула ему улыбкою прощальной».

«Вечерний день» его отгорел в Париже, поздней осенью. Кажется, он умер без страданий, внезапно.

Серый сумрак Казанского собора, панихида. В толпе

[1] Кабак *(фр.).— Ред.*
[2] Лифт *(фр.).— Ред.*

замечаю, там и сям, мерцающие седины моих друзей — сверстников Плещеева.

При выходе Петр Исаевич Вейнберг наклоняет ко мне белую бороду и шепчет:

— А знаете, ведь хорошо, что он умер. Наследники выиграли дело, и все, что осталось, у него бы отняли. К счастью, он успел обеспечить семью.

Если так — тем удивительнее маленькое чудо, прощальная улыбка Судьбы, посланная этой милой, детской душе.

5

Полонский, как я понемногу убеждаюсь, считает себя обиженным, непризнанным... прозаиком.

Он, по пятницам, все чаще усаживает меня около себя, бесконечно рассказывает о себе, о своих литературных успехах... и «неуспехах», потому что, как он жалуется, его «ославили» поэтом и совершенно знать не желают его прозы. Между тем проза — повести, романы — ближе его сердцу, чем стихи, и написал он их не мало, пожалуй, не меньше, чем Тургенев.

— Что — стихи! И Тургенев писал стихи. Прескверные, положим... Кроме поэмы. Поэму его я любил...

Кончались эти разговоры (недолгие, гости отвлекали) тем, что Яков Петрович тяжело подымался со своего обычного места, стуча костылями, ковылял к шкафику у боковой стены и вытаскивал неразрезанные экземпляры своих романов и повестей.

— Прочтите, прочтите,— ворчал он, делая на книгах нежные надписи.— Вот, сами судите. А как прочтете — я вам и другие томы дам. И напишите мне, что думаете.

Провожал меня с этими книгами нежно, благодарно — за то, что я буду их читать.

Случалось, что сам потом досылал мне новые томы. У меня долго хранились его письма, длинные, обстоятельные, история каждого романа — и опять негодующие жалобы, что проза его недостаточно оценена.

Почему он вдруг избрал меня в критики, и что ему был мой юный суд? Думаю, потому, что всем уже успел эти книги передавать, всех переслушать, а я — свежий человек, да и молодой «литератор» — новое поколение. Ну вот, еще раз послушать, что скажут о его прозе,

которую он, наверно, в глубине души считает не хуже тургеневской, а может быть, и лучше.

У меня создалось впечатление, что именно по отношению Тургенева у Полонского было обиженное чувство. Все признают Тургенева, а его, Полонского, проза — неизвестна...

Тут я опять сделаю маленькое отступление. Через много лет, уже во время войны, вот что рассказывала нам о Тургеневе и Полонском Марья Гавриловна Савина.

Она приехала поздно, с какого-то концерта, в белую весеннюю ночь. (Последний раз: той же осенью она умерла.)

Савина рассказывала неповторимо. Можно спорить о ней как об актрисе, но рассказчица она была гениальная. Очаровательный юмор в ее речах, то нежный, то злой — и всякий раз не в бровь, а прямо в глаз...

С Тургеневым у них был когда-то «голубой» роман. И до дня его смерти не прекращалась переписка. Савина рассказывала нам об его последних годах, о Кларе Милич...

— А когда он написал «Песнь торжествующей любви» — я как раз гостила у него в Спасском-Лутовин⟨ов⟩е. И Яков Петрович Полонский тоже, они ведь были большими приятелями. Иван Сергеевич предложил нам прослушать только что оконченную вещь. Это и была «Песнь торжествующей любви». Читал вечером, на балконе, при свечах. Было самое начало лета, все цвело, и к ночи, тихой и теплой, сад особенно благоухал. Тургенев волновался, я чувствовала, что эта вещь ему дорога, у него даже голос звенел. Когда кончил — Полонский помолчал некоторое время, а потом встал и басом своим недовольно зарокотал: он-де ничего не понимает, и чтó это тут напущено... «Эта вещь тебе — нет, не удалась...» Тургенев не возражал, не спорил, но я сердцем чувствовала, как его Полонский своим отзывом на месте убивает. Притом я чувствовала, что Полонский говорит вздор, по глупости или по зависти — уж не знаю... А сама я не могла ничего сказать, не могла, не умела... Но Тургенев, верно, понял, чтó у меня на душе. Мы потом — Полонского уже не было — сошли вдвоем в темный сад, и долго молча ходили, среди благоуханья трав, и на скамейке так же молча сидели, и точно я этим как-то по-женски, по-бабьи, без слов его утешила,

молчаньем сказала ему все, что хотела... А сад и тихая ночь мне помогали.

Романы Полонского, конечно, были непохожи на «чепуху» вроде «Песни торжествующей любви». В то старое время они, даренные таким настоятельно-ласковым Яковом Петровичем, мне, пожалуй, нравились. Но ничего, ни тени от них не осталось в памяти. Даже странно, ведь прочитанное в юности, какое бы ни было, всю жизнь помнится. А тут — дотла исчезло. Должно быть, не так уж несправедливы были те, кто ценил прозу Полонского ниже тургеневской.

6

Из моих старых друзей и знакомых единственный, живший менее особняком, старавшийся поддержать какую-то «литературную среду» — был Петр Исаевич Вейнберг. Правда, он и не был таким всепризнанным русским «поэтом», как Полонский, Плещеев, Майков. Его почитали, уважали, знали; его «Море» обожала молодежь, но... все-таки он был — главным-то образом — переводчик, «Гейне из Тамбова», душа всех литературных вечеров, хранитель «честного» литературно-общественного направления. Худой, с приятными живыми манерами, весело-остроумный — он был совершенно лыс и в профиль походил на библейского пророка. Чудесная, с серым отливом борода его — не плещеевский веер: и борода у Вейнберга — как у Авраама.

Вероятно, в нем была еврейская кровь; не знаю, ибо этот вопрос никого, даже самого Вейнберга, не интересовал. Заслуженный литератор, знаток русского языка, талантливый стихотворец, всеми любимый Петр Исаевич — чего же еще? Надо сказать, что в тогдашней литературе «еврейский вопрос» вообще мало существовал (только с Надсона начал выдвигать его Буренин). А в «старой» литературе он решительно не имел места и значения. Не имел значения даже в глазах таких «нелиберальных» писателей, как Майков, друживший с Тертием Филипповым, или Полонский, близкий Победоносцеву.

Как бы то ни было, мне никогда, ни от одного старого, настоящего писателя не случалось ничего об этом слышать. Даже сам Суворин в разговоре стеснялся касаться еврейского вопроса, чувствуя, верно, что это, по коренным

литературным традициям, «не принято». Мало того: гораздо позже, чуть ли не в 1906 г., на мое резкое письмо к нему по поводу его отношения к евреям, конфузливо написал: «...Что я могу вам на это ответить? Ничего я не могу ответить...»

Настоящая, исконная *«литературная среда»*, хотя существовали тогда уже разные кружки, Шекспировский и «понедельничное» Лит⟨ературное⟩ Общество,— была все же только у Вейнберга. Он жил один, очень скромно. В его «подвале» на Фонтанке — маленькой квартирке у Аничкова моста — кого не встретишь! И не в отдельных писателях было дело, а именно в атмосфере литературной, в *среде*.

Но Вейнберг, так нежно и так верно любивший литературу старую, так знавший и ценивший ее традиции, даже *быт*, интересовался и новым, и, пожалуй, более других. Он пытался схватить и понять, как умел, движение литературы *во времени*. Может быть, чувствовал, что ему суждено пережить почти всех своих сверстников (он и Чехова пережил!), что, как-никак, придется не одну еще перемену увидать. Да и был у него гибкий и живой дух.

Очень скоро, едва занялась заря декадентства (почти и не занялась еще), он дерзнул пригласить на традиционный вечер литературного фонда (ежегодный вечер в зале Коммерческого училища) — меня. Надо знать тогдашнюю атмосферу, тогдашнюю публику, «старую» молодежь, чтобы понять, что со стороны Вейнберга это была действительно дерзость. Из году в год он устраивал эти вечера. Из году в год там читали Плещеев, Майков, Григорович, Потехин, сам Вейнберг, прежде, когда был здоров,— Полонский, а когда были живы — Тургенев, даже Достоевский...

И опять старики, тот же Григорович, Вейнберг и — я! Вейнберг, положим, очень хорошо относился ко мне лично, однако была у него тут немножко и шалость: вот вам, не одни мы, послушайте-ка и новенького! Мы порою чувствовали себя с ним как проказливые дети. Подымется шум — Вейнбергу и горя мало: пусть пошумят, тем веселее. Сам, бывало, выйдет со мной на эстраду несколько раз. А в конце, для полного успокоения, прочтет свое «Море» — делая, впрочем, вид, что оно ему смертельно надоело,— он только уступает требованию публики.

Примешивая к старикам более молодых, Вейнберг

приучал к ним мало-помалу публику. Но очень «мало-помалу»; добрая старая традиция все-таки преобладала на вечере Фонда.

Майков при мне читал только раз. Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения «Дож и догаресса»):

...Слышит — иль не слышит?
Спит — или не спит?

Удивительно читал он и «Три смерти»:

Простите, гордые мечтанья,
Осуществить я вас не мог.
О, умираю я как Бог
Средь начатого мирозданья!

Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию; оттого, вероятно, он и забыт так скоро и никогда не был любим, как Фет, например, который, по-моему, куда ниже Майкова.

Близки мы с Майковым никогда не были (да и кто был с ним близок? не припомню). Встречались часто, иногда он бывал у нас. Одно время увлекся романом Мережковского «Юлиан» и даже устраивал у себя чтения этого романа.

Совсем не производил впечатления «старика», так был бодр и жив. Смерть его показалась неожиданной; но в литературных кругах прошла почему-то не очень заметно. Впрочем — не знаю, нас тогда в Петербурге не было.

На вечерах Фонда и на других, им подобных, меня всего более занимала «артистическая». Там пришлось мне видать буквально *всех* известных и полуизвестных людей своего времени. Вот Фигнер — еще совсем молодой человек с каштановой бородкой, ходит в ожидании своего номера из угла в угол — волнуется. Жена его, красивая итальянка Медея Фигнер тоже ходит, по другой диагонали; тоже волнуется. Я с удивлением гляжу: оперные певцы, чего они волнуются? Они уверяют меня, что это всегда перед выходом. Профессиональное, должно быть. Савина, впрочем, сидит спокойно за столом и пьет чай. Короленко, уже седеющий, коренастый и черноглазый, говорит, кажется, с Гариным: высоченный бел-

летрист, написал «Детство Темы», которое все хвалят; мне — не нравится.

Но перейдем из этой светлой комнаты в другую, как бы совсем «за кулисы». Там сейчас интереснее. Там тесный кружок участвующих и неучаствующих писателей. Душа кружка — Григорович. Он рассказывает «анекдоты» (он вечно что-нибудь рассказывает) — вполголоса, чтобы не слышно было в зале. Времени много, потому что читает Ольга Шапир — «О любви», Вейнберг только что заглядывал в залу и объявил:

— Все пока прекрасно. Спит только один. Она еще не дошла до середины.

Григорович всегда рассказывает потрясающие вещи. Говорят, что он половину выдумывает, но не все ли равно, если интересно.

Мне долго не верилось, что это тот самый Григорович, автор с детства знакомых «Проселочных дорог», «Антона-горемыки». На портретах он — полный господин с бакенбардами. А этот — высокий, тонкий, подвижной, белая бородка у него коротко подстрижена (под Тургенева).

Мы с Григоровичем большие приятели. Постоянно встречаемся, весело болтаем. Он любезно меня расхваливает:

— Пишите! пишите!

И даже крестит маленькими крестиками, благословляя мой дальнейший литературный путь. А маленькие крестики — потому что нельзя же размахнуться большими где-нибудь на людях, даже в «артистической».

В артистической, т. е. во второй, «за кулисами», он и рассказывал нам про Достоевского. Подробно и картинно описывал, как отца Достоевского, из врача сделавшегося помещиком, возненавидели мужики и в роще разорвали, на глазах сына, Федора Михайловича, тогда еще мальчика. Я помню, что он говорил «на глазах» и спрашивал: «Ну мог ли Федор Михайлович забыть это? Мог ли? Это очень многое объясняет...»

Никто из нас такого рассказа ранее не слышал, и всех он потряс. А я до сих пор не знаю, правда это или нет.

7

Неиссякаема была веселость и остроумие П. И. Вейнберга, как неиссякаемы его экспромты. Не существовало слова, на которое он тотчас не открыл бы риф-

мы. Переписывались мы с ним всегда стихами. У нас бывал он часто. Взбирается на наш пятый этаж — что ему трудненько — и пока взбирается, уже сочинил длинную оду, которую с порога декламирует, заканчивая:

А затем, si vous aimez [1],
Вот конфеты от Гурмэ.

В конце вечера все мы, небольшим кружком человек в 6—7, начинаем соображать, куда бы поехать ужинать. К Палкину? К Донону? Я и Мережковский предлагаем — в «Медведь». Спорят. Но тамбовский Гейне, песенки которого, вроде песенки о титулярном советнике и генеральской дочери, были некогда у всех на устах, подхватывает:

Хозяева сказали ведь,
Ну и поедем в «Медведь»!

И ехали, и там опять веселил Петр Исаевич своими экспромтами, рассказами о «преданьях старины глубокой». Был настоящий кладезь этих литературных преданий. Знал даже, что такое «безобразный поступок «Века», журнала, о котором все забыли со всеми его поступками. Для будущего собирателя древних литературных мелочей скажу вкратце, что это был за «поступок»: либеральный журнал какой-то, или общество — устроило литературный вечер и выпустило на эстраду очень красивую даму (чуть ли не тоже литературную) в «Египетских ночах» Пушкина. Дама столь выразительно прочла:

Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю! —

что вызвала бурю — несколько двусмысленных — восторгов. По поводу этих восторгов «Век» обрушился на устроителей вечера, да отчасти и на даму. Поднялась жаркая полемика, припутали к ней «женский вопрос» — и «Век» (в нем тогда участвовал брат Достоевского) вместе со своим «безобразным поступком» — посягновением на «женскую свободу» — был посрамлен.

Раз как-то Вейнберг принес мне вместо конфет от Гурмэ красную сафьянную тетрадь для стихов. На первом листке шутливое посвящение:

---

[1] Если вы любите *(фр.)*.— *Ред.*

Хоть у вас седьмой этаж,
Но любовь моя все та ж,
Как была бы, если б вы
Жили ниже дна Невы.
Справьтесь в сердце вы любом,
Чувства нет нигде такого,
Как в дарящем сей альбом
Старом
Гейне из Тамбова.

И затем впоследствии, внизу приписано:

Три года прошло, леденеет уж кровь,
Но к *вам* — точно так же пылает любовь.

(Эта тетрадь, где записывались потом и мои стихи целых 15 лет, пропала в Совдепии вместе со всем моим архивом, далеко не лишенным исторического интереса.)

Вейнберговская нежность к литературе вовсе не была только книжной. Вечно заседал он в каких-то комитетах, в Фонде работал бессменно, принимал всю мелкую литературную братию, бедствующим устраивал ссуды. Всех приходящих к нему, даже просто графоманов, терпеливо слушал. Кого следует — вышучивал, но с таким веселым, добрым юмором, что на него не обижались и графоманы.

Время, однако, шло. Старики, сверстники Вейнберга,— уходили, умирали. В литературе народились новые течения. Вейнберг не мог примкнуть к ним, конечно, да и попыток к тому не делал, слишком был искренен. Но он по-прежнему относился ко всему новому с интересом и благостью: не была ли это все та же «русская литература», верным рыцарем которой он оставался?

Старческие немощи уже одолевали его (как он добродушно над ними шутил!). Ездил лечиться за границу — мы раз случайно встретились с ним в Германии. Тогда умер Чехов — помню, как огорчился, даже возмутился этой смертью П. И.: высоко его ценил. Впрочем, раньше как-то сознавался, что в Чехове ему чужд подход к жизни «уж очень мелочной, хмурой, без положительного... А ведь талант-то какой, тургеневский!». Я его поддразниваю: «Положительного! Вы привыкли к писателям с «идеалами»! Теперь другие песни!»

Горького Вейнберг определенно не терпел, хотя и за ним признавал талант. В Андрееве просто ничего не понимал, и даже не хотел понимать, отмахивался от него. Мы часто болтали о современных писателях. Раз

он сказал мне о Бунине, которого почему-то в Петербурге мы мало знали: «Этот — хороший писатель, крепкий. А только...»

— Только что? И он без «идеалов»?

— Нет; а что он *любит*? Надо ведь писателю что-нибудь без оглядки любить...

Вообще Вейнберг не просто принимал всякий новый ветер, откуда бы он ни дул. Посильно разбирался, очень присматривался. Наиболее типичный из «стариков», один проживший несколько лет среди «новых» течений — не литературы только, но и жизни — он был очень показателен. Где неизбежный разрыв между поколениями, где необходимая связь? Есть ли связь? Куда повернули дети, куда пойдут внуки?

При начале нео-религиозных веяний Вейнберг нередко приходил к нам (уже в третий этаж, но и это было ему трудно). Приходил — и долго, серьезно расспрашивал, откуда этот уклон к религии, что он означает, что думаем мы.

Он называл себя материалистом. О, конечно. Все они, люди 40—70 годов, так себя называли. Но было бы грубой ошибкой — я подчеркиваю это, я настаиваю на этом — смешивать «материализм» Плещеева, Вейнберга, Полонского, Майкова, Григоровича и тысячи их современников, просто русских интеллигентов,— с материализмом позднейших поколений. Этот, так называемый «научный»,— всегда туп и нетерпим, роковым образом самодоволен. Он представляет из себя известный культурный срыв и неизменно кончается потерей понятия личности.

Ничего похожего на такой «материализм» не было у наших знаменитых (и не знаменитых) «стариков». Они просто не имели еще соответственных слов для изменившихся по времени чувств своих; называли себя «материалистами» в отличие от прежних бездумно «верующих»... церковников; но они, ей-Богу, и не понимали вовсе, что такое «материализм». Они сохраняли в целости все человеческие чувства, ни одно не было выщерблено — какие же они материалисты?

Впрочем, вопрос этот столь же интересен, сколь сложен, и я пока скажу одно: если уж называть русских людей того поколения материалистами,— то разве идеалистическими, романтическими материалистами. Я не исключаю ни Белинского, ни Писарева, ни Чернышевского, ни даже Базарова — стоит перечесть «Отцов и де-

тей»! — Лишь тонкая пленка бессознания отделяла их от подлинной религиозности. Поэтому и были они, в большинстве случаев, «носителями высокой морали» (это старомодное выражение вовсе не смешно). Поэтому и могли в то время появляться люди крепости душевной изумительной (Чернышевский), способные на подвиг и жертву [1]. Настоящий «материализм» гасит дух «рыцарства». А скажут ли, что не было этого духа в тогдашней литературе нашей, да и во всей русской интеллигенции?

Но я говорю сейчас не об интеллигенции, не о путях ее, так страшно потом разделившихся, а лишь об одном из ее представителей, о скромном рыцаре старой русской литературы — о Вейнберге.

Он слушал печально и жадно то, что мы ему говорили. Да, но что ж, если он — «не верит»? И правда: за столько долгих лет *привык* он думать, что не верит! Разве словами, в полчаса, можно победить эту привычку?

Но вставая, уже уходя, он вдруг сказал:

— А должно быть, «там» все-таки что-то есть. Я *ее* видел.

Мы поняли, что «она» — женщина, которую он всю жизнь любил, умершая несколько лет тому назад.

— Как видели? Когда?

— Видел, вот как вас сейчас вижу. И не раз, а раза два-три за эти годы. Я лежу в постели, утром или вечером,— и вдруг она войдет и сядет рядом. И говорит со мной, только не знаю, слышу ли я ее слова — или *вижу*, что она думает. Странно, я даже в первый раз не испугался и не назвал ее мысленно «привидением»... Тогда и пришло в голову, что, пожалуй, «там» что-то есть...

Подумал, улыбнулся и прибавил с прелестной своей, привычной иронией:

— А может, это уж от старости... Признаки слабоумия старческого... Кто знает? Я знаю только, что видел ее, и в смерть ее с тех пор не верится...

Мы скоро после японской войны уехали за границу и в последние годы с Петром Исаевичем Вейнбергом не видались. Он скончался в Петербурге, кажется — летом 1908 года.

---

[1] Было бы интересно сравнить эти два тома «Писем к жене»: Чернышевского из ссылки, из далекого, в снегах затерянного городка в Сибири — и Чехова из Ялты, которую он тоже называл местом своей «ссылки».

8

Рассказ мой о «благоуханных сединах» людей, встреченных на заре юности,— окончен. Тут следовало бы поставить точку. Если я расскажу об единственной моей встрече еще с одним старцем — яснополянским — то уже в виде приложения. От моей темы я не отступаю: благоухание *этих* седин знает весь мир. Но встреча наша произошла поздно, в 1904 году, была почти мимолетной, и рассказ о ней будет краток.

Поехать к Толстому? Увеличить толпу и без того утомляющих его посетителей? Но у Мережковского были особые причины желать этого посещения — отчасти паломничества: только что выпустил он свою трехтомную книгу о Толстом (*«Л⟨ев⟩ Т⟨олстой⟩ и Достоевский»*), где был к Толстому не совсем, кажется, справедлив, и только что произошло знаменитое «отлучение» Толстого от церкви, акт, всех нас тогда больно возмутивший. Словом, чувствовалось не то что любопытное желание «взглянуть» на Толстого, а просто какое-то к нему влечение.

Мы стороной решились узнать, когда можем и можем ли приехать, не обеспокоив,— и лишь получив, через Сухотиных, записочку, прямое приглашение (и даже маршрут!), поехали в Ясную Поляну.

На станции нас ждут лошади. Начало мая. Светло, только что пробрызнул холодный дождь. Над полями пронзительно поют, точно смеются, жаворонки. В аллее, когда мы подъезжали к дому, деревья роняли на нас крупные радужные капли.

Внизу, в маленькой, не очень светлой передней к нам навстречу выбежала (действительно выбежала) полная, но еще стройная женщина: это Софья Андреевна.

— Ах, вот они!

Вмиг овладела нами, распорядилась, повела нас в приготовленные две комнаты — это были комнаты совсем внизу; кажется, в одной из них помещалась когда-то рабочая комната Льва Николаевича — она есть на рисунке Репина.

Пока Софья Андреевна вела нас туда — успела рассказать, что осталась на сегодняшний вечер только для нас, что завтра в 6 часов утра должна ехать в Москву — «все по делам изданий!»,— но чтобы мы не беспокоились, она уже отдала все распоряжения насчет лошадей (мы уезжали на другой день с двенадцатичасовым).

— Вот, поправьтесь с дороги и приходите наверх, сейчас будем обедать!

Убежала. Ее живость меня сразу привела в удивленье и даже слегка обеспокоила.

Мы в длинной столовой-зале, с окнами на обоих концах. Стол тоже длинный. Народу много, но не очень: все, кажется, родственники.

Софья Андреевна знакомит, хлопочет:

— Садитесь, садитесь! Лев Николаевич сейчас выйдет!

Мы уже начали усаживаться, когда из дальней двери налево, шмыгая мягкими ичигами, вышел небольшой худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на осутуленной спине.

Он шаркал довольно быстро, тотчас стал здороваться. Но меня поразило почему-то, что он — маленький. Это — Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навидались так, что они точно вросли в нас, если они — Толстой, то этот худенький старичок — не Толстой. Словом — не могу их соединить, нового живого — с неживым и привычным.

Софья Андреевна сидит на конце стола, я — сбоку, налево от нее, Толстой направо, прямо против меня. Стол узкий, я вижу хорошо и серую блузу, и редкую седую бороду, слегка впадающую в желтизну, и темные, густые брови: они как-то не грозно, а печально нависают над глубоко сидящими глазами. Глаза детские — или старческие — с бледной голубизной.

Толстой говорит с Мережковским; что-то о дороге, кажется, я не слышу, за столом очень шумно. Софья Андреевна ест быстро, с манерой всех близоруких — немножко «под себя». Не забывает потчевать пирожками. Блюда подает лакей в белых перчатках. Середина стола, вся — в бутылках с винами. А скоро перед Софьей Андреевной (т. е. и перед Толстым) воздвиглось блюдо с жареным поросенком — даже помню его оскаленные зубы.

Толстой, впрочем, не смотрит, он ест свое, отдельное, в маленьких горшочках, ест по-старчески внимательно, долго жует губами.

После обеда Софья Андреевна тщательно и весело показывала нам яснополянский дом, все картины, все портреты: «Вот это — Берсы!» — говорила, не без гордости, указывая на ряд потемневших полотен. В ее комнате мольберт, она занимается живописью.

— А вот спальня Льва Николаевича.

Небольшая комната, белая пружинная кровать, столик, почти ничего больше...

Мы выходим на деревянный широкий балкон; парк внизу полон душистой весенней сыростью.

— Вы из Москвы за границу едете? — говорит Софья Андреевна и тотчас, обратившись ко мне, шутит:

— Вот оставайтесь здесь со Львом Николаевичем, а я вместо вас поеду за границу! Ведь я никогда за границей не была!

Бледными сумерками Софья Андреевна ведет нас в парк. Она, как девочка, прыгает через канавки, торопится все показать, все рассказать... Мы обходим кругом, она объясняет, какая роща какому принадлежит сыну, какая будет нынче сведена... И уже опять о завтрашней своей поездке в Москву, об изданиях — дела, дела...

Возвращаемся в длинную залу. В дальнем углу, где стоит диван и кресла вокруг круглого стола — Софья Андреевна теперь за broderie anglaise [1], на диване, и низко клонится к лампе с широким белым абажуром. Толстой сидит немного в стороне, на своем, должно быть, кресле, в привычно усталой позе. Случайных посетителей нет, только двое или трое каких-то, видно, постоянных жителей, да молчаливый мужчина в коричневом охотничьем костюме.

Привычно усталым голосом Толстой говорит привычные вещи. О жизни... О молитве... Но Софья Андреевна и тут, схватывая момент, успевает сказать напротив. Молитва? Нет, а она верит, что можно в молитве просить о чем-нибудь и непременно исполнится. Толстой заговорил неодобрительно о современных стихотворцах, упомянул Сологуба... Софья Андреевна срывается с места, хватает с рояля номер иллюстрированного журнала и прочитывает вслух стихотворение Сологуба.

— А мне — нравится! — говорит она не без вызова, возвращаясь к broderie anglaise.

Скоро мы перешли на другой конец залы, к чайному столу. Чай пить явились не все сразу. И очень быстро, один за другим, исчезали. А Толстой тут-то и стал оживляться. Сам затеял разговор. Слушали его лишь какие-то два крайне молчаливых человека. Даже Софья Андреевна ушла (завтра к раннему поезду вставать!), простившись с нами весело и прелюбезно.

---

[1] Английской вышивкой *(фр.).— Ред.*

Разговор, в подробностях, забылся, скажу лишь о том, что помню наверное. Да и говорил Толстой, вероятно, то, что всегда и многим говорил, что много раз записано, но тон был очень оживленный, и чувствовалось, когда он обращался к Мережковскому, что книгу его о себе он читал. (Так оно и было: Толстой все читал, знал всю современную литературу. Даже наш религиозный журнал «Новый путь» читал!)

— Все хочу настоящий дневник начать и не могу. Ведь если б записать правдиво хоть один день моей жизни, ведь это было бы так ужасно...

— Как,— перебиваю я,— *теперешней* вашей жизни?

Толстой кивает головой: да, да, теперешней...

Мне странно. Что это? Такая бездна смирения? Чем он считает себя так грешным — теперь?

Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять «здравый смысл».

— Здравый смысл — это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги... [1]

Самый тон такого преувеличенного восхваления «здравого смысла» раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение «здравому смыслу», понятию, к тому же, весьма условному... и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу? Ведь это же Толстой! Нет, я решительно не могу соединить худенького, упрямого старичка с моим представлением о Льве Толстом. Не то что этот хуже или лучше: а просто Львов Толстых для меня все еще два, а не один.

В сущности же маленький старичок говорит именно то, что говорит и пишет Л. Толстой все последние годы. Я понимаю, что Толстой — «материалист». Но я понимаю (утверждаю это и теперь), что Толстой — совершенно такой же «материалист», как и другие русские люди его поколения, религиозно-идеалистические материалисты. Только он, как гениальная, исключительной силы личность, довел этот идеалистический материализм до крайней точки, где он уже *имеет вид* настоящей религии и отделен от нее лишь одной неуследимой чертой.

---

[1] За точную дословность не ручаюсь.

Переступил ли ее Толстой? Переступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? Вероятно, да. Думаю, что да. Мы говорили о воскресении, о личности. И вдруг Толстой произнес, ужасно просто,— потрясающе просто:

— Когда буду умирать, скажу Ему: в руки Твои передаю дух мой. Хочет Он — пусть воскресит меня, хочет — не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет...

После этих слов мы все замолчали и больше уж не спорили ни о чем.

Утром, часов в восемь, мы столкнулись, выходя из своих комнат, со Львом Николаевичем в маленькой передней. Он возвращался с прогулки, бодрый, оживленный, в белой поярковой шляпе.

— А я к вам стучал, чтобы вместе пройтись, да вы еще спали! Пойдемте чай пить...

На невысокой внутренней лесенке, ведущей в залу, он остановился на минуту вдвоем с Мережковским и сказал, глядя ему в лицо старчески-свежим взором:

— А я рад, что вы ко мне приехали. Значит, вы уж ничего против меня не имеете...

В столовой было пустовато. Кто-то — не помню, кто — разливал чай, но пили мы его втроем. Чай вкусный, со сливками, со свежими булками.

Хозяйки не было, но в «графском» доме шло все по заведенным порядкам. Слуги приходили и уходили бесшумно. Метрдотель принес даже «его сиятельству» меню на утверждение: видно, такой был издавна обычай. Толстой бегло взглянул (и что бы он стал там читать да обсуждать?), сделал утвердительный и слегка отстраняющий жест рукой, метрдотель ушел, удовлетворенный.

Все это утро мы проговорили втроем. Толстой был весел, куда веселее вчерашнего. Коренных и спорных тем не касались, говорили хорошо обо всем. Тут-то и выяснилось, между прочим, что Толстой все читает и решительно за всем следит.

Подали лошадей. Толстой вышел нас провожать на крыльцо. Трава блестела, мокрая от ночного дождя. На солнце блестела и белая с желтизной борода Льва Николаевича, а сам он ласково щурился, пока мы усаживались в коляску.

И мы уехали — опять через поля, где еще пронзительнее вчерашнего пели-смеялись жаворонки...

Это — в виде «приложения». А вот, для эпилога, последнее... не воспоминание, а упоминание еще об одном человеке, овеянном благоуханьем седин. Рассказывать о нем не нужно, он жив, все знают о нем столько же, сколько я; о своей жизни, замечательной и волнующей, он расскажет сам, если захочет... Это — Николай Васильевич Чайковский.

О, конечно, он моложе тех, друзей моей юности. А все-таки он не сын их, он — младший брат. Он того же поколения и шел тем же путем, каким шли они. Только он успел, как младший, сделать на этом пути еще один, последовательный, шаг. Н. В. Чайковский — уже не романтик-идеалист, называющий себя «материалистом». Но и не имеет идеализм его *облика* религии, только облика. Оставаясь по существу таким же, какими были лучшие люди его поколения,— Н. В. Чайковский *исповедует христианскую религию.*

Если знали многие из сынов тех лет России настоящую юность, если благоухали в старости их седины,— не оттого ли, что зерно религиозной правды таилось в душе каждого? И напрасно обманывать себя: не будет та поросль истинно молодой и живой, которая не пойдет от крепких, старых корней.

Не надо возвращаться к старикам. Не надо повторять их путь. Но «от них взять» — надо; взять и идти дальше, вперед... и тогда уж, пожалуй, действительно «без страха и сомненья».

1924

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

З. Н. Гиппиус. Живые лица. I и II т. т. Изд. «Пламя». Прага, 1925 г.

«Суд истории нелицеприятен». Да. Но для того, чтобы он был справедлив, одной воли к нелицеприятию мало. Чтобы судить *верно*, история должна опираться на документы и сведения, добываемые от современников данного лица или события. Без того все ее оценки не стоят ничего. Пока совершается этот «процесс первоначального накопления», историк, в сущности, не может разбираться в качествах собираемого материала. В этом периоде он подобен Плюшкину: его добродетель — жадность. Только после того, как материал накоплен, начинается пресловутый «суд». Дело его — разобраться в документах и показаниях, отделить правду от лжи, точное от неточного и проч. Тут и сами свидетели попадают под тот же суд.

Под общим заглавием «Живые лица» З. Н. Гиппиус собрала свои литературные воспоминания. Отдельными очерками они ранее появлялись в разных журналах и сборниках. Кое-кто из людей, упоминаемых З. Н. Гиппиус, еще живы, иные умерли лишь недавно. Но я не буду касаться вопроса о своевременности появления в печати этих мемуаров. Меж тем как обыватель в ужасе, не лишенном лицемерия, покрикивает: «Ах, обнажили! Ах, осквернили! Ах, оскорбили память!» — историк тщательно и благодарно складывает эти воспоминания в свою папку. Его благодарность — важнее обывательских оханий. Кроме того, наше время, условия нашей жизни — неблагоприятны для рукописей. Сейчас печатание мемуаров — единственный верный способ сохранить их для будущего.

Все это я говорю потому, что на книги З. Н. Гиппиус не могу не смотреть прежде всего как на ценнейший мемуарный материал. Конечно, они написаны в литературном смысле блестяще. Это и сейчас уже — чтение увлекательное, как роман. Люди и события представлены с замечательной живостью, зоркостью,— от общих ха-

рактеристик до мелких частностей, от описания важных событий до маленьких, но характерных сцен. Но, несомненно, свою полную цену эти очерки обретут лишь впоследствии, когда перейдут в руки историка и сделаются одним из первоисточников по изучению минувшей литературной эпохи. Пожалуй, точнее сказать: двух эпох.

Сколько людей прошло перед Гиппиус! Плещеев, Вейнберг, Суворин, Полонский, Григорович, Горбунов, Майков, Минский, Андреевский, Чехов, Толстой, Розанов, Брюсов, Сологуб, Блок, Андрей Белый, Игорь Северянин! Один этот перечень (сокращенный к тому же) указывает на огромный круг ее наблюдений. И все эти люди показаны не в недвижных «портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков, собраний! Тут и пятницы у Полонского, и зарождение и история Религиозно-философских собраний, и среды Вяч. Иванова, и ранние сборища московских декадентов, и редакции «Северного вестника», «Нового пути», «Вопросов жизни», «Весов».

В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристрастием и бесстрастием. Она, видимо, и сама хочет быть мемуаристом, а не историком; свидетелем, а не судьей. Она наблюдает зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не затушевывая своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий. Поэтому сквозь как будто слегка небрежный, капризный говорок ее повествования читатель все время чувствует очень ясно, что ее отношение к изображаемому как было, так и осталось не только созерцательно, но и действенно — и даже гораздо более действенно, чем созерцательно. Таким образом, кроме описанных в этой книге людей, перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» самой Гиппиус. И если для оценки *всяких* мемуаров историку методологически важно знакомство с личностью мемуариста, с его положением в круге изображемых лиц и событий, то в данном случае историк оказывается в особенно выгодном положении: З. Н. Гиппиус дает ему обильнейший материал для суждения о ней самой, не только как об авторе мемуаров, но и как о важной участнице и видной деятельнице данной литературной эпохи. Не жеманничая, не стараясь умалить свою роль, но и не заслоняя своей особой тех, о ком пишет (общеизвестная ошибка многих воспоминателей), З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой,

о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влияние, кстати сказать, мне кажется еще далеко не вполне взвешенным нашей *критикой*. Во всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему *историку*.

Как современный, так и будущий читатель, быть может, не согласится с некоторыми характеристиками и мнениями Гиппиус. Несомненно, однако, что с ее определениями надо будет весьма считаться. Но если кое на что придется, вероятно, взглянуть иначе, то это — лишь общая участь всех мемуаристов. История всегда располагает бóльшей объективностью и большим запасом сведений, чем отдельный мемуарист. Можно, пожалуй, сказать, что оценки, даваемые мемуаристом, всего важнее для того, чтобы определить только его самого. Их роль вспомогательная, и история почти никогда не принимает их полностью, без поправок. Повторяю, очень хорошо, что Гиппиус дает нам столько характеристик и оценок, но в данном случае это хорошо потому, что мы имеем дело с такой крупной личностью, как Гиппиус. Из рядовых же мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, дает наиболее точные сведения о наибольшем количестве фактов. Общеизвестно, что иногда незначительная подробность или случайно упомянутая дата оказываются наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава. И опять-таки, надо быть благодарными З. Н. Гиппиус, что она не поскупилась на подробные сообщения. Эта мелкая россыпь ее сведений в будущем сослужит свою службу.

Хорошо поэтому, что Гиппиус не откладывает писания до тех пор, пока мелочи исчезнут из памяти. Она сама говорит: «боюсь неточностей», и очень хорошо делает, что часто оговаривается: «кажется», «не помню» и т. д.: таким образом, она уменьшает свой риск внести путаницу и ввести в заблуждение. Некоторые неточности, однако же, вкрались. Напр⟨имер⟩, жена Брюсова — чешка, а не полька; книга рассказов Брюсова, о которой упоминает З. Н. Гиппиус, называлась не «Проза поэта» (такой книги он вовсе не выпускал), а «Земная ось»; изд-во «Альциона» не существовало одновременно с «Весами» и «Золотым руном»; Брюсов жил не «против Сухаревки», а довольно далеко от нее, на 1-й Мещанской, 32; из иностранных писателей участвовал в «Весах» далеко не один А. Жид; как ни угодничал Брюсов перед большевиками, все же, вопреки ходячему мнению, цензором

он ни минуты не был; брошюры «Почему я стал коммунистом» он также не выпускал, а только читал лекции на эту тему. В стихотворных цитатах память порядком изменяет З. Н. Гиппиус. Она пишет: «Я долго был рабом покорным»,— надо: «Я раб и был рабом покорным». «Месть оскорбителям святынь!» — надо: «Казнь...» «Мне надоело быть Валерий Брюсов» — надо: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов».

В очерке о Блоке измена памяти заставляет З. Н. Гиппиус намекнуть на то, что в стихах, посвященных ей, Блок будто бы написал некстати:

Вам зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.

После этих «скал» она ставит недоуменный вопросительный знак. Однако никакой бессмыслицы Блок здесь не написал, а лишь намекнул на стихи самой З. Н. Гиппиус:

О, Ирландия, океанная,
Мной не виденная страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал...
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал? — и т. д.

Правдивость — главное, основное требование, предъявляемое к мемуаристу. Но — отец лжи усердно расставляет вокруг него свои сети. Из них главная — передача слухов и чужих рассказов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за правило — не передавать с чужих слов. В очерке о Брюсове она пишет: «Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и его жизни... Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь,— невольная или вольная». В статье «Благоухание седин» этот методологический принцип формулирован так: «Всегдашнее мое правило — держаться лишь свидетельств собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук — опасно сливаются со сплетнями».

Однако мне хочется остановиться на одном случае, когда З. Н. Гиппиус отступила от этого правила,— поверила слухам и записала их без проверки. Дело идет о предсмертной поре Розанова и об отношении Горького к розановской участи. З. Н. Гиппиус очень не любит Горь-

кого. Может быть, у нее имеются самые веские основания. Но и на самого черного злодея не следует взваливать то, в чем он неповинен.

Однажды (по-видимому, в конце 1918 г.) З. Н. Гиппиус сказали, что Розанов, живший в Троицко-Сергиевском Посаде, «такой нищий, что на вокзале собирает окурки». Потом — будто бы он расстрелян.

Тогда З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо, содержание которого она излагает так: «...вы вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы по крайней мере сообщить, верен ли этот слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...»

З. Н. Гиппиус прибавляет об этом письме: «Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно?» Далее она негодует: «Горький, конечно, мне не ответил». Признаюсь, по-моему, он поступил очень хорошо: что можно ответить на оскорбления, основанные на нелепых слухах? Дело в том, что Розанова не только не расстреляли, но он даже и арестован не был. Далее, З. Н. Гиппиус сообщает, будто Горький «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Все это сообщено с чужих слов и — неверно. Горький никому не давал таких поручений, ибо знал, что Розанов на свободе. Что же касается до посылки денег, то, как видно из письма, сама З. Н. Гиппиус Горького о том не просила. Об этом позаботились другие. И опять — не было здесь, конечно, ни «приспешников», ни клевретов, никаких вообще тайн Мадридского двора. Просто — пришел ко мне покойный Гершензон и попросил меня позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном положении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому проводу из московского отделения «Всемирной литературы». За это получаем мы ныне титул «приспешников». Кстати сказать, «приспешник» Гершензон не был знаком с Горьким, а я к тому времени однажды разговаривал с Горьким минут двадцать — о Ламарти-

не. Конечно, З. Н. Гиппиус не хотела нас оскорбить: она просто изменила своему правилу и записала с чужих слов, даже не зная, о ком идет речь.

Как бы то ни было, Горький прислал денег. «Не много» — сообщает З. Н. Гиппиус. Опять — «слух». Деньги передавал дочери Розанова я. Суммы не помню решительно, ибо даже не помню, на что тогда шел счет: на сотни, на тысячи или на миллионы. Помню только, что дочь Розанова сказала: «На это мы (т. е. семья из четырех душ) проживем месяца три-четыре». Так ли уж это мало, когда речь идет о помощи частного лица?.. Сам Розанов в письмах к Гиппиус «все благодарил его» (т. е. Горького). Но З. Н. Гиппиус прибавляет: «За подачку: на картошку какую-то хватило». Очевидно, тоже с чужих слов.

К этому можно прибавить, что и самые слухи о крайней нищете Розанова были в Петербурге несколько неверно освещены. Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но — мы все голодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего. И — были люди, которые завидовали Розанову. Дело в том, что не только «собственность Горького всегда была неприкосновенна», как сообщает З. Н. Гиппиус, но и собственность Розанова фактически оказалась такова же: он голодал, но не хотел продавать свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую ценность и находившуюся у него в неприкосновенности. Конечно, расстаться с нею для Розанова было бы ужасно. Мы это понимали, но понимали и то, что *объективных* причин голодать было у него меньше, чем у других... Однажды случилась беда. Розанов повез часть коллекции в Москву, кому-то на сохранение. Приехал поздно и, боясь идти по темным улицам, остался ночевать на Ярославском вокзале. Тут и украли у него сверток. Говорили, что этот случай подействовал на старика ошеломляюще. Окурки же... очень возможно, что он и стал собирать их, но не было ли и тут некоего «надрыва», а то и «стилизации»? Ведь прибедниться, принизиться, да еще после такого удара,— все это было вполне «в стиле» Розанова. З. Н. Гиппиус очень чутко и глубоко указала, что обычные критерии «правды» и «лжи» к нему не применимы. Морально — да, но фактически и ложь не становится правдой от того только, что ее произносит Розанов.

Я остановился на этих частностях не для того, чтобы, «начав за здравие, кончить за упокой». Отдельные неточности неизбежны в каждых воспоминаниях. Не пор-

тят они и прекрасную, нужную книгу З. Н. Гиппиус. Если же в этой статье мои поправки и дополнения заняли сравнительно много места, то это лишь потому, что всякая детализация всегда пространна.

Раз уж дело пошло о дополнениях,— я сделаю еще одно. Рассказывая о Сологубе и его покойной жене, З. Н. Гиппиус пишет, как они собирались в Париж, но их не выпустили из России. Это не совсем так. Ни З. Н. Гиппиус, ни сам даже Сологуб не знают некоторых подробностей этой истории. Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока — задержать. Узнав об этом, Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо, в котором, хлопоча о Блоке, погубил Сологуба. Содержание письма было приблизительно таково: «Товарищи! Что вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, задерживая Блока, который — поэт революции, наша гордость и о котором даже была статья в «Times'e»! А что такое Сологуб? Это наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционного памфлета «Китайская республика равных»...» Дальше следовали инсинуации, которых я не хочу повторять. Зачем нужно было, обеляя Блока, чернить Сологуба,— тайна Луначарского. Как бы то ни было, его донос на Сологуба я читал в подлиннике. Он датирован, кажется, 22 июня 1921 года. Политбюро ему вняло. Сологуба задержали, а Блоку дали запоздалое разрешение, которым он уже не мог воспользоваться. Осенью, после смерти Блока, заграничный паспорт Сологубам все-таки выдали. Но к этому времени душевные силы Анастасии Николаевны были уже окончательно надорваны. Она несколько раз откладывала отъезд, пока не кончила самоубийством.

Особняком в «Живых лицах» стоит очерк «Маленький Анин домик». В отличие от других он изображает не литературную среду, а обитателей и гостей знаменитого вырубовского домика в Царском Селе. И написан он, в сущности, не по личным воспоминаниям. Непосредственно знакома З. Н. Гиппиус была только с Вырубовой, да и то лишь после революции. Но и не Вырубовой посвящен очерк, а главным образом — Николаю II и Александре Федоровне, отчасти — Распутину. Материалом для него лишь в малой степени послужили рассказы Вырубовой (лживые,— по наблюдениям Гиппиус и по тому

впечатлению, которое производит книга вырубовских воспоминаний). В «Маленьком Анином домике» Гиппиус является не мемуаристом, а автором историко-психологического этюда, основанного преимущественно на переписке государя и государыни. В зарубежной печати уже раздавались голоса, негодующие на то, что Гиппиус будто бы оскорбила память этих людей, умученных большевиками. Не могу разделить этого взгляда. Громадная разница между оскорблением памяти и беззлобным, но правдивым изображением той политической и религиозной темноты, в которой, к несчастью, пребывали Николай II и его жена. Мученической смертью они, конечно, искупили свои ошибки, но не сделали их небывшими. З. Н. Гиппиус в своем очерке сделала лишь те выводы и наблюдения, которые, на основании бывшего у нее материала, представляются единственно возможными. И сделала в форме вполне корректной, оставаясь все время в области религии и политики и не вдаваясь в область морали. Если же настаивать на полном применении в истории принципа de mortuis nil nisi bene [1], то историческая наука станет невозможна — потому, между прочим, что с историографической точки зрения сам этот принцип глубоко безнравствен.

ПИСЬМО З. Н. ГИППИУС К В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

9/15/25
V. Alba, rue Jonquière
Le Cannet
Cannes (A. M.)

Нельзя ли сделать кое-где поправки к вашим поправкам?

«Проза поэта» — название *моей* статьи (одной «из») о «Земной оси».

«Я долго был рабом покорным» и т. д.— *первоначальный* текст данного стих⟨отворения⟩ Б⟨рюсо⟩ва, тот, кот⟨орый⟩ он и читал. Я знаю, что в позднейшем текст был очень изменен, по-моему — к худшему, что я и говорила самому Брюсову.

Я не помню, говорю ли я где-нибудь, что *исключительно* А. Жид писал в «Весах», а также что «Альциона»

---

[1] О мертвых — ничего, кроме хорошего *(лат.)*.— *Ред.*

сосуществовала с «Весами». «Весы» и «З⟨олотое⟩ руно» сосуществовали наверное.

Мой вопросительный знак к стихотворению Блока относится не к Ирландии (она очень нравилась Блоку, и мне легко было догадаться, откуда «Ирландия») — но к общенеуместному тону стихотворения в ответ на мое,— при всех данных обстоятельствах.

Затем — о «слухах». Вы знаете, что это было время, когда все факты были слухами. Не все слухи фактами, правда, но тут уж требовалось, для отбора, обострить свои способности как интуиции, так и рассуждения. Иной раз удавалось угадывать, что потом и подтверждалось фактами. Если некоторых фактов я до сих пор не знаю, то других не знаете вы. (Между прочим — о Сологубе и его «Париже» я кое-что знаю из прямых источников, вам неизвестное, но что я очевидно *не могла* написать.)

Таким образом, «слуху» о расстреле Розанова не верить причин тогда не было: расстрел Меньшикова тоже дошел в виде «слуха». Я отнеслась, однако, к нему со всей осторожностью, что доказывает мое письмо к Горькому. Вы как будто считаете, что я должна была сразу отнестись к этому слуху как к вздорному и не «оскорблять» Горького предположением, что «дружественное» ему правительство способно на подобные дела. Мне кажется, что если вы действительно это считаете, то оснований у вас к тому нет. Что касается до «нужды» Розанова, «окурков» и т. д.— то здесь мы имели уже не «слухи», а сведения, через близкого к Р⟨озано⟩ву человека, детально его положение знавшего, ибо собственными глазами видевшего. «Приспешников» Горького — конечно, не вас и не Гершензона я разумела,— я знала много лет и своими глазами видела, притом не я одна, да и слово-то не мое, но *друга* Горького (не приспешника).

Теперь еще о правде и лжи. Конечно, ни мне, ни вам не дано знать, «что есть истина». Однако и для меня, и для вас должна быть какая-то общая мера для того, что истина и что ложь. Соглашаюсь, что я тут выхожу из круга фактов — только — фактов или очерчиваю их кругом очень широким. Но — позволим себе на минуту эту небесполезную роскошь, тем более что и факты не будут забыты.

Я хочу сказать, что мы с вами, при взгляде на эпизод «Розанов — Горький», находимся не в одинаковом приближении к «истине», а проще говоря — мы оба «при-

страстны», конечно, но мое пристрастие — на стороне объективной *правды*, ваше — на противоположной. Почему у вас две мерки, для Горького и для Розанова, и, главное, каковы эти мерки? Почему Розанов сам виноват, что голодал,— не хотел продавать свои коллекции, а Горький ни в чем не виноват, хотя не только не продавал свои коллекции, но в то же время усиленно пополнял их? Правдивее была — тогда — мерка, разделение, которого мы придерживались: на покупающих и продающих. Очень глубокое разделение, со смыслом. Что Горький принадлежал к первым — это уже не «слухи»: я видела собственными глазами не только продавцов, но и приспешников-комиссионеров (один из последних — Гржебин), и даже самые «вещи», которые Г⟨орький⟩ торговал и покупал. Мне очень неприятно говорить об этом; да и вспоминать неприятно, как долго торговался Г⟨орький⟩ со знакомыми мне стариками за китайский фарфор и как признавался у нас один полячок из Публ⟨ичной⟩ Библ⟨иотеки⟩, что несколько «надул» Г⟨орько⟩го с порнографическими альбомами, ибо «эти — пяти-то тысяч не стоили, да он не понимает». Да и мало ли еще чего было! Хранить мое тогдашнее «негодование» к Г⟨орькому⟩ до сих пор — было бы неестественно; я и не храню и, по правде сказать, сейчас Горьким совершенно не занимаюсь, даже в смысле «суда» над ним. Если говорю об этом, то ввиду вашей заботы о какой-то формальной «правде», которую иногда можно искать, лишь удаляясь от «истины».

Если же мы все это, вместе с фактами, оставим и перейдем в область просто-чувств, то нам не о чем спорить: вы больше любите Горького, я — больше Розанова. Можно закончить тем, что право каждого не быть вольным в своих чувствах.

Хочу надеяться, что вы не поймете это письмо как-нибудь превратно и неприятно. Верьте, пожалуйста, неизменности моего уважения и утверждения вашего поэтического дара.

З. Гиппиус

ПРИМЕЧАНИЯ

В наше издание включены четыре книги стихов З. Н. Гиппиус и ее мемуарная книга «Живые лица». За пределами сборника остались все романы, повести и рассказы Гиппиус, ее критические статьи (лишь отчасти собранные в книге «Литературный дневник», вышедший в 1908 г. под псевдонимом Антон Крайний), дневники (в разные годы жизни Гиппиус писала дневники под различными заглавиями, посвященные различным проблемам) и многочисленные письма. Но даже стихотворения и воспоминания представлены далеко не полно. Помимо печатаемых книг стихов, Гиппиус издала еще сборник «Последние стихи» (Пг., 1918), произведения из которого практически все вошли в книгу «Стихи. Дневник», а также два сборника «агитационных» стихов: «Как мы воинам писали, и что они нам отвечали» (М., 1915) и изданные под псевдонимом Антон Кирша «Походные песни» (Варшава, 1920). Помимо этого, многочисленные стихотворения ее разбросаны по различным журналам и газетам и лишь отчасти собраны в двухтомнике «Стихотворения и поэмы» (München, 1972). Далеко не собрано и мемуарное наследие Гиппиус. «Живые лица» были первым опытом создания цикла воспоминаний, который был продолжен в последующие годы. Наиболее обширным мемуарным произведением Гиппиус является ее книга «Дмитрий Мережковский» (писалась в 1943—1945 гг., издана в Париже в 1951 г.), кроме этого следует отметить ряд очерков, разбросанных по эмигрантским изданиям, на часть из которых мы будем ссылаться в комментариях.

Тексты стихов печатаются по единственным прижизненным изданиям с учетом правки автора на известных нам экземплярах книг, а также с исправлением явных опечаток. Архивные источники, далеко не разработанные, использовались лишь в небольшой степени. Книга «Живые лица» печатается по единственному прижизненному изданию (Прага, 1925; репринтное воспроизведение — München, 1971). Орфография всюду унифицирована, за исключением тех случаев, когда это могло бы вступить в противоречие со звучанием сти-

ха. Пунктуация приведена к современным нормам, однако сохранены те ее особенности, которые могут рассматриваться как индивидуально авторские и вследствие этого семантически значимые.

Комментарии составлены таким образом, чтобы расширить представление читателя о смысловых обертонах стихотворений Гиппиус и об эпохе, описанной в ее мемуарах. Не поясняются общеизвестные имена и факты, не указываются параллели с творчеством поэтов-предшественников и поэтов-современников. В связи с особой их важностью для Гиппиус и малой известностью для современного массового читателя раскрываются цитаты евангельские, а также приводятся параллели из дневников и писем Гиппиус. Однако составитель отдает себе отчет, что эта работа лишь начинается, потому в его труде неизбежны упущения. Многие места в примечаниях строятся на разысканиях Т. Пахмусс — основного публикатора наследия Гиппиус в 1960—1970-е годы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Блок — Блок Александр. Собрание сочинений в 8 томах. М.— Л., 1960—1963 (римской цифрой обозначается том, арабской — страница; буквы ЗК обозначают «дополнительный» том этого издания — «Записные книжки»).

Брюсов. Дневники — Брюсов Валерий. Дневники. 1891—1910. М., 1927 (тексты сверены с оригиналами и исправлены без оговорок).

БС — Блоковский сборник, IV. Тарту, 1980.

Возр.— журнал «Возрождение» (Париж).

ДМ — Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951.

Дневники — Гиппиус Зинаида. Петербургские дневники (1914—1919). Нью-Йорк, 1982.

ИМЛИ — экземпляр «Собрания стихов. 1889—1903», хранящийся в библиотеке Института мировой литературы АН СССР, с маргиналиями автора.

ЛН — Литературное наследство (с указанием тома и страницы).

Максимов — Максимов Д. Е. «Новый путь».— В кн.— Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л., 1930.

НП — журнал «Новый путь».

СиП — Гиппиус З. Н. Стихотворения и поэмы. Т. 1—2. München, 1972.

СОБРАНИЕ СТИХОВ. 1889—1903

Необходимое о стихах.— В письме от 13 июля 1903 г. из Луги Гиппиус сообщала В. Я. Брюсову: «Какие у меня омерзительные стихи! Ей-Богу, даже противно корректуры исправлять. Недаром я так не хотела издавать сборника. И не следовало. Это все вы виноваты. Не буду и предисловия писать — от отвращения» (ГБЛ, ф. 386, к. 82, ед. р. 36; в дальнейшем все письма к Брюсову цитируются по этому источнику, ед. хр. 36—42). Еще раз, через месяц, ему же: «Восьмидесятый раз убеждаюсь, что мне вовсе не нужно было издавать книжку. Подождите, напишу я вам предисловие!» Отправлено Брюсову оно было 24 августа с примечанием: «Еще очень буду поправлять в корректуре». Этот контекст необходимо учитывать, рассматривая полемическую направленность предисловия. Многие фрагменты текста предисловия совпадают со статьей Гиппиус «Нужны ли стихи?» (*НП*, 1903, № 9).

Песня.— 19 марта 1893 г. Гиппиус записала в дневнике «Contes d'amour» (*Возр.*, 1969, № 211), что стихотворение это написано после разрыва с влюбленным в нее поэтом Федором Алексеевичем Червинским (1864—1917).

Посвящение.— «Никому» (*ИМЛИ*).

Баллада.— *Под светлым Днепром* — очевидно, имеются в виду пещеры Киево-Печерской Лавры, хотя в строгом смысле слова они под Днепром не находятся.

Цветы ночи.—*Арум* — болотное растение, одно из народных названий которого — сухотный корень.

Иди за мной.— «Никому, а всякий думал, что ему» (*ИМЛИ*). В «Contes d'amour» Гиппиус рассказала историю этого стихотворения: «Я написала стихи «Иди за мной», где говорится о лилиях. Лилии были мне присланы Венгеровой, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ Минским. Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в душе никаким земным отношениям, никакому человеку. Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и, может быть, заденет и Минского. Стихи были напечатаны. Тотчас же я получила букет красных лилий от Минского и длинное письмо, где он явно намекал на Флексера, говорил, что «чужие люди нас разлучают», что я «умираю среди них», а он, «единственно близкий мне человек, умирает вдали...». Письмо меня искренне возмутило. Мы с Флексером написали отличный ответ: «Николай Максимович, наше знакомство прекратилось потому, что оно мне не нужно...» Ведь действительно он мне не нужен» (*Возр.*, 1969, № 211, с. 39). *Венгерова* Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — критик, историк зарубежной литературы, переводчи-

ца. Первая жена Н. М. Минского. *Минский* (Виленкин) Николай Максимович (1855—1937) — поэт, создатель философской теории «мэонизма». Был в дружеских отношениях с Мережковскими. *Флексер* (псевд. Волынский) Аким Львович (1861—1926) — критик, искусствовед, один из ближайших сотрудников журнала «Северный вестник». Во второй половине 1890-х годов был увлечен Гиппиус. Несмотря на запись в дневнике: «Он человек антихудожественный, не тонкий, мне во всем далекий, чуждый всякой красоте и моему Богу. (Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Богу-Христу. Я для него — «гойка»)» (*Возр.*, 1969, № 211, с. 38—39), Гиппиус продолжала с ним весьма тесно общаться до весны 1897 г. Ретроспективно оценивая личность и деятельность Волынского, Гиппиус писала: «...эти наши длительные хорошие с Флексером отношения имели некоторые основания. Во-первых, Флексер в своем журнале предпринял борьбу против засилия так называемых «либералов», попросту — против крепких тогда и неподвижных традиций (во всей интеллигенции) шестидесятых годов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова и т. д. 〈...〉 Кроме того, «Сев〈ерный〉 вестник» действительно давал место молодым силам и попадал иногда верно,— как, например, с таким писателем и поэтом, как Сологуб, который без «Сев〈ерного〉 вестника» не скоро пробил бы себе дорогу. Однако в том же Флексере были черты, которые не могли в конце концов не привести нас к разрыву с ним. Его самоуверенность, прежде всего. Со второго года он начал писать в журнале литературную критику, из месяца в месяц. И вот каждый раз по выходе книги у меня начиналась с ним очередная ссора. 〈...〉 Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений, сколько... против невозможного русского языка, которым он писал» (*ДМ*, с. 66—67).

Сентиментальное стихотворенье.— «О Минском» (*ИМЛИ*).

Ты любишь? — Посвящено З. Венгеровой (*ИМЛИ*). При дате помета: «Аврора» (дача под Петербургом в имении Дылицы, где Мережковские жили несколько лет).

Надпись на книге.— В письме к Н. Н. Берберовой от 26 октября 1926 г. Гиппиус писала, что эти стихи обращены к П. С. Соловьевой. (Гиппиус Зинаида. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978, с. 9.)

Пыль.— Под датой помета: «17 Мая» (*ИМЛИ*).

Вечер.— Под датой помета: «Шевино летом» (*ИМЛИ*). *Шевино* — имение возле ст. Преображенская под Петербургом, где Мережковские жили в 1897 г.

М о л и т в а.— Под датой помета: «Шевино осенью» (*ИМЛИ*).

А п е л ь с и н н ы е ц в е т ы.— Под датой помета: «Taormina Sicilia». Посвящение, очевидно, добавлено позднее (адресат раскрыт в экземпляре *ИМЛИ*), т. к. запись об этом лице сделана в «Contes d'amour» в августе 1899 г.: «В громадной пустой зале виллы Рейф (люблю такие комнаты, большие, пустые) — тонкая высокая фигура Briquet с невероятно голубыми глазами и нежным лицом. Очень, очень красив. Года 24, не больше. Безукоризненно изящен, разве что чуть-чуть есть... другая бы сказала — приторное, но для меня — нет,— женственное. Мне это нравится, и с внешней стороны я иногда люблю педерастов. 〈...〉 Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко. То есть то, что *кажется*. Ведь, в сущности, кончается это... Так вот. Я почувствовала, что, пожалуй, могла бы очень приятно влюбиться в Briquet. Он совсем не глуп, очень тонок, очень образован (все это — французисто) — но очень многое понимает, и с ним интересно говорить, и — с ним я умна. 〈...〉 Он, Briquet, так и уехал через неделю. Месяц чужой любовной атмосферы. Но я *сама* уже очень отдалилась и радовалась, что не пошла на эту «карикатурную» влюбленность» (*Возр.*, 1969, № 211, с. 43—45).

Л е с т н и ц а.— Посвящено Лизе О〈вербе〉к (*ИМЛИ*). О ней Гиппиус писала 19 июля 1898 г. В. Д. Комаровой: «В последнее же мое путешествие, нынче весной, я встретилась с одной барышней, музыкантшей, с которой мы очень сошлись. Судьба ее трагическая: она русская, в раннем детстве была увезена из России родителями, бежавшими по политическим причинам в Англию и скоро умершими. Девочка не понимает ни слова по-русски, воспитана церемонной англичанкой. Кончила лондонскую консерваторию, издала уже несколько сборников своих песен, написала четыре симфонии, оперу, дирижирует оркестром и начинает приобретать известность. Но дело не в этом, а в том, что она *волшебно*-музыкальна. Никогда я не встречала такого странного существа. Вы не поверите, как она была мне полезна, какие толчки уму в сторону музыки она мне дала» (ЦГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154). Злоязычный Брюсов записывал 20 ноября 1902 г.: «Был Карташев, хорошо говоривший *против* церковных учений, и m-lle Овербек (?), бывшая любовница Зины» (*Брюсов. Дневники*, с. 125), и в начале 1903 г. более подробно: «При Зиночке состояла и Лиза Овербек, девица для лесбийских ласк, тощая, сухая, некрасивая, лепечущая по-франц〈узски〉. Впро-

чем, она, перебегая, появлялась и у Людмилы (Л. Н. Вилькиной.— *Н. Б.*), предлагая свои услуги и этой» (ГБЛ, ф. 386, к. 1, ед. хр. 16).

Улыбка.— Подзаголовок «(Насмешка)» (*ИМЛИ*).

Мгновение.— Под датой помета: ‹Аврора» (*ИМЛИ*).

Круги.— Посвящено Л. О⟨вербек⟩. Под датой помета: «Гомбург» (*ИМЛИ*).

Прогулка вдвоем.— Посвящено Л. О⟨вербек⟩ (*ИМЛИ*).

Соблазн.— Петр Петрович *Перцов* (1868— 1947) — журналист, искусствовед, мемуарист, редактор журнала «Новый путь». Подробнее о нем см. в мемуарах Гиппиус.

Там.— Стихотворение основано на древнегреческих мифах о царстве мертвых, Аиде. *Харон* — перевозчик душ в это царство. *Лета* и *Стикс* — реки в Аиде.

Любовь.— *В начале было Слово* — см.: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (От Иоанна, I, 1).

Конец.— Посвящено Л. О⟨вербек⟩ (*ИМЛИ*).

Дар.— *Тебе Мария умыла ноги* — см.: «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром; И, ставши позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром... И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла... А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много...» (От Луки, 7, 37—38, 44, 47). См. также: «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими» (От Иоанна, 11, 2).

Нескорбному Учителю.— *В одежде белой* — очевидно, имеются в виду часто вспоминаемые Гиппиус слова Апокалипсиса: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Откровение, 3, 5).

Предел.— После посвящения Д. В. Философову приписка: «Так как ему понравилось» (*ИМЛИ*). Дмитрий Владимирович *Философов* (1872—1940) — критик, публицист, общественный деятель, ближайший друг и соратник Мережковских. См. о нем: «Очень высокий, стройный, замечательно красивый — он, казалось, весь, до кончика своих изящных пальцев, и рожден, чтобы быть и пребывать «эстетом» до конца дней. Его барские манеры не совсем походили на дягилевские: даже

в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас какая-то презрительность. Но он был очень глубок, к несчастью, вечно в себе неуверенный и склонный преуменьшать свои силы в любой области. Очень культурный, широко образованный, он и на писанье свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои статьи смело и резко 〈...〉 Он был не наносно, а природно религиозен, хотя очень целомудрен в этом отношении» (*ДМ*, с. 121).

Христу.— «*Не оставлю вас сиротами, Приду к вам*» — точная цитата из евангелия от Иоанна (14, 18).

Песни русалок.— Драма «Святая кровь» впервые опубликована в альманахе «Северные цветы» (М., 1901). Вошла в «Третью книгу рассказов» Гиппиус (М., 1902).

В гостиной.— Подзаголовок: «На журфиксе» (*ИМЛИ*).

Луговые лютики.— После посвящения приписано: «Поликсене» (*ИМЛИ*). *Ал. Меньшов* — псевдоним Поликсены Сергеевны Соловьевой (1867—1924) — поэтессы, художницы, издательницы журнала «Тропинка», сестры философа Вл. Соловьева. В воспоминаниях «Поликсена Соловьева», первоначально предназначавшихся для цикла «Живые лица», Гиппиус писала: «В «серьезные» стихи она очень много вкладывала своего, себя со своей «талантливостью», но, как и в картинах, чего-то в них недоставало» (*Возр.*, 1959, № 89, с. 123).

Земля.— Помета: «Душа К〈арташе〉ва» (*ИМЛИ*). Антон Владимирович *Карташев* (1875—1960) — известный церковный деятель, профессор Петербургской духовной академии, министр вероисповеданий Временного правительства. Близкий друг Мережковских в начале века, деятельный участник Религиозно-философских собраний. Его имя неоднократно фигурирует в дневнике Гиппиус «Contes d'amour».

Истина или счастье? — К посвящению приписано: «Успенскому и К〈арташе〉ву вместе» (*ИМЛИ*). Василий Владимирович *Успенский* — приват-доцент, впоследствии профессор Петербургской духовной академии, входил в круг близких друзей Мережковских, участник Религиозно-философских собраний. См. в неизданном фрагменте дневника Брюсова, относящемся к началу 1903 г.: «При Зиночке состояла (так! — *Н. Б.*) новые адъютанты, два профессора Дух〈овной〉 Ак〈адемии〉, небесные профессора — очень юные с виду. Она заставляет их всюду себя возить... Однажды, возвращаясь с ними домой, я им наговорил декадентских слов. Они были ужаснуты...» (ГБЛ, ф. 386, к. 1, ед. хр. 16).

Не знаю.— Помета: «О «философии» Минского» (*ИМЛИ*). К пониманию стихотворения см.: «В меонизме бо-

жество открывается как абсолютно-Единое, которое, из любви к множественному миру, добровольно умирает, вечно приносит себя в жертву ради мира и вечно воскресает в этом мире и в его стремлении к абсолютно-Единому. ⟨...⟩ Божество рождает мир и умирает в акте родов, и мир, никогда не видя Существа, родившего его, мистически созерцает его черты и любит его жертву. Но могут спросить: если небытие Божие — условие нашего бытия, то откуда мы узнаем об этом небытии и о тайне божественной жертвы вообще? Эта тайна открывается нам не в вере и не в предании, а в нашем же временном и ограниченном бытии, ибо каждый акт нашего духа есть стремление к абсолютному единству, к желанному и недостижимому» («Меонизм» Н. М. Минского в кратком изложении автора.— История русской литературы XX века. 1890—1910. М., 1910, т. 1, с. 367—368).

Христианин.— *Ефрем Сирин* (ок. 306—373) — выдающийся церковный деятель и писатель, особенно популярный в России, проповедник аскетизма. В письме к Брюсову от 30 мая или 6 июня 1903 г. Гиппиус отнесла это стихотворение к разряду иронических. Несколько позднее, 17 августа 1903 г., она писала ему же: «Я изнурена однообразным благочестием моих стихов! Этого почти нельзя вынести! ⟨...⟩ прошу вставить прилагаемое весело-извращенное стихотворение («Поцелуй».— *Н. Б.*) в самое лампадное место, куда только возможно. Какая досада, что нельзя после христианина по Ефрему Сирину!»

Другой христианин.— Можно полагать, что отчасти это стихотворение отражает взгляды самой Гиппиус. В письме к Брюсову, отправленном 11 января 1902 г., она, цитируя евангельское: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но *меч*» (От Матфея, 10, 34; подчеркнуто Гиппиус), далее писала: «И так без конца, без конца. Вот лицо *грядущего* Христа, Христа второго пришествия — (и того же самого, который был)».

«Я».— Помета: «От имени Д. В. Философова» (*ИМЛИ*). В письме к Брюсову от 30 мая или 6 июня 1903 г. стихотворение отнесено к категории иронических.

Предсмертная исповедь христианина.— В письме к Брюсову от 30 мая или 6 июня 1903 г. стихотворение названо ироническим.

Как все.— Помета: «Мэонист» (*ИМЛИ*). В рукописи, сохранившейся в архиве В. Я. Брюсова (ГБЛ, ф. 386, к. 128, ед. хр. 13), подзаголовок: «Мэоническая молитва». К пониманию стихотворения см.: «В отличие от религий, основанных на предании, религия внутреннего откровения беско-

рыстна. Она не обещает ни благ, ни избавления от страданий, но она не бесполезна, ибо дает внутреннее оправдание трагедии жизни и смерти и служит последней плотиной против темных, вечно нам угрожающих волн пессимизма» («Меонизм» Н. М. Минского в кратком изложении автора, с. 366).

Тетрадь любви.— Можно полагать, что появление стихотворения связано с реальной тетрадью — дневником «Contes d'amour», куда Гиппиус заносила свои интимные переживания и который она время от времени покидала, запечатывая в конверт.

Вместе.— В письме к Брюсову от 17 августа 1903 г. Гиппиус просила его: «Нельзя ли «Вместе» и «Грех» разделить? Они так однозвучащи!» В рукописи зачеркнуто название «Единая дорога» и имеется точная дата: 28 марта 1902 (ГБЛ, ф. 386, к. 128, ед. хр. 13).

Что есть грех.— Вальтер Федорович *Нувель* (1871—1949) — известный музыкальный деятель, близкий к кругу «Мира искусства». Хотя стихотворение относилось Гиппиус в письме к Брюсову к разряду иронических, следует отметить, что многие качества, именуемые в первых двух строфах греховными, она с неодобрением находила именно у Нувеля.

Стариковы речи.— В письме к Брюсову стихотворение отнесено к разряду иронических.

Поцелуй.— В письме к Брюсову стихотворение это названо «весело-извращенным» (см. примеч. к стих. «Христианин»), и далее: «Конечно, я-то понимаю, что им, *в сущности;* однообразие не прерывается (однообразие моей искренности), но, к счастью, до сущности никто не дойдет, а со вне — это милое, необходимое развлечение». Для Гиппиус поцелуй имел особое значение. См.: «Поцелуй, эта печать близости и равенства двух «я» — принадлежит влюбленности; желание, страсть от жадности украли у нее поцелуй,— давно, когда она еще спала,— и приспособили его для себя, изменив, окрасив в свой цвет. Он ведь им, в сущности, не нужен. 〈...〉 Поцелуй — это первое звено в цепи телесной близости, рожденное влюбленностью; первый шаг ее жизненного пути. Но благодаря тому, что страсть его украла, изменив — сделала всем доступным,— нам теперь и о поцелуе так же страшно и трудно говорить, страшно употреблять «слово», как слово «влюбленность» (*НП*, 1904, № 3, с. 187). См. также заметку Гиппиус: «Весь смысл *моего* поцелуя — то, что он *не* ступень к *той* (физической) форме любви... Он — намек на возможность мистического единства двух, основанного на абсолютном их равенстве»

(*Возр.*, 1969, № 210, с. 59). Специально поцелую посвящен сонет Гиппиус «Шестнадцать», написанный 9 августа 1918 г.:

Шестнадцать уст... И в памяти храню я
К устам — прикосновенье уст моих.
В нем было откровенье поцелуя...
Шестнадцать уст... Я помню только их.
Жестокостью иль нежностью волнуем,
Во власти добрых духов или злых —
Когда б я ни касался уст иных —
Святое пламя пил я с поцелуем.
И даже если вдруг, полуслучайно,
Уста сближались — на единый раз —
В едином миге расцветала тайна,
И мне не жаль, что этот миг погас...
О, в поцелуе все необычайно!
Шестнадцать уст... Я помню только вас...

(*СиП*, т. 2, с. 10)

Пьявки.— В письме к Брюсову Гиппиус отнесла это стихотворение к числу иронических.

Числа.— Т. Пахмусс пишет об особом отношении Гиппиус к числам: «...она рассматривала числа как связанные с реальностью. Она указывала на это Адамовичу 19 августа 1927 г.: «Категория чисел ближе к действительности, чем мы обычно верим». В стихах она часто использовала числа как символы духовной реальности, считая их божественными по природе» (Pachmuss T. Zinaida Hippius. An intellectual profile. Carbondale, 1971, p. 93). В данном стихотворении числа — даты рождения Мережковского (2 августа 1865), Философова (26 марта 1872) и самой Гиппиус (8 ноября 1869).

13.— *8 — бесконечность.*— Имеется в виду математический знак бесконечности — лежащая восьмерка. Подробнее см.: Pachmuss T. Op. cit., p. 93—94. *Число звериное* — см.: «...Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение, 13, 18). *В святую ночь беседы тайной.*— Имеется в виду тайная вечеря, на которой был Христос с 12 апостолами.

Мережи.— *Мережи* — сети (др. рус.).

Страны уныния.— Стихотворение было вставлено в книгу уже в корректуре. Гиппиус писала Брюсову 24 августа 1903 г.: «...типография пропустила одно стихотворение, которое я вовсе не желала пропускать — напечатанное в прошлых «Сев⟨ерных⟩ цветах»: «Минуты уныния, и мнится — в пустыне я...», что-то вроде этого. Вот уж явный пропуск».

Ничего.— Посвящено Л. О⟨вербек⟩ (*ИМЛИ*).

Богиня.— *Астарта* — в западносемитской мифологии богиня любви и плодородия, символом которой была луна.

С о о б щ н и к и.— Речь в стихотворении идет о крестных муках Христа. Было послано Гиппиус Андрею Белому в письме от 5 апреля 1902 г. с кратким комментарием (*ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 180).

Б е л а я о д е ж д а.— Эпиграф — Откровение, 3, *5* (в синодальном издании цитата выглядит иначе: «Побеждающий облечется в белые одежды»).

СОБРАНИЕ СТИХОВ. КНИГА ВТОРАЯ. 1903—1909

П е т е р б у р г.— *С. П. Каблуков* (1881—1919) — математик, музыкальный деятель, секретарь Религиозно-философского общества. В его многолетних дневниках содержится множество упоминаний о Гиппиус. Эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». *Твое дыханье — смерть и тленье, А воды — горькая полынь* — см.: «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела... Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью...» (Откровение, 8, 7, 10—11). О «петербургском мифе», нашедшем отражение в этом стихотворении, см. подробнее: Семиотика города и городской культуры. Тарту, 1984; О с п о в а т А. Л., Т и м е н ч и к Р. Д. «Печальну повесть сохранить...». М., 1987.

П е т у х и.— *П. С. Соловьева* — см. примеч. к стих. «Луговые лютики».

Б л а г а я в е с т ь.— В основе сюжета стихотворения — легенда о Благовещении (От Луки, 1, 26—39).

Н о ч ь ю.— *Я чую,— время пополам расколется* — см.: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, чтó на нем, землю и все, чтó на ней, и море и все, чтó в нем, что времени уже не будет» (Откровение, 10, 5—6). *Белые венцы* — см.: «Глава Его и волосы белы, как белая вóлна, как снег; и очи Его — как пламень огненный» (Откровение, 1, 14). *Начала и концы* — ср.: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, первый и последний» (Откровение, 22, 12—13).

С в о б о д а.— *Отче, вовек да будут едино* — ср. в молитве «Отче наш»: «...да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (От Матфея, 6, 10).

К о р о с т е л ь.— Можно предположить, что стихотворение посвящено А. В. Карташеву.

М е ж д у.— *Д. В. Философов* — см. примеч. к стих. «Предел».

Н е л ю б о в ь.— *З. А. Венгерова* — см. примеч. к стих. «Иди за мной».

О в е н и С т р е л е ц.— Эпиграф — первая и последняя строка стихотворения П. Соловьевой «В безумный месяц март», посвященного Вяч. Иванову (в оригинале: «В безумный месяц март я родился на свет». См.: С о л о в ь е в а П. (Allegro). Плакун-трава. СПб., 1909, с. 59). *Овен* и *Стрелец* — знаки Зодиака, соответствующие марту (месяцу, названному в эпиграфе) и ноябрю (месяцу рождения Гиппиус). *Халкидон* и *гиацинт* — драгоценные камни, соответствующие Овну и Стрельцу.

Т ы.— 8 февраля 1906 г. Гиппиус писала Брюсову: «Петербургские моралисты и моралистки, «искренно любящие» меня, узнав, что я — о ужас! — хочу *напечатать* стихотворение «Милый — мой — милая...», чуть не депутацию ко мне думали отправить, чтобы я этого не делала. Я же,— клянусь, без притворства,— никак не могу сообразить, что за пагубный вывод для моей «женской чести» (если таковая у меня с их стороны еще существует) можно тут сделать. Мне просто интересно, как с житейской точки зрения *можно* это понять? У меня искреннее убеждение, что *никак* нельзя понять».

Т р и ф о р м ы с о н е т а. III.— *Б. Бугаев* — настоящая фамилия поэта Андрея Белого. Эпиграф — От Марка, 6, 5.

Т о л ь к о о с е б е.— *Наталья* Николаевна *Гиппиус* (1880—1963) — сестра З. Н., скульптор.

О н а.— Как и другие, стихотворение было посвящено Блоку по его выбору (см. в воспоминаниях «Мой лунный друг»).

Р о с н о е и м я.— *Вал. Нувель* — см. примеч. к стих. «Что есть грех».

И м е т ь.— *Вас. Успенский* — см. примеч. к стих. «Истина или счастье».

М а л и н к а.— После резкой критики стихотворения «Боль» (см. ниже в примеч. к нему) Гиппиус писала Брюсову: «Ведь у вас, кажется, моя «Малинка»? Печатаете ли вы ее? Я читала «с этой точки зрения» черновик Д⟨митрию⟩ С⟨ергееви⟩чу, он думал-думал — и все-таки советует ее печатать». Гиппиус весьма интересовалась сектантством, особенно после поездки в 1902 г. на озеро Светлояр, где, по преданию, был скрыт град Китеж. Подробное описание этого путешествия см.: Г и п п и у с З. Н. Светлое озеро. Дневники.— *НП*, 1904, № 1—2.

Б о л ь.— После публикации в журнале «Весы» (1907,

№ 5), стихотворение вызвало настоящую бурю в печати. По этому поводу Гиппиус писала Брюсову: «Я многим читала «Боль» — и ни единому человеку не пришло в голову, что это *можно* принять за эротизм. С другой стороны, я никак не ожидала, что в нынешние времена, при наличности всяких «уродов», и «соитий», и перевертанностей, я еще могу «удивить мир декадентством». Полагаю, что тут не без наследственного Апостола Павла, не без требования бессознательного, бытового, глубоко еще варварского, чтобы «жена пребывала в молчании». Напиши *вы* такую «боль» — никому бы ничего в ум не пришло». И несколько далее: «Быть может, еще оттого я не могла себе вообразить такой интерпретации «Боли», что не умела и никогда не писала стихов на «а», так что и не представляла себе, что меня могут принять за боль». В письме упоминаются повесть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода», в которой сильна тема лесбийской любви, стихотворение Вяч. Иванова «Триста тридцать три объятья...» и слова из 1-го послания апостола Павла к Коринфянам: «Жены ваши в церквах да молчат» (14, 34). Стихи на «а» — стихи, написанные от лица женщины.

Оно.— Гиппиус вспоминала о днях первой русской революции: «Длиннейшие манифестации с флагами, с пением, с криками мы наблюдали из открытых окон нашей квартиры, когда толпы двигались по широкому Литейному проспекту» (*ДМ*, с. 140).

Тоске времен.— Эпиграф — первая строка стихотворения Я. П. Полонского без заглавия.

Журавли.— *Ал. Меньшов* — см. примеч. к стих. «Луговые лютики».

Дьяволенок.— В письме к Брюсову от 18 марта 1907 г. Гиппиус писала: «Я жалею, что не послала ничего на конкурс. Кстати же у меня есть «греховное» стихотворение...» (имеется в виду конкурс журнала «Золотое руно» на художественные произведения о дьяволе, где по разделу стихов первая премия присуждена не была). 24 января 1909 г. ему же: «Дьяволенок, как следовало ожидать, вызвал упреки в порнографии, но так как это теперь не модно, то и не вытанцевалось. Утешаюсь, что если Буренину не понравился чертенок,— зато понравился старику Суворину».

Zepp'lin III.— *Цеппелин* — германская марка дирижабля. Можно полагать, что многие молитвы этого стихотворения отразились в «Авиаторе» Блока (*Блок*, III, 33—34).

14 декабря.— Стихотворение написано в годовщину восстания декабристов. Ср. более поздние стихотворения «Петроград», «14 декабря 17 года», «14 декабря 18 г.».

ИЗ КНИГИ
«СТИХИ. ДНЕВНИК 1911—1921»

Часть стихотворений этой книги была ранее опубликована в книгах «Последние стихи» и «Походные песни». Сравнительно малочисленные разночтения текстов нами не учитываются.

А п о т о м?..— У Гиппиус есть автопародия на это стихотворение (*СиП*, т. 2, с. 88—89).

Н е б у д е м к а к с о л н ц е.— Заглавие — парафраз названия сборника стихов К. Д. Бальмонта «Будем как солнце» (1903). *Ропшин* — литературный псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879—1925), политического деятеля, прозаика и поэта, близкого друга семьи Мережковских. Гиппиус была автором предисловия к его посмертной «Книге стихов» (Париж, 1931). В воспоминаниях она писала о наиболее известном его романе: «Заглавие, довольно нелепое, я ему переменила, назвав роман «Конь бледный» (с эпиграфом из апокалипсиса), а псевдоним, также неинтересный, предложила заменить одним из своих, под которым недавно написала статью в «Полярной звезде» (*ДМ*, с. 181).

П о э т у р о д и н ы.— *А. Меньшов* — см. примеч. к стих. «Луговые лютики».

П р о т я ж н а я п е с н я.— *Амалия* — Амалия Осиповна Бунакова (ум. 1937?), жена известного революционера-эсера Ильи Исидоровича Бунакова-Фондаминского (1880—1942). Она и ее муж были близкими друзьями Мережковских.

В о з н я.— Сюжет стихотворения восходит к роману Жюля Верна «Из пушки на луну».

Л ю б о в ь — о д н а.— Эпиграф — из стихотворения Гиппиус, носящего то же название и написанного в 1896 г. (см. с. 41).

П с а л м о п е в ц у.— *Вл. Бестужев* — псевдоним Владимира Васильевича Гиппиуса (1876—1941), поэта, литературоведа и педагога, дальнего родственника З. Н. Она высоко ценила его стихи. См. в ее письме к Ф. Сологубу от 7 июля 1892 г.: «У нас был Гиппиус. Он читал мне свои стихи, и многие, действительно, очень недурны. Я рада за него, декадентничанье его, Добролюбова и Квашнина было жалко и стыдно, хорошо, что он один сумел его победить» [ЦГАЛИ, ф. 482, оп. 2, ед. хр. 21; в письме упоминаются поэты Александр Михайлович Добролюбов (1876—1944?) и Евдоким Николаевич Квашнин-Самарин (1879—1921)].

Напрасно.— Завершающие строки — отсылка к стихотворению Ф. И. Тютчева «Silentium».

L'imprévisibilité.— В «Последних стихах» стихотворение названо «Непредвиденное». В декабре 1919 г. Гиппиус записывала: «Ведь отчего сделалось бессмысленным писать дневник? Потому что уж с давних пор (год, может быть?) ничего *нового* сделаться здесь не может; все сделалось до конца, переверт наизнанку произошел 〈...〉 Ohé, Bergson! Мы вышли из твоей философии! Кончена imprévisibilité! Остался «учет»,— по Ленину» (*Дневники*, с. 84). Т. Пахмусс так комментирует это: «Концепция времени у Гиппиус приближается к понятию времени у Бергсона. Последнюю духовную реальность, говорит Бергсон, можно объять лишь метафизической интуицией. «Настоящие явления», составляющие сущность духовной реальности, могут быть постигнуты только метафизическим чутьем. «Настоящие явления» составляют «настоящие моменты» «настоящего времени» в его «длении» 〈...〉 «Дление» — это созидательный процесс, так как моменты или явления в «настоящем времени» — не только результаты прошлых моментов и событий. Обогащенные своим прошлым, они и новы по своей природе. 〈...〉 Это бергсоновское толкование «настоящего времени», усвоенное Гиппиус, находит свое выражение, например, в ее утверждении, что «настоящий момент» представляет собой таинственную связь между прошлым и будущим» (*Возр.*, 1968, № 198, с. 12).

Тише! — Эпиграф — из стихотворения Ф. Сологуба «Марш» (Сологуб Федор. Война. Пг., 1915, с. 8. В оригинале: «Громки будут отважные дела»).

Адонаи.— *Адонаи* — одно из обозначений Бога в иудаизме. *Скрижальные слова* — см.: «И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его *были* две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон... Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии... Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под горою» (Исход, 32, 15—16, 19). *Иегова* (Яхве) — в иудаизме непроизносимое имя Господа, заменяемое при чтении именем Адонаи. *Той, что под крестом тогда стояла, рано.*— Имеется в виду Богоматерь. См.: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (От Иоанна, 19, 25).

«Петроград».— Владимир Николаевич *Аргутинский-Долгоруков* (1874—1941) — искусствовед, коллекционер, близкий к кругам «Мира искусства». *Санкт-Петербург* был переиме-

нован в *Петроград* 8 августа 1914 г. Однако следует отметить, что стихотворение датировано 14-м декабря, т. е. датой восстания декабристов, и потому включается в ряд стихотворений Гиппиус о декабристах. 17 марта 1917 г. Гиппиус записала: «Сегодня был напечатан мой крамольный «Петербург», написанный 14 дек⟨абря⟩ 14 года» (*Дневники*, с. 194).

Черненькому.— *Н. Гиппиус* — см. примеч. к стих. «Только о себе».

Неизвестная.—*Смертью смерть побеждается* — слова из пасхальной церковной службы: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».

Зеленый цветок.— Стихотворение, как и следующее, связано с постановкой пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо». *Зеленое* здесь — символ молодости.

Молодое знамя.— Как и предыдущее, связано с постановкой пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо». Послесловие к пьесе (Пг., 1916, первоначально — «Биржевые ведомости», утр. вып., 1916, 23 апреля) называлось «Зеленое — белое — красное». См. в этом послесловии: «С самого начала слово «Зеленое» не было мною взято как определяющее непременно «молодость»: шире: как «рост», как силу жизни, как возрождение» (с. 137). Относительно символики других цветов см.: «Мы решили сшить одежды не белые, а красные, потому что белых еще не были достойны (сказано: «*Побеждающему* дам белые одежды»), форма их — эпитрахиль до полу» (*Возр.*, 1970, № 219, с. 57).

Ему.— Возможно, посвящено Зинаиде Владимировне Ратьковой-Рожновой (урожд. Философовой; 1871—1966), сестре Д. В. Философова.

«Свободный стих».— Посвящение «молодым поэтам» связано с тем, что в годы войны у Мережковских регулярно собирались молодые поэты. См.: «...я, по воскресеньям, перехожу к самой зеленой молодежи: являются всякие студенты-поэты, студенты просто, гимназисты и гимназистки, всякие мальчики и девочки. Поэзию я слушаю, но не поощряю, а хочу понять, как они к *жизни* относятся» (*Дневники*, с. 106).

Не о том.— Стихотворение связано с символикой пьесы «Зеленое кольцо», где *зеленое* — знак молодости, а *лиловое* (цвет платья, в котором М. Г. Савина играла Елену Ивановну) символизирует старшее поколение. *Друг, почему ты не в брачной одежде?* — отсылка к притче о брачном пире: «Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, И говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слу-

гам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов; Ибо много званных, а мало избранных» (От Матфея, 22, 11—14).

Белое.— В стихотворении использована традиционная Рождественская символика (Вифлеемская звезда, ведшая волхвов поклониться Христу; ясли, в которых находился Младенец) *Мир на земле, в человеках благоволенье* — см.: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (От Луки, 2; 14). Последний стих цитирует Апокалипсис (см. примеч. к стих. «Нескорбному Учителю»).

Без оправданья.— В книге «Последние стихи» было посвящено М. Г⟨орько⟩му, издававшему антивоенный журнал «Летопись».

«Говори о радостном».— Владимир Ананьевич *Злобин* (1894—1967) — поэт, впоследствии литературный секретарь Мережковских, автор книги воспоминаний о Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970).

Непоправимо.— Николай *Ястребов* — поэт, входивший в круг Гиппиус. См. о нем: *ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 474—475. *Тяжелый всадник на коне рыжем* — см.: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга...» (Откровение, 6, 4).

На Сергиевской.— В десятые годы Мережковские жили в Петербурге по адресу: Сергиевская, 83. *Окно мое над улицей низко* — см. стих. Гиппиус «Песня» (наст. изд., с. 28).

Юный март.— Эпиграф — первая строка «Марсельезы».

Гибель.— Степан Иванович *Осовецкий* (ум. 1944) — инженер-технолог, член Московского филармонического общества. После революции — в Польше.

Почему.— *Ирландия* — имеется в виду, очевидно, Ирландское восстание 1916 г. и его последствия.

14 декабря 17 года.— Стихотворение входит в ряд посвящений восстанию декабристов («14 декабря», «Петроград», «14 декабря 18 г.»). *Пальцы серых обезьян* — см. в дневнике 31 октября 1917 г.: «Однако страшно ли «обезьяне со штыком» пассивное сопротивление?» (*Дневники*, с. 277). Кондратий Федорович *Рылеев* (1795—1826), Сергей Петрович *Трубецкой* (1790— 1860), Валерьян Михайлович *Голицын* (1803—1859) — декабристы. Первые двое принадлежали к числу руководителей движения, третий был осужден по VIII разряду и приговорен к вечной ссылке в Сибирь на поселение (в 1829 г. переведен на Кавказ).

Опять.— *Колпак фригийский* — головной убор революционеров во время Великой французской революции.

Н а п о л е ч е с т и.— Владимир Александрович (?) *Р⟨атьков-⟩Р⟨ожнов⟩* — муж З. В. Ратьковой-Рожновой, сестры Д. В. Философова.

К т о о н? — Речь в стихотворении идет об А. Ф. Керенском. См.: «В Керенском было много привлекательного. С виду он напоминал немножко Пьеро, со своими волосами торчком, с большим носом и смешным, выразительным лицом. Главное — в нем была какая-то мальчишеская живость, скорость движений и — кажется, обманчивая — решительность. Но была в нем, увы, и женская истеричность» (*ДМ*, с. 218). См. также запись 5 ноября 1917 г.: «Да, фатальный человек; слабый... герой. Мужественный... предатель. Женственный... революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, весь — несчастный» (*Дневники*, с. 283).

Ш е л . . . I.— Подробнее об этом стихотворении см. в воспоминаниях «Мой лунный друг» и комментарии к ним. Появление стихотворения связано с публикацией поэмы Блока «Двенадцать» (3 марта 1918) и стихотворения «Скифы» (20 февраля), а также поэмы Андрея Белого «Христос воскрес» (12 мая; все — в газете «Знамя труда»). См. также фельетон Гиппиус «Люди и нелюди» (Новые ведомости, 1918, 10 апреля).

Ш е л... II.— Стихотворение проецируется на рассказ об изгнании Христом торгующих из храма: «...и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, *также* и овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы *их* опрокинул» (От Иоанна, 2, 13—15). Ср. также: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их» (От Матфея, 21, 14).

А. Б л о к у.— Об истории и обстоятельствах создания этого стихотворения см. в мемуарах «Мой лунный друг». Комментируя это стихотворение, Ю. М. Гельперин писал: «...по-французски «потерянное дитя» (enfant perdu) обозначает часового на передовой позиции; у Г. Гейне есть стихотворение под таким названием» (*ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 562). Ср. письмо Гиппиус Андрею Белому от 2 сентября 1918 г.: «Я вас люблю, Боря, и считаю вас невинным, но поскольку вы все-таки человек, а, главное, человек — я, не могу не взорвать мостов между «нами» и «ними», участниками «Скифов» и «Знамен труда». Я считаю вас невинным (и Блока), потому что вы не сознаете, куда идете, чему сопричастились. Но ваша невинность личная, как моя к вам личная любовь, дела не меняют, а лишь дают мне боль, которую принимаю, вам на нее не жалуясь» (т а м ж е, с. 480).

Напрасно.— *Корделия* — младшая дочь Короля Лира в трагедии Шекспира.

Есть речи...— Название — первые слова стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...».

Свеча ненависти.— *Не мне отмщение* — см.: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу *Божию.* Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Послание к Римлянам, 12, 19).

Может быть...— *Просто совьется свиток звездный* — см.: «И небо скрылось, свившись как свиток» (Откровение, 6, 14).

Час победы.— Эпиграф — из стих. «В черту» (наст. изд., с. 114).

14 декабря 18 г.— *Зверь из бездны* — см.: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней... И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят» (Откровение, 11, 3, 7—8). *Муравьев* — видимо, Никита Михайлович (1795—1843), автор проекта конституции Северного общества декабристов. *Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — глава Южного общества декабристов, автор «*Русской правды*», программного документа общества.

Летом.— Эпиграф принадлежит самой Гиппиус. Эти же строки поставлены эпиграфом к «Черной книжке» — ее дневнику 1919 года (*Дневники*, с. 23).

Осенью.— См. запись 26 (13) октября 1919 г.: «Вот две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ: «*гнать*» вперед красноармейцев (так и напечатал «гнать»), а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство!» (*Дневники*, с. 61). Рыл окопы и Мережковский (там же, с. 74).

Видение.— *Аманты* — любовницы. *Эр-Эс-Эф-ка* — «ка» следует понимать как уничижительный суффикс. В другом варианте стихотворения — «Ер-эс-эф-эс-эр» (*СиП*, т. 2. с. 57). *Бронштейн Лев* — Л. Д. Троцкий. *Антанта с большевиками заключает мир.*— Очевидно, имеется в виду решение Верховного совета Антанты от 16 января 1920 г. о прекращении блокады советской России.

Оттуда? — Дарья Павловна *Соколова* (1856 — ?) — няня Гиппиус.

Р о д н о е.— Татьяна Ивановна *Манухина* (1885—1962) — близкий друг Гиппиус, жена И. И. Манухина. Автор романа «Отечество» (под псевдонимом Т. Таманин).

Б у д е т.— Иван Иванович *Манухин* — врач, близкий друг Мережковских как в России, так и в эмиграции.

СИЯНИЯ

Книга вышла в 1938 г. в серии «Русские поэты» (вып. 2), издававшейся в Париже фирмой «Дом книги», тиражом 200 экземпляров. Сведения о времени написания стихотворений — *СиП*, т. 1, с. XLII.

Э п и г р а ф написан 24 декабря 1933 г.

И д у щ и й м и м о.— Написано в 1924 г. в Грассе.

М е р а.— Написано в июне 1924, villa Tranquille. В записях «Выбор?» Гиппиус писала: «О «мере»... Мера — это, в настоящем смысле,— *гармония*. Как раз то, чего лишен первый мир (который мы зовем «реальным») и к чему он стремится, стремясь к миру второму, как бы слепо ощущая, что там она есть. Проще — «мера только у Бога», и всегда, в чувстве Божества, есть тоска по гармонии» (*Возр.*, 1970, № 222, с. 69—70).

Н а д з а б в е н ь е м.— Написано в сентябре 1928 г., Café des Allées, Cannes.

Р о ж д е н и е.— Написано в 1920 г. в Париже.

Ж е н с к о с т ь.— Написано в 1923 г.

В е ч н о ж е н с т в е н н о е.— Написано в январе 1928 г. в Париже. Было посвящено Н. Н. Берберовой. См.: Г и п п и у с Зинаида. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978, с. 24—25. *Сольвейг* — героиня драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт», невеста Пера. *Тереза* — неоднократно упоминаемая в стихах и прозе Гиппиус святая Тереза Младенца Иисуса (Тереза Мартин; 1873—1897), канонизированная в 1925 г. Гиппиус считала ее посредником между собой и Христом. Статуя св. Терезы была в доме Мережковских, и после смерти мужа Гиппиус разбила ее в гневе, что она позволила Мережковскому умереть раньше нее. *Мария* — Богоматерь.

Н е о с т у п н о е.— Написано в ноябре 1925 г., villa Alba.

Ю ж н ы е с т и х и. 1. З а ч т о? — Написано в июне 1923 г. в Грассе.

Ю ж н ы е с т и х и. 4. Д о ж д ь.— Написано в 1923 г. в Грассе.

Б ы т ь м о ж е т.— Написано в 1930 г. в Le Cannet.

Я с н о с т ь.— Виктор Андреевич *Мамченко* (1901—1982) — поэт.

Прорезы.— Написано 13 марта 1918 г. в Дружноселье.

Как он.— Георгий Викторович *Адамович* (1892—1972) — поэт, литературный критик.

Ей в горах.— Написано в 1928 г. в Thorenc. См.: Гиппиус Зинаида. Письма к Берберовой и Ходасевичу, с. 23—24.

Ключ.— Написано в 1924 г. в Париже.

Прошла.— Написано в 1921 г. в Висбадене.

В тайне.— Написано 24 декабря 1925 г. в Париже.

St. Thérèse de l'Enfant Jesus.— Написано 1 января 1925 г. в Париже. См. примеч. к стих. «Вечноженственное».

Зеркала.— Написано в 1922 г. в Париже.

Воскресенье.— *Кроме слов последних — Фомы.*— См.: «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был *тут* с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. ...Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди *их* и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; ...и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (От Иоанна, 20, 24—28).

Досада.— Написано в марте 1933 г.

8 ноября.— Написано в 1933 г. *8 ноября* — день рождения Гиппиус и одновременно — собор Архистратига Михаила.

Eternité frémissante.— Написано 23 декабря 1933 г. Владимир Сергеевич *Варшавский* (1906—1978) — прозаик.

Равнодушие.— Написано в Париже в 1927 г. Эпиграфы — из стихотворений Гиппиус «В черту» (наст. изд., с. 114) и «Час победы» (наст. изд., с. 181).

Когда? — Написано 1 марта 1924 г. в Париже.

Игра.— Написано в 1930 г. в Le Cannet.

Сложности.— Написано в 1933 г.

Лазарь.— В основе сюжета стихотворения — легенда о воскрешении Лазаря: «Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. ...Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (От Иоанна, 11, 38—39, 43—44).

Домой.— Написано в 1922 г. в Париже.

ЖИВЫЕ ЛИЦА

МОЙ ЛУННЫЙ ДРУГ

Наиболее подробно сюжет взаимоотношений Блока с Гиппиус прослежен в статье З. Г. Минц «А. Блок в полемике с Мережковскими» (*БС*, с. 116—222), где опубликованы письма Мережковских к Блоку.

Эпиграф — из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие...», посвященного Гиппиус.

Ольга Михайловна *Соловьева* (1855—1903) была родственницей матери Блока. Переписка Гиппиус и Соловьевой неизвестна, однако в письме Соловьевой к матери Блока от 19 сентября 1901 г. сохранилось свидетельство: «...я послала Гиппиус Сашины стихи, на что не получала от него никакого разрешения и не знаю, позволил ли бы он. Двое стихов: «Предчувствую тебя» и «Ищу спасенья». Я не скрыла имени автора, но ни о каком «Мире иск⟨усства⟩», или чем-либо подобном, не упоминала. ⟨...⟩ Гиппиус разбранила стихи, написала о них резко, длинно, даже как будто со страстью. Я почувствовала себя предательницей, и мне стало не хорошо» (*ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 176). Следует отметить, что Гиппиус и Соловьева лично познакомились лишь в декабре 1901 г., причем «друг другу не очень понравились. Ольга Михайловна нашла Зиночку не столь красивой, как ждала, а Зиночка нашла ее слишком «эстетической» (*Брюсов. Дневники*, с. 109; см. также *ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 178).

Только один рассказ.— Рассказ, о котором пишет Гиппиус,— «La beata» («Северный вестник», 1896, № 7).

Михаил Сергеевич *Соловьев* (1862—1903) — литератор.

Жили тогда на Арбате — Арбат, д. 55.

Сын Сергей — Сергей Михайлович Соловьев (1885—1942) — поэт, переводчик, литературный критик, биограф Вл. Соловьева. Действительно стал священником (хотя и не перед войной: в конце 1915 г. он был посвящен в диаконы, в начале двадцатых годов перешел в католичество и в 1926 г. стал епископом, вице-экзархом католиков греко-российского обряда).

Ранней весной.— Знакомство Блока с Мережковскими состоялось 26 марта 1902 г.

Серия его стихов о Прекрасной Даме — *НП*, 1903, № 3.

Рецензию или статейку.— Блок рецензировал сборник Вяч. Иванова «Прозрачность» (*НП*, 1904, № 6) и в продолжении *НП*, журнале «Вопросы жизни», опубликовал статью «Твор-

чество Вячеслава Иванова» (1905, № 4/5). Статьи об издании Вл. Соловьева не существует.

Поздней же осенью.— Блок был у Мережковских на даче в Заклинье под Лугой 21 и 22 сентября 1902 г. В письме к отцу 26 сентября он писал об этом визите: «Разговоры были, разумеется, довольно отвлеченны — об Антихристе и «общем деле» 〈...〉 Впечатление мое от самих доктрин Мережковского затуманилось еще более, и я уже совсем ничего не могу ни утверждать, ни отрицать, а потому избрал в этой области роль наблюдателя с окраской молчаливого мистицизма» (Письма А. Блока к родным. Т. I. Л., 1927, с. 79—80).

«Володенька, да как же ты глюпа!» — строка из поэмы «Три свидания» (а не «Три встречи», как пишет Гиппиус) звучит в контексте так:

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя — к житейскому слепа...
А немка-бонна грустно повторяла:
«Володинька — ах! слишком он глупа!»

Общая биография Блока.— Гиппиус допускает здесь неточности: отец Блока был профессором Варшавского университета; Ангелина Александровна Блок (1892—1918) была его дочерью от второго брака.

На Любочке Менделеевой.— Любовь Дмитриевна Блок (урожд. Менделеева; 1881—1939), позже — актриса, историк балета.

В это лето мы с Блоком не переписывались.— Это утверждение не вполне верно. 17 июня 1903 г. Гиппиус отправила Блоку письмо, из которого процитируем несколько фраз: «Как это вы забыли, что давно сообщили мне о вашей женитьбе? Еще, кажется, в начале или конце марта, в тот вечер, когда переписывали письмо. Вы не говорили мне имени вашей невесты, но сказали, что женитесь, и даже не прибавили, что это секрет. 〈...〉 После Карташов сообщил мне имя вашей будущей жены. 〈...〉 Действительно, к вам, т〈о〉 е〈сть〉 к стихам вашим, женитьба крайне нейдет, и мы все этой дисгармонией очень огорчены; все, кажется, даже без исключения. Вы простите, что я откидываю условности и вместо того, что принято по-житейски говорить в таких случаях,— говорю лишь с точки зрения абсолюта. По-житейски это все, вероятно, совсем иначе, и я нисколько не сомневаюсь, что вы будете очень «счастливы» (*БС*, с. 145). Этим письмом Блок был оскорблен (см.: *ЛН*, т. 89, с. 171), что привело к отстранению его от Мережковских.

Личное горе, постигшее меня в начале зимы — смерть матери 10 октября 1903 г.

Был и он.— Гиппиус систематически приглашала Блока на свои вечера одного, без жены, что не способствовало улучшению отношений.

С Борей Бугаевым познакомились мы...— См. запись в дневнике Брюсова о событиях декабря 1901 г.: «Были там (у О. М. и М. С. Соловьевых.— *Н. Б.*) еще два наших студента-декадента: Бугаев, Борис Николаевич (автор симфоний и сын проф. Б⟨угаева⟩), и Петровский, чуть-чуть заикающийся: Бугаев старался говорить вещи очень декадентские. Оба благоговели перед М⟨ережковским⟩ и З⟨иночкой⟩» (*Брюсов. Дневники*, с. 110). Блок и Белый познакомились (лично, а не по письмам) лишь в январе 1904 г.

Я не отказываюсь от одной своей заметки в «Речи» — см.: Гиппиус З. Белая стрела.— Речь, 1908, 29 декабря.

«Ты, Петр, камень...» — см.: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (От Матфея, 16, 18).

Весной 1904 года Мережковские были в Германии. По дороге они посетили Льва Толстого (см. ниже, в очерке «Благоухание седин»).

Убийство Плеве.— Министр внутренних дел В. К. Плеве был убит эсером Е. Созоновым 15 июля 1904 г. *П. Д. Святополк-Мирский*, ставший министром внутренних дел после Плеве, был несколько более либерален, чем его предшественник.

Булгакова, Бердяева.— Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944) — экономист, философ, священник и богослов. Николай Александрович Бердяев (1874—1948) — философ. Группа «идеалистов» (помимо Булгакова и Бердяева в нее входили П. Н. Новгородцев, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Волжский и др.) стала активно печататься в *НП* с октября 1904 г., а с 1905 г., когда руководство журнала полностью перешло в их руки, он сменил название и стал называться «Вопросы жизни».

Эсдеки — социал-демократы.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, прозаик, литературовед, мемуарист. Был секретарем *НП* с апреля 1904 г. См. его характеристику в письме Гиппиус к П. П. Перцову от 3 марта 1904 г.: «...есть чудесный кандидат, некто Георгий Чулков ⟨...⟩ Он бывший студент, поживший в Иркутске, теперь в Нижнем, пишет в «Нижегор⟨одском⟩ листке», был очень хорош с кружком Горького и Андреева, теперь принципиально разошелся; прислал его Брюсов; сам далеко не без таланта, либерало-декадент, подающий надежды на новое, крайне тянущийся к «Новому пути». Человек деятельный, неприхотливый (жена и он, без детей) и во всяком случае лите-

ратор. Нам он очень понравился» (*Максимов*, с. 159—160). См. также воспоминания Чулкова «Годы странствий». М., 1930, с. 51—64.

Заметку удалось напечатать — см.: Х. [рец. на:] А. Блок. Стихи о Прекрасной Даме.— *НП*, 1904, № 12, с. 271—280.

Новое стихотворение Блока, где рифмовало «ниц» и «царицу».— Имеется в виду стихотворение «Я живу в отдаленном скиту» (1905):

Но живу я в далеком скиту
И не знаю для счастья границ.
Тишиной провожаю мечту.
И мечта воздвигает Царицу.

Участие в газете А. В. Тырковой.— Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962) — писательница, журналистка. У Гиппиус явная хронологическая неточность: газетой Тырковой называлась «Русская молва», выходившая в 1912—1913 гг.

Театр Коммиссаржевской, «Балаганчик».— Сближение Блока с театром В. Ф. Коммисаржевской началось в 1906 г., спектакль по пьесе «Балаганчик» был поставлен 30 декабря 1906 г.

Уж давно странствует за границей.— В конце сентября 1906 г. Белый уехал в Германию, в начале декабря прибыл в Париж.

С Жоресом.— Белый познакомился с Ж. Жоресом (1859—1914) в декабре 1906 г., а в феврале 1907-го представил ему Мережковских. См.: Белый Андрей. Воспоминания о Жоресе. Пред. и публ. А. В. Лаврова.— Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988 (там же указаны другие варианты воспоминаний Белого о Жоресе).

Снова Петербург.— Мережковские вернулись в Россию из Франции летом 1908 г. и вскоре же увиделись с Блоком.

Читает мне свою драму.— Имеется в виду «драматическая поэма» Блока «Песня судьбы» (1907—1908; впервые опубликована — Шиповник. Альманах 9. СПб., 1909). Поставлена она действительно не была. 28 января 1909 г. Гиппиус писала Блоку о ней: «...вся драма — переломная, стоит на самом моменте первого восстания *мысли* и *от этого* (как ни странно, что от этого, но я объясняю себе) — она местами аллегорична, она вся двойственна, есть схема — при всей ее «молодости», жизненной и умственной наивности. Некоторые места и мне (не? — *Н. Б.*) нравятся; но мне нравится ее сущность, сама ее *переломность*, мне нравится, что вы написали драму, которая не «нравится» — и не может «нравиться»... мне самой, с известной точки зрения» (*БС*, с. 169).

«Ты в поля отошла без возврата...» — первые строки стихотворения Блока «Вступление».

«...года проходят мимо...» — неточная цитата из стихотворения «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» — первая часть взята из первого стиха Блока, а вторая — измененный шестой (он же двенадцатый) стих: «Но страшно мне: изменишь облик Ты».

Она увлеклась театром.— В феврале 1908 г. Л. Д. Блок уехала в Витебск, где в то время находилась труппа В. Э. Мейерхольда, и гастролировала с ней до августа.

Каботинка — комедиантка (ф р.).

Религиозно-философское общество в Петербурге открылось 3 октября 1907 г. В октябре 1908 г. Мережковский стал товарищем председателя Общества, а Д. В. Философов — секретарем. См.: «Я услышала во время первых бесед с Гиппиус в октябре — ноябре — декабре (1909 г.— *Н. Б.*) 〈...〉 что при легальном «Религиозно-философском обществе», где, как в Московском литературно-художественном кружке, устраиваются диспуты, лекции и конференции, Зинаида Николаевна организовала еще «христианскую секцию», членов для которой надо было подбирать, прощупывать, зондировать и пропускать по субботам через квартиру в доме Мурузи. Членов этих было очень мало. А когда их «просеивали», то оставалось и еще меньше» (Шагинян Мариэтта. Человек и время. История человеческого становления. М., 1982, с. 272).

И он, и жена его — исчезли.— Об отношении Блока к Религиозно-философскому обществу см.: «Я захотел вступить в Религиозно-философское общество с надеждой, что оно измен〈и〉тся в корне. 〈...〉 У церкви спрашивать мне решительно нечего. Я чувствую кругом такую духоту, такой ужас во всем происходящем и такую невозможность узнать что-нибудь от интеллигенции, что мне необходимо иметь дело с новой аудиторией, вопрошать ее какими бы то ни было путями. 〈...〉 И главное, что я хотел сказать,— это то, что нам, интеллигентам, уже нужно торопиться, что, может быть, уже вопросов *теории* и быть не может, ибо сама практика насущна и страшна» (*Блок*, ЗК, с. 118—119).

Когда он ждал своего ребенка.— Это был ребенок Л. Д. Блок (род. 2 февраля, умер 10 февраля 1909 г.), усыновленный Блоком.

Уезжают за границу.— В Италию в апреле — июне 1909 г. 13 апреля Блок писал матери: «Вчера днем мы с Любой были у Мережковских, простились и перецеловались. Я их люблю все-таки — всех трех: в них есть вкус, злоба и воля» (*Блок*, VIII, 281).

«По вечерам, над ресторанами...» — из стихотворения Блока «Незнакомка».

«О, как паду, и горестно, и низко...» — из стихотворения Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...».

Он женился на московской барышне — в 1910 г. на Анне Алексеевне Тургеневой (Асе; 1890—1966). С. М. Соловьев действительно был женат на ее сестре Татьяне Алексеевне.

Д-р Штейнер Рудольф (1861—1925) — основатель и глава Антропософского общества. В Швейцарии, в Дорнахе около Базеля Белый жил в августе—октябре 1912 и в 1914—1916 гг., принимая участие в строительстве Гетеанума — антропософского центра.

Проездом в Финляндию — в мае 1913 г.

«Любовь к трем апельсинам» — «журнал доктора Дапертутто», т. е. В. Э. Мейерхольда. Блок фактически заведовал литературным отделом журнала. См. письмо Гиппиус к Мейерхольду от 7 ноября 1915 г., где рассказывается о том, как Блок переписывал для журнала стихотворение «Свободный стих» (*ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 455).

Сборник «Сирин» — издательство «Сирин», финансировавшееся М. И. Терещенко, выпускало альманахи (СПб., 1913—1915, 3 вып.), в работе над которыми Блок принимал деятельное участие.

Блок уже издал «Розу и крест» — в первом альманахе «Сирин». Планы постановки пьесы в МХТ были у Блока в 1913 и 1915—1918 гг., однако после приблизительно двухсот репетиций спектакль так и не был выпущен.

Ни с каким другим, кроме «черносотенного».— О своеобразном антисемитизме Блока см. его письмо от 19 апреля 1916 г. к А. И. Тинякову, незадолго до этого оказавшегося в центре скандала из-за сотрудничества в черносотенной печати: «Мы с вами почти одинаково думаем о евреях. Я не раз высказывал устно и письменно (хотя и не печатно) — евреям и неевреям — мысли, сходные с Вашими; иногда и страдал от этого, хотя далеко не так, как Вы. Возразить могу только вот что: как ни удивительно, что «Земщина» поместила письмо со столькими левыми оговорками (правда, я знаю «Земщину» только с чужих слов),— все-таки я не стал бы печатать подобных заявлений в подобной газете: это никому не слышно, тут нет ничего выходящего из ряду. Прекрасно знаю, что другие бы не напечатали; вообще я не раз перебирал всю цепь связанных с еврейским вопросом соображений, но никаких способов не придумал и предложить не могу; одно знаю,— что и «Земщина» — не способ. Второе — о моем чувстве к Андрюше Ющинскому; я вспоминаю, что оно было не-

сколько раз острым, но с делом Бейлиса не было связано; просто было чувство к измученному кем-то ребенку. Ну, еще всякие «оттенки»; например, Горький — не Бонч-Бруевич (ведь Вы знаете «Детство» и другое, многое). Временами все эти вопросы становятся для меня тяжелой болезнью; но сейчас я не чувствую этого, потому что у меня нет новых мыслей об этом. Думаю совсем о другом» (ГПБ, ф. 774, № 3). Несколько ранее (30 декабря 1915 г.) Гиппиус писала к тому же Тинякову: «Антисемитизм, между прочим, мне тоже кажется каким-то маленьким *трусливым* чувством. Вопреки рассудку и примитивному общекультурному ощущению — опять дрожь за слабое *свое*: съем жида, пока он меня не съел; отдам его на кухню, правительству, пусть пожарит, а я тогда, готовенького, с правом съем. К чему, Господи! Пусть солнце всходит над жидами и русскими, мне солнца не жалко. А вот тех русских, которые в борьбе с евреями жидовеют — мне жалко. Вопрос еврейства так глубок сам по себе, что стыдно подходить к нему, не отмыв себя начисто от всякого «анти»-семитизма» (т а м ж е, № 11). Следует отметить, что патологический антисемитизм Тинякова, сложное сплетение мыслей Блока и позиция Гиппиус располагались в разных, далеко не всегда соприкасавшихся плоскостях, что приводило к мнимым пересечениям и полемикам.

Моя пьеса «Зеленое кольцо» — была поставлена в Александринском театре 18 февраля 1915 г. Режиссером был В. Э. Мейерхольд, последнюю свою роль в этом спектакле сыграла знаменитая актриса Мария Гавриловна Савина (1854—1915). См. о ней воспоминания Гиппиус «Встречи с М. Г. Савиной» (*Возр.*, 1950, № 7).

Хотите, поедемте вместе? — См. запись Блока 5 февраля 1915 г.: «В 9-м часу вечера на репетицию «Зеленого кольца» с З. Н. Гиппиус» (*Блок*, ЗК, с. 255). Эта поездка также упоминается Гиппиус в послесловии к отдельному изданию пьесы (Пг., 1916).

Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна (1883—1971) — актриса.

Марья Федоровна Андреева (наст. фамилия Юрковская; 1868—1953) — актриса, жена М. Горького, после революции — заместитель комиссара просвещения по художественным делам в Петрограде. См.: *Дневники*, с. 43.

Длинная статья Блока — «Судьба Аполлона Григорьева» (Стихотворения Аполлона Григорьева. М., 1916). По поводу этой статьи Гиппиус написала Блоку большое и принципиальное письмо (*БС*, с. 199—202). Ее статья по поводу работы Блока — Огни, кн. 1. Пг., 1916.

«Поэтом можешь ты не быть...» — перефразированное (во втором стихе должно быть «гражданином») двустишие из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин».

«Все это было, кажется, в последний...» — из стихотворения Гиппиус «А. Блоку» (наст. изд., с. 178).

Служит в Земско-Городском Союзе.— «Земско-Городской Союз» — полувоенная организация, предназначенная для работ в прифронтовой зоне. Блок был призван 7 июля 1916 г. и зачислен в 13 инженерно-строительную дружину табельщиком.

Протопоповские пулеметы — от имени министра внутренних дел А. Д. Протопопова. См. запись Гиппиус 28 февраля 1917 г.: «Оказывается, пулемет и на нашей крыше, и на доме напротив, да и все ближайшие к нам (к Думе) дома в пулеметах. Их еще с 14 Протопопов наставил на всех высотах, даже на церквах (на соборе Спаса Преображения тоже)» (*Дневники*, с. 163).

Внезапное появление Б. Бугаева.— См. в той же записи: «Тут же явился Боря Бугаев из Царского, огорошенный всей этой картиной уже на вокзале (в Царском ничего, слухи, но стоят себе городовые). С вокзала к нам Боря полз 5 часов. Пулеметы со всех крыш. Раза три он прятался, ложился в снег, за какие-то заборы (даже на Кирочной), путаясь в шубе ⟨...⟩ бедный Боря, это гениальное, лысое, неосмысленное дитя — с ним (С. Д. Мстиславским.— *Н. Б.*) дружит. С ним — и с Ив⟨ановым-⟩Разумником, этим, точно ядовитой змеей укушенным,— «писателем» (*Дневники*, с. 164). *Иванов-Разумник* (Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) — литературный критик, публицист, близкий друг Белого и Блока.

Скоро, очень скоро после революции.— Блок уехал из дружины в ночь на 17 марта 1917 г. См. запись Гиппиус 22 марта: «Сегодня был А. Блок. С фронта приехал (он там в Земсоюзе, что ли). Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. (В начале-то на войну как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: «весело!» Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет ли?) Сейчас растерян. Спрашивает беспомощно: «Что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии?» (*Дневники*, с. 197—198; *ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 472).

Уехали на несколько недель на Кавказ.— Мережковские пробыли в Кисловодске с апреля по август 1917 г.

Корниловская история.— История контрреволюционного выступления генерала Корнилова представлялась Гиппиус так: «...уже с первого момента всем видно было, что НЕТ НИКАКОГО КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА. ⟨...⟩ Я почти убеждена,

что знаменитые дивизии шли в Петербург для Керенского,— с его полного ведома или по его форменному распоряжению» (*Дневники*, с. 240— 241).

Савинков... затевал антибольшевицкую газету.— См. запись Гиппиус 24 октября 1917 г.: «Я звала его в савинковскую газету, а он мне и понес «потерянные» вещи: что я, мол, не могу, я имею определенную склонность к большевикам (sic!), я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир назло английским империалистам... Честное слово! Положением России доволен — «ведь она не очень и страдает...». Слова «отечество» уже не признает... Все время оговаривался, что хоть он теперь и так, но «вы меня ведь не разлюбите, ведь вы ко мне по-прежнему?». Спорить с ним бесполезно. Он ходит «по ступеням вечности», а в «вечности» мы все «большевики» (*Дневники*, с. 267). Ср. запись самого Блока 15 октября 1917 г.: «Два телефона с З. Н. Гиппиус (и Мережковским). Я отказался от савинковской газеты («Час»)» (*Блок*, VII, 311).

«Потерянное дитя» — см. примеч. к стих. «А. Блоку».

«Но и такой, моя Россия...» — слегка неточная цитата из стихотворения Блока «Грешить бесстыдно, непробудно...».

Не то левого эсера.— Иванов-Разумник действительно был левым эсером, но не большевиком.

Его поэма «12» в сборнике «Скифы» напечатана не была.

«Плат узорный до бровей» — из стихотворения Блока «Россия».

Тоненькие серые книжки — надпись Блока, обращенная к Гиппиус, сделана на книге «Двенадцать. Скифы» (Пг., 1918). См.: *ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 49. Ср. обмен мнениями между Гиппиус и В. Ф. Ходасевичем по поводу выражения Блока «Вам — зеленоглазою наядой...» («Приложения»).

17 сентября по старому стилю.— Встреча Блока с Гиппиус произошла 3 октября (по старому стилю 20 сентября). См. упоминание: *Блок*, ЗК, с. 430.

Поэму свою «12» — возненавидел.— Очевидно, это не соответствует реальности. Известно, что весной 1921 г. Блок дарил свою поэму знакомым, что свидетельствовало о прежнем его отношении к ней.

Уезжал из Петербурга до первой станции.— Имеются в виду регулярные прогулки Блока, о которых М. А. Бекетова писала: «В начале лета 1920 года Ал. Ал. возобновил свои обычные прогулки с купаньем. Ему случалось с утра уходить в Стрельну после сытного завтрака, захватив с собой запас хлеба и шпика, и пропадать на весь день до вечера ⟨...⟩ Он купался, жарился на солнце и возвращался домой веселый, загорелый и бодрый» (Бекетова М. А. Александр Блок. Биографиче-

ский очерк. Л., 1930, с. 285—286). См. также воспоминания Е. Ф. Книпович «Об Александре Блоке» (М., 1987, с. 56—57).

«...И пусть над нашим смертным ложем...» — из стихотворения Блока «Рожденные в годы глухие...» (процитировано неточно).

ОДЕРЖИМЫЙ

Эпиграф — из шуточного стихотворения Гиппиус «Валерий, Валерий, Валерий, Валерий!..», включенного в статью «Два зверя» (*НП*, 1903, № 6).

С 18-го, кажется, года.— Брюсов вступил в РКП(б) в 1920 г.

Заявил себя цензором строгим.— См. в приложении рецензию В. Ходасевича.

«Почему я стал коммунистом».— См. там же. В июне 1919 г. Гиппиус записывала: «С Москвой, жаль, почти нет сообщений. А то бы достать книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом». Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. (Издавна злоупотребляет наркотиками.) Валерий Брюсов — один из наших «больших талантов». Поэт «конца века» — их когда-то называли «декадентами». Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и с Белым, с ним было трудно. ⟨...⟩ Брюсов другого типа. Он не «потерянное дитя», хотя так же безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я не жалею. Я жалею его самого» (*Дневники*, с. 27).

Называлось оно «Сумасшедший» — см.: Брюсов Валерий. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1. М., 1973, с. 83—84.

Календарь Гатцука — справочное издание, выходившее в конце XIX в. и содержавшее богатый набор сведений по истории, географии, статистике и пр.

Предсказания Брюса.— Яков Вилимович Брюс (1670—1735) был генерал-фельдмаршалом, составителем и редактором так называемого «Брюсова календаря» (1709) с предсказаниями на будущее. В конце XIX в. во многих календарях печатались т. н. «брюсовские предсказания», никак с оригинальными не связанные. В календарях Гатцука их не было.

С Брюсовым познакомились в Петербурге — в январе 1898 г. (см.: *Брюсов. Дневники*, с. 53).

Брюсов... создает журнал «Весы».— Журнал выходил с 1904 г.

Сборники «Северные цветы» выходили с 1900 г.

Mille e tre — слова из арии Лепорелло в опере Моцарта «Дон Жуан» (либретто Л. Да Понте).

Жена его — Иоанна (Жанна) Матвеевна, урожд. Рунт (1876—1965).

Когда она бывала при смерти — см. в дневниках Брюсова под 1901 годом: «Весь август прошел в болезни жены. У нас родилась мертвая девочка, и И. М. очень хворала. Я почти никого не видел и почти ничего не делал» (ГБЛ, ф. 386, к. 1, ед. хр. 15).

Брюсов жил на Цветном бульваре с 878 по 1910 год, после чего переехал на 1-ю Мещанскую, 32.

«Кружок» — Московский Литературно-художественный кружок существовал с 1898 по 1920 г. Брюсов был его председателем с 1908 г.

Мережковский... читал лекции.— См., например, о лекции 6 декабря 1901 г., которую прежде всего имеет в виду Гиппиус: «На лекции было народу мало, так как Психолог⟨ическое⟩ Общ⟨ество⟩ страха ради иудейска не печатало объявлений. Читал М⟨ережковск⟩ий хорошо, и глаза его сверкали... ⟨...⟩ Доклада не понял никто. ⟨...⟩ После лекции, мы, скорпионы, влекли было М⟨ережковск⟩их с собой, а члены Псих⟨ологического⟩ Общ⟨ества⟩ — с собой. Устроилось примирение и общий ужин в «Славянском ⟨Базаре⟩». Участвовали: М⟨ережковск⟩ие, С. А. Поляков, Балтр⟨ушайтис⟩, я, Ю. Бартенев, С. Шарапов, Бугаев, Трубецкой, Лопатин, Рачинский. Примирить элементы не было возможности. Бугаев опять говорил с точки зрения монадологии. Мне было это мучительно, ибо когда-то я сам был ученик Лейбница. З. Н. пыталась устроить общий разговор, задав вопрос о браке, ничего не вышло. После Бугаев рассказывал о своих столкновениях с чертом — любопытно. Еще после читали стихи: я, З. Н., Балтрушайтис. ⟨...⟩ Я читал опять свое некрофилическое стихотворение. Все недоумевали. Бугаев намекнул, что за это полагается каторга, а Д. С. в исступлении вопиял: «Это единственный путь к богу отцу!» (*Брюсов. Дневники*, с. 112). *Бугаев* Николай Васильевич (1837—1903) — математик, профессор Московского университета; *некрофилическое стихотворение* Брюсова — «Призыв» (Золотое руно, 1906, № 1).

«Я долго был рабом покорным...» — из баллады Брюсова «Раб». О тексте стихотворения см. полемику Ходасевича и Гиппиус в приложениях.

Мне — Брюсов нравился уже тем, что был так ясен для меня.— Отчасти это подтверждается черновиками писем Брюсова к Гиппиус, хранящимися в его архиве, где отчетливо видно желание Брюсова усложнять строй своей мысли.

Брестский вокзал — ныне Белорусский.

«Неуместные рифмы» — два стихотворения, объединенные

этим заглавием, были напечатаны в альманахе «Северные цветы» (М., 1911). Гиппиус не вполне точно цитирует последнюю строфу первого из них.

«Неколебимой истине...» — две первые строфы из стихотворения Брюсова «З. Н. Гиппиус».

Успел ли Брюсов тогда начать «прославление» революции.— См. в дневнике Брюсова: «Не скажу, чтобы наша революция не затронула меня. Конечно, затронула. Но я не мог выносить той обязательности восхищаться ею и негодовать на правительство, с какой обращались ко мне мои сотоварищи (кроме очень немногих). Я вообще не выношу предрешенности суждений. И у меня выходили очень серьезные столкновения со многими. В конце концов я прослыл правым, а у иных и «черносотенником» (*Брюсов. Дневники*, с. 136—137). Подробнее см.: Литвин Э. С. Революция 1905 г. и творчество Брюсова.— Революция 1905 г. и русская литература. М.— Л., 1956; Максимов Д. Русские поэты начала XX века. Л., 1986, с. 134—143.

Мы видели его в это время лишь раз.— Очевидно, весной 1905 г., когда Брюсов с Н. И. Петровской ехал в Финляндию. К этому времени относится брюсовская запись: «Почти со всеми порвал сношения, в том числе с Бальмонтом и Мережковскими» (*Брюсов. Дневники*, с. 136).

Очень скоро потом мы уехали в Париж — 14 марта 1906 г.

У «Весов» появились соперники.— Прежде всего, журнал «Золотое руно», который Гиппиус резко критиковала (см.: Товарищ Герман. Золотое руно.— Весы, 1906, № 2), выходивший в 1906—1909 гг. Другие журналы, очевидно, «Искусство» (1905) и «Перевал» (1907).

«Проза поэта».— Эта рецензия была опубликована не в «Русской мысли», а как раз в «Весах» (1907, № 3). Говоря о статье в «Русской мысли», Гиппиус, очевидно, имеет в виду статью (подписанную ее постоянным псевдонимом Антон Крайний) «Свой (Валерий Брюсов, человек-поэт)».— Русская мысль, 1910, № 2.

Мертвенный холод Брюсова.— См. в письме Брюсова к Гиппиус, написанном между 16 и 21 апреля 1907 г.: «Вы, говоря о каком-то поклоннике Людмилы Николаевны (о Розанове?), сказали: «обладателе, как и вы (т. е. как и я), *разожженной плоти*». Боже мой! Вы, говорившая со мной, читавшая меня, писавшая обо мне статьи, осудившая понимание меня «несложными душами моих почитателей»,— неужели вы не знаете, что ко мне могут быть приложимы разные эпитеты, но именно не этот! 〈...〉 В разных частях своего существа испыты-

вал я «разожженность», но только не в «плоти», и уже если кто, так я должен применить к себе слова Лермонтова:

И царствует в душе какой-то холод странный,
Когда огонь кипит в крови» (*ЛН*, т. 85, с. 693—694).

В ответном письме Гиппиус развила эту тему. *Людмила Николаевна* — Вилькина (1873—1920), поэтесса и переводчица, вторая жена Н. М. Минского, занесенная Брюсовым в список «Мои прекрасные дамы».

Почти... некрофильскими.— См. в письме Мережковского к Брюсову от 29 января 1906 г.: «До сих пор не можем забыть Вашего некрофильского стихотворения: оно поразительно, и чем больше о нем думаешь, тем поразительнее» (ГБЛ, ф. 386, к. 94, ед. хр. 44).

«Русская мысль» — широко известный либеральный журнал. В 1907 г. его редакторами стали Петр Бернгардович *Струве* (1870—1944) и Александр Александрович *Кизеветтер* (1866—1933). Близко к редакции стоял и философ Семен Людвигович *Франк* (1877—1950). В 1908—1909 гг. Мережковские также «входили в журнал», а Д. С. Мережковский даже был редактором литературного отдела.

С одним толстым журналом.— 12 сентября 1908 г. Гиппиус писала Блоку: «Пишу вам вот по какому случаю. С сегодняшнего дня журнал «Образование» и газета «Утро» окончательно перешли *в наши руки* и будут издаваться оба под редакцией одного и того же «редакционного комитета» (чисто политической и экономической частью заведуют Богучарский и Прокопович). Наш первый № Утра выйдет в понедельник; а первая *наша* книжка Образования — сентябрьская» (*БС*, с. 158). Однако журналист Илья Маркович *Василевский* (псевдоним *Не-Буква*, 1882—1938), издатель «Утра» и «Образования», отверг их претензии на полную свободу в журнале, что повлекло за собой отказ от участия в нем вообще.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — политическая деятельница, публицистка. *Богучарский* (Василий Яковлевич Яковлев; 1860 или 1861—1915) — публицист, историк революционного движения.

Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929) — художник и издатель. Гиппиус писала о нем: «...присосавшись к Горькому, Зиновий делает попутно и свои главные дела: какие-то громадные, темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой, и даже с какими-то «масленками»; Бог уж их знает, что это за «масленки». ⟨...⟩ К писателям Гржебин относится теперь по-меценатски. У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) издательство. Он скупает

всех писателей с именами,— скупает «впрок»,— ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета,— и как выгодно приобретенная! Буквально, буквально за несколько кусков хлеба! Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин» (*Дневники*, с. 34).

Воздвиженка — улица в Москве (ныне часть проспекта Калинина). Редакция «Русской мысли» находилась в Ваганьковском переулке (ныне ул. Маркса—Энгельса).

«Альциона» — издательство, возникшее лишь в 1910 г.

Он... не встречался с издателем «Золотого руна».— Можно предполагать, что в мемуарах здесь какая-то путаница. Издателем и редактором «Золотого руна» был миллионер Н. П. Рябушинский, который в конце 1908 г. после попытки самоубийства был серьезно болен. Наиболее конфликтный случай столкновения «Весов» и «Золотого руна» в этот период — исключение С. М. Городецкого из числа сотрудников «Весов», однако он не может иметься в виду, т. к. Брюсов был принципиальным противником этой акции.

Брюсов покинул Цветной бульвар.— В 1908 г. он еще жил на Цветном бульваре, и новый его дом был вовсе не «против Сухаревки» (см. в приложении рецензию В. Ф. Ходасевича).

Дольше держались альманахи «Северные цветы».— «Весы» прекратились в 1909 г., а последний выпуск «Северных цветов» появился в 1911 г. Однако как серийное издание «Северные цветы» прекратились уже в 1903 г., и последний выпуск был запоздалым исключением.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — экономист, историк, политический деятель.

«Тройка» — имеется в виду статья Блока «Россия и интеллигенция», публиковать которую Струве отказался.

Заместителем нашим... стал числиться Брюсов.— Брюсов был редактором литературно-критического отдела «Русской мысли» в 1910—1912 гг. См. подробнее: Брюсов В. Я. Письма к П. Б. Струве.— Литературный архив, 5. М.—Л., 1960.

Под таинственным псевдонимом «Нелли».— Имеется в виду книга Брюсова «Стихи Нелли» (М., 1913). В архиве Брюсова осталось продолжение этой книги, опубликованное лишь недавно. См.: Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» — литературная мистификация Валерия Брюсова.— Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1985. М., 1987.

Кто-то прислал ко мне юного поэта.— История рекомендации О. Э. Мандельштама Брюсова описана Гиппиус весьма неточно. 25 октября 1910 г. она писала Брюсову: «Некий неврастенический жиденок, который года два тому назад еще

плел детские лапти, ныне как-то развился, и бывают у него приличные строки. Он приходил ко мне с просьбой рекомендовать его стихи вашему *вниманию.* Я его не приняла (уж очень он устанный), но стихи велела оставить, прочла и нахожу, что «вниманию» вашему рекомендовать я их могу, а что вы дальше с ними будете делать — это меня уже не трогает, и вы лучше знаете. У него в прошлом году были в «Аполлоне» тоже ничего себе стихи. В этих, на мой взгляд, много невыдержанностей и «рокови́сто», но попадаются недурные строки». Подробнее см.: Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова. Публ. А. А. Морозова.— Вестник русского христианского движения, 1979, № 129.

Статья в «Истории русской литературы».— Брюсов В. З. Н. Гиппиус.— История русской литературы XX века, т. 1. М., 1914. С фонетической точки зрения Брюсов разбирает стихотворения Гиппиус «Весенний ветер» и «Боль».

Вопрос, в связи с делом Бейлиса, об исключении В. В. Розанова.— В ряде статей (собранных в книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», СПб., 1914) В. В. Розанов утверждал, что ритуальное употребление христианской крови является неотъемлемой частью иудаизма. Посчитав эти выступления противоречащими духу христианства, Мережковские начали кампанию за его исключение из Религиозно-философского общества. В ситуации начала 1914 г., когда Розанов предал огласке намерение Мережковского сотрудничать в «Новом времени» (подробнее см. в примечаниях В. Г. Сукача к публикации «Мимолетного» Розанова.— Контекст 1989. Литературно-теоретические исследования. М., 1989, с. 222), это выглядело чрезвычайно неэтичным.

Молодая, скромная поэтесса — Надежда Григорьевна Львова (1891—1913). Об обстоятельствах ее смерти см.: Ходасевич В. Некрополь. Bruxelles, 1939.

Мы... собирались чествовать... Верхарна.— Бельгийский поэт Эмиль Верхарн (1855—1916) был в Петербурге 23—26 ноября 1913 г. Банкет в его честь состоялся в гостинице «Франция».

Накануне банкета является Брюсов.— 14 декабря 1913 г. Гиппиус и Мережковский написали Брюсову совместное письмо, где Мережковский писал: «Для нее, для ушедшей, очень важно, как Вы будете жить, т. е. не в смысле «добродетели», «нравственности», а в смысле основной глубокой воли жизни (к не-одиночеству). Вы ей можете помочь, как никто: через себя — ей. И я верю, что так и будет. Я в силу Вашу верю. Вы в ту страшную минуту не солгали, Вы правдивы были до конца перед ней и перед собой. А для такой правды нужна большая

сила. И она у Вас была и, значит, будет» (ГБЛ, ф. 386, к. 94, ед. хр. 45). Это письмо помогает представить содержание беседы Брюсова с Мережковскими в его ноябрьский приезд.

Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941) — поэт, о котором Брюсов неоднократно писал (наиболее подробно в статье «Игорь Северянин» — Собр. соч., т. 6). Об отношении Гиппиус к Северянину см. ее шуточное стихотворение «Передать — Игорю Северянину» (*СиП*, т. 2, с. 41).

«А я и Мирра — в стороне» — из стихотворения Северянина «Поэза вне абонемента».

«Они свою образованность показать хочут» — реплика Дашеньки из пьесы А. П. Чехова «Свадьба».

«Вы такая экстазная, вы такая вуальная» (в оригинале: «Вы такая эстетная, вы такая изящная») — из стихотворения Северянина «Кэнзели».

«Я гений, Игорь Северянин» — из стихотворения «Эпилог».

«...сказал: я буду» — из того же стихотворения.

«Мне надоело быть «Валерий Брюсов»...» — из стихотворения Брюсова «L'ennui de vivre» (в оригинале: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов»).

«...кругом бездарь...» — из стихотворения Северянина «Прощальная поэза».

«Поэты, не пишите слишком рано...» — из стихотворения Гиппиус «Тише!» (наст. изд., с. 153).

«Бисмарк — солдату русскому на высморк» — из стихотворения Северянина «Германия, не забывайся!», вошедшего в сборник «Victoria regia».

Константинополь и Св. София.— Речь идет о стихотворениях Брюсова «Туркам», «Отрывок» («Там, где Геллеспонта воды...»), «На бомбардировку Дарданелл» (все — 1915).

Он постоянно в автомобиле ездит на фронт.— Брюсов был военным корреспондентом газеты «Русские ведомости».

«Еще не значит быть изменником» — из стихотворения Северянина «Еще не значит» (сборник «Victoria regia»).

Иероним Иеронимович *Ясинский* (1850—1931) — прозаик, действительно ставший на сторону советской власти.

МАЛЕНЬКИЙ АНИН ДОМИК

Основными источниками для данного очерка являются три публикации: Танеева А. А. Страницы моей жизни.— Русская летопись, 1922, № 4; Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. 2 тома. Берлин, б. г.; Трагическая судьба русской императорской фамилии. Воспоминания бывшего воспитателя наследника цесаревича

Алексея Николаевича Пьера Жильяра. Ревель, 1921 (или ее французский оригинал).

Редактор газеты «День».— Редактором газеты в это время был С. П. Скворцов. Однако, вероятно, имеется в виду редактор литературного отдела ее историк и литературовед Павел Елисеевич Щеголев (1877—1931).

Очаровательная женщина — баронесса Варвара Ивановна Икскуль фон Гилленбанд (1846—1928).

Урусов Александр Иванович (1843—1900) — известный адвокат и литератор, дружный с Гиппиус. После его смерти она писала В. Д. Комаровой: «Тут еще смерть Урусова, которая на меня ужасно подействовала. Мы обе с вами его от души любили. Он ни разу не приезжал в Петербург без того, чтобы не провести у нас вечер или два. Это был истинно незаменимый человек, сердце у него было редкое, удивительное» (ЦГАЛИ, ф. 238, оп. 1, ед. хр. 154).

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1918) — юрист, поэт, литературный критик.

Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — председатель Совета министров с января 1914 по январь 1916 г. См.: «Смутно помню этого Горемыкина в давние времена у баронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал на всех вечерах и назывался «серым другом» (*Дневники*, с. 125—126).

Илиодор (в мире Сергей Труфанов; 1880—1958) — священник, проповедник черносотенного толка, автор разоблачительной книги о Распутине «Святой черт».

Щетинин Алексей Григорьевич (1854 — после 1916) — основатель секты. См. о нем подробнее: Материалы к истории и изучению религиозно-общественного движения в России, вып. 7. Пг., 1916 (этот сборник вышел под редакцией В. Д. Бонч-Бруевича, что было замечено Гиппиус). Несколько более подробно она писала о Щетинине еще раз: *ДМ*, с. 202—203.

Варнава (в мире Василий Накропин; 1859—1924) — архиепископ Тобольский и Сибирский.

«Штандарт» — яхта Николая II.

Николай Николаевич, великий князь (1856—1929) — главнокомандующий в 1914—1915 гг.

Г-жа Гедройц — Вера Игнатьевна Гедройц (1876—1932) — врач Царскосельского дворцового лазарета, поэтесса (писала под псевдонимом Сергей Гедройц).

Генерал Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — верховный главнокомандующий в 1917 г.

Саблин Николай Павлович (1880— ?) — контр-адмирал, в 1916—1917 гг. командир императорской яхты «Штандарт».

Самарин Александр Дмитриевич (1869—1935) — и. д. обер-прокурора Синода с 5 июня по 26 сентября 1915 г.

Раев Николай Павлович (1856— ?) — обер-прокурор Синода с 1916 г.

Питирим (в мире Павел Окнов; 1858—1921) — петроградский митрополит с 1915 г.

Китченер Горацио Герберт (1850—1916) — английский военный деятель, фельдмаршал, с 1914 — военный министр.

«Вилла Роде» — известный петербургский ресторан.

Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — министр внутренних дел в 1915 г.

Андроников Михаил Михайлович (1875—1919) — политический авантюрист, близкий к Распутину.

Белецкий Степан Петрович (1873—1918) — директор департамента полиции, товарищ министра внутренних дел в 1912—1915 гг.

Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — премьер-министр и министр внутренних дел в 1916 г.

Генерал Иванов Николай Иудович (1851—1919) — до марта 1916 г.— командующий Юго-Западным фронтом, 27 февраля 1917 г. назначен командующим Петроградским военным округом.

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев; 1829—1908) — настоятель Андреевского собора в Кронштадте, один из наиболее популярных религиозных деятелей конца XIX и начала XX в. Канонизирован в 1990 г.

Гурлянд Илья Яковлевич (1869— ?) — член совещания министра внутренних дел, директор-распорядитель Петроградского телеграфного агентства. В 1916-м — директор «бюро печати».

Лето 16-го года.— См. запись, сделанную в июле 1916 г.: «Вернулись из Кисловодска, жаркое лето, едем через несколько дней на дачу. Сейчас, в светлый вечер, стояли с Димой на балконе. Долго-долго. Справа, из-за угла огибая решетку Таврического сада, выходили стройные четырехугольники солдат, стройно и мерно, двигались, в равном расстоянии друг от друга,— по прямой, как стрела, Сергиевской — в пылающее закатным огнем небо. Они шли гулко и пели. Все одну и ту же, одну и ту же песню. Дальние, влево, уже почти не видны были, тонули в алости, а справа все лились, лились новые, выплывали стройными колоннами из-за сада.

Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...

Так и не было конца этому прощанью, не было конца этому серому потоку. Сколько их! До сих пор идут. До сих пор поют» (*Дневники*, с. 132).

Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918) — министр внутренних дел и шеф жандармов в 1916 г. См. сделанную 29 октября 1916 г. запись Гиппиус о нем: «Надо отметить, что он сделался тов⟨арищем⟩ председателя Государственной Думы лишь выйдя из сумасшедшего дома, где провел несколько лет. Ярко выраженное религиозное умопомешательство» (*Дневники*, с. 138).

Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — председатель Государственной Думы; *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — промышленник, лидер партии октябристов; *Трепов* Александр Федорович (1862—1928) — в 1916 г. председатель Совета министров.

Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — председатель Всероссийского Земского союза, председатель Совета министров при Временном правительстве.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — лидер партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства.

Поливанов Алексей Андреевич (1855—1920) — был военным министром с июня 1915 по март 1916 г.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — черносотенец, член Государственной Думы. См. его книгу «Убийство Распутина» (Париж, 1923). Кроме него, в убийстве Распутина принимали участие князь Ф. Ф. Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович.

На подоконниках лежат — солдаты.— См. запись июня 1919 г.: «Все хорошо. Все как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разно: то с самого утра, то попозже. Но заведя — уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. Кто не дудит — лежит брюхом на подоконниках, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар. ⟨...⟩ Инвалиды (и почему они — инвалиды? все они целы, никто не ранен, госпиталя тут нет) — «инвалиды» — здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты» (*Дневники*, с. 23—24).

ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК

Отношения Мережковских с Василием Васильевичем Розановым (1856—1919) были длительными и нередко весьма конфликтными. Однако Гиппиус эти конфликты, чрезвычайно

ранившие Розанова, старается затушевывать. Цитаты из книг Розанова «Уединенное» (СПб., 1912) и «Опавшие листья» ([Короб первый]. СПб., 1913) не раскрываются.

Шперк Федор Эдуардович (1872—1897) — малоизвестный философ, друг Розанова.

Бывший учитель в провинции.— Розанов преподавал в 1880—1890-е гг. историю и географию в гимназиях различных провинциальных городов — Брянск, Елец, Белый.

Его жена — Варвара Дмитриевна Бутягина. *Падчерица* — Александра Михайловна Бутягина (ум. 1920). У Розановых было четыре дочери (одна умершая в младенчестве) и сын.

Не знаю, каким он был учителем.— См.: «...учительство не было его призванием, и не к учительству тянулась его душа. Он чувствовал себя не на месте в этой роли» (Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пб., 1922, с. 11).

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — один из крупнейших деятелей русского искусства конца XIX и первой трети XX в., издатель журнала «Мир искусства». *Нурок* Альфред Павлович (1860—1919) — музыкальный деятель.

Старик Суворин — Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — писатель, издатель газеты «Новое время», в которой постоянно сотрудничал Розанов. Гиппиус состояла с Сувориным в переписке, в 1904 г. он обещал поддержку журналу «Новый путь». Одно время Мережковский думал о сотрудничестве в «Новом времени» (см.: *Максимов*, с. 167—168).

Наконец, собрания... были разрешены.— Первое Религиозно-философское собрание состоялось 29 ноября 1901 г.

Еп. Сергей Финляндский — Сергий, епископ Ямбургский (в мире Иван Страгородский; 1867—1944),— впоследствии — патриарх Московский и всея Руси.

Арх. Сергий (в мире Иоанн Спасский; 1830—1904).

Митрополит Антоний (в мире Александр Вадковский; 1846—1912) — церковный деятель и писатель, митрополит Петербургский и Ладожский с 1898 г.

Скворцов Василий Михайлович (1859—1932) — чиновник Синода, редактор журнала «Миссионерское обозрение».

Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — впоследствии чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, богослов. См. о нем: «Высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, но не по-русски, а по-итальянски (как бы «с ленцой»), чернокудрый и чернобородый, он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские у него были глаза и такой детский смех. Помню, как он пришел к нам в первый раз: сидел, большой и робкий, с мягкими концами

разлетающегося галстука. Замечательна его талантливость, общее пыланье и переливы огня. Оратор? Рассказчик? Пророк? Все вместе. От пророка было у него немало, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема» (*ДМ*, с. 94—95).

С громадной и страшной статуей Будды в углу.— Читая статью Гиппиус «Перед запрещением» (Последние новости, 1931, 2 октября), где была схожая фраза, А. Н. Бенуа пометил на полях газетной вырезки: «Вовсе не Будда, а очень страшный (монгольский) шайтан, с рогами, клыками, весь мохнатый и огромного роста; он был спрятан *за черной доской* на мольберте, служившей для чертежей на докладах Географич⟨еского⟩ Общ⟨ества⟩» (ЦГАЛИ, ф. 938, оп. 2, ед. хр. 335). См. также: Б е н у а Александр. Мои воспоминания. Книги четвертая, пятая. М., 1980, с. 292—293.

«Живец» — представитель так называемой «живой церкви», популярной в СССР в двадцатые годы.

Ефим Александрович Егоров (1861— ?) — секретарь Религиозно-философских собраний и журнала «Новый путь».

«Кудрявый Валентин» — В. А. Тернавцев.

В Англию во время войны ездила... такая неподобная тройка.— В феврале — марте 1916 г. группа русских журналистов (помимо названных Гиппиус в нее входили еще В. Д. Набоков и А. А. Башмаков) была в Англии и Франции. «Неподобство» Чуковского и А. Н. Толстого состояло для Гиппиус в том, что они признали советскую власть.

Василевский Не-Буква.— См. примеч. к очерку «Одержимый».

Жена одного писателя петербургского.— Речь идет об Аполлинарии Прокофьевне Сусловой-Розановой (1840—1918). См.: С у с л о в а А. Годы близости с Достоевским. М., 1928.

Во время болезни Варвары Дмитриевны.— С 1910 г. и до конца жизни жена Розанова была тяжело больна.

У меня от того времени одно осталось.— См. в неизданных отрывках из дневника Брюсова: «Розанов удивительно рассказывал раз о своей прошлой жизни, о своей первой жене. Она была любовница Достоевского. Р. был тогда мальчик. Она хотела, чтобы он б⟨ыл⟩ только ее amant (любовник.— ф р.— *Ред.*), но он хотел жениться. Она скоро возненавидела его. Изменяла открыто. Писала на него доносы. Не терпела его присутствия. «Бывало, умываюсь, гов⟨орил⟩ он, и слезы вместе с водой так и утираю полотенцем» (ГБЛ, ф. 386, к. 1, ед. хр. 16).

«Гоголь и о. Матфей» — исследование Д. С. Мережков-

ского «Судьба Гоголя» (*НП*, 1903, № 1—3), отдельное издание, под загл. «Гоголь и черт» — М., 1906. Под названием, упомянутым Гиппиус, был читан реферат Мережковского на Религиозно-философском собрании (*НП*, 1903, № 5).

«Мистическая роза на груди церкви» — имеется в виду статья Минского «О двух путях добра» («Северные цветы. Третий альманах изд-ва «Скорпион». М., 1903).

«Миква» — обряд женского очищения у иудеев. О его понимании Розановым см.: Розанов В. Юдаизм.— *НП*, 1904, № 8. Отклик Гиппиус — статья «Вечный жид» (*НП*, 1904, № 9).

Денница — т. е. Люцифер, дух зла.

«Темный лик» — книга Розанова «Темный лик. Метафизика христианства» [СПб., 1911].

Осенью 1902 года.— О возникновении журнала «Новый путь» см. наиболее подробно: *Максимов*, с. 129—169.

Довели без долгов до 1906 года.— Это утверждение неточно: в 1903 г. *НП* оказался в чрезвычайно трудном финансовом положении, а в конце этого года перешел в ведение группы «идеалистов». Перцов отказался от редакторства летом 1904 г., его сменил Д. В. Философов. С 1905 г. журнал выходил под названием «Вопросы жизни».

Денег у нас не было никаких.— Гиппиус снова неточна: «Первоначальный денежный фонд «Нового пути»⟨...⟩ составился из двух взносов: Перцова (3000 р.) и еще одного близкого к духовенству лица (В. А. Тернавцева — *Н. Б.*) ⟨...⟩ (2000 р.). К концу июня 1903 г. в кассу журнала поступило еще 3000 р., пожертвованных М. А. Морозовым. Этими тремя взносами, в общей сложности составившими 8000 р., исчерпывался весь принадлежащий «Новому пути» капитал вплоть до приглашения группы Булгакова» (*Максимов*, с. 163).

Пирожков Михаил Васильевич (1867—1927) — издатель, предоставлявший «Новому пути» помещение и взявший на себя на первых порах техническое обслуживание журнала. Впоследствии — издатель книг Мережковского.

Семенов (Семенов-Тянь-Шанский) Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт, впоследствии ушедший «в народ». Убит крестьянами у себя на хуторе в Рязанской губернии. См. подробнее: Минц З. Г. Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и его «Записки».— Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 414. Тарту, 1977.

Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, переводчик, теоретик стиха и художественного чтения.

У В. Иванова однажды везде «православие» обратилось в «католичество».— Эпизод верификации не поддается: един-

ственное прозаическое сочинение Вяч. Иванова, печатавшееся в *НП*,— исследование «Эллинская религия страдающего бога», в котором ничего подобного нет.

Эти места мы тщательно вычеркивали — см. в письме Гиппиус к П. Перцову от 14 апреля 1903 г.: «Из Розанова самовольно выну все неприличные, неуместные статьи и даже не скажу ему ничего. Я его не боюсь» (*Максимов*, с. 185).

Куда-нибудь в Кострому.— Перцов мог уезжать и в Кострому, и в Казань, откуда был родом.

Победоносцев... запретил Религиозно-философские собрания — 5 апреля 1903 г.

Архимандрит Михаил (в мире Павел Семенов; 1874—1916) — публицист, впоследствии старообрядческий епископ. 29 октября 1916 г. Гиппиус записывала: «Умер в Москве старообрядческий еписк. Михаил (т. н. Канадский) ⟨...⟩ Это был примечательный человек. Русский еврей. Православный архимандрит. Казанский духовный профессор. Старообрядческий епископ. Прогрессивный журналист, судимый и гонимый. Интеллигент, ссылаемый и скрывающийся за границей. Аскет в Белоострове, отдающий всякому всякую копейку. Религиозный проповедник, пророк «нового» христианства среди рабочих, бурный, жертвенный, как дитя беспомощный, хилый; маленький, нервно возбужденный, беспорядочно быстрый в движениях, заросший черной круглой бородой, совершенно лысый. ⟨...⟩ И как завершенно он кончил жизнь! Воистину «пострадал», скитаясь, полубезумный, когда «народ», его же «демократия» — ломовые извозчики — избили его, переломили 4 ребра и бросили на улице; в переполненной больнице для бедных, в коридоре лежал и умирал этот «неизвестный». Не только «демократия» постаралась над ним: его даже не осмотрели, в 40-градусном жару веревками прикрутили руки к койке,— точно распяли действительно» (*Дневники*, с. 137—138).

«Башня» — квартира Вяч. Иванова в Петербурге на Таврической улице, где еженедельно проходили так называемые «среды». См. о них: Бердяев Н. Ивановские «среды».— Русская литература XX века, ч. II, т. III. М., 1916.

Написал брошюру «Когда начальство ушло».—Книга (более 400 страниц!) издана в 1910 г.

«Литературная» дама — Людмила Николаевна Вилькина, вторая жена Н. М. Минского.

А какое же там, в Откровении, христианство? — Ср.: «Никакого нет сомнения, что Апокалипсис — не христианская книга, а — противохристианская» (Розанов В. Избранное. München, 1972, с. 453).

Синоптики — авторы синопсисов, т. е. кратких последовательных изложений каких-либо предметов, относящихся к истории или религии. Здесь, очевидно, имеется в виду сокращенное изложение толкований Священного писания, принадлежащее отцам церкви.

Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — богослов, философ, ученый-естественник широкого профиля. Литературовед и поэт Д. С. Усов 15 июля 1927 г. писал собирателю литературных материалов Е. А. Архиппову: «*Архив В. В. Розанова* находится в Сергиевом Посаде у П. А. Флоренского, который распорядился вынести его в сарай, говоря, что «он не выносит аромата этих рукописей» (ЦГАЛИ, ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 78).

Ольга Александровна *Флоренская* (1890—1914?).

Дочь Розанова, монахиня, покончила с собой — см.: «Вера Васильевна Розанова умерла в 1919 году весной вскоре после смерти отца. Покончила с собою...» (Литературная учеба, 1989, № 2, с. 120).

«Апокалипсис» — книга «Апокалипсис нашего времени», выходившая отдельными выпусками в 1917—1918 гг. (10 выпусков). Первый вышел 15 ноября 1917 г., т. е. сразу же после Октября.

Встреча Розанова с войсками.— Такого рассказа в «Апокалипсисе нашего времени» не обнаружено.

Сын их умер.— О судьбе сына Розанова (1899—1918) Гиппиус передает неверные слухи. См. примечания В. Г. Сукача к публикации «Сахарны» (Литературная учеба, 1989, № 2).

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — расстрелян в Валдае, а не в Вышнем Волочке.

Напишите Горькому.— Письмо Гиппиус Горькому от 11 ноября 1918 г. не опубликовано, хранится в архиве Горького. См.: Контекст 1978. М., 1978, с. 327.

Х⟨овин⟩ Виктор Романович — публицист, литературный критик, издатель, владелец книжного магазина. Издававшийся им журнал «Книжный угол» систематически пропагандировал творчество Розанова.

Первое письмо Розанова, написанное в декабре 1918 г. см.: Вестник литературы, 1919, № 8, а также: Литературная учеба, 1990, № 1, где опубликованы и другие предсмертные письма Розанова. Воспоминания Т. В. Розановой об отце, где подробно пишется о его последних днях, см.: Русская литература, 1989, № 3—4.

О «холоде» его предсмертном потрясающие слова.— См. письмо Розанова, адресованное «Литераторам» и посланное 17 января 1919 г.: «Нашим всем литераторам напиши, что боль-

ше всего чувствую, что холоден мир становится и что они должны больше и больше [стараться] как-нибудь предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой» (Вестник литературы, 1919, № 5, с. 8; *«заграничная газета»*, в которой перепечатано это письмо.— Накануне, 1922, 1 апреля).

Наверно, писал он Горькому.— Письмо Розанова Горькому от 20 января 1919 г. (видимо, неотправленное) опубликовано: Вестник литературы, 1919, № 8. Другие письма были опубликованы Горьким: Беседа, 1923, № 2.

ОТРЫВОЧНОЕ

Эпиграф — из стихотворения Сологуба «Люблю я грусть твоих просторов...» (цикл «Гимны Родине»).

«Быть с людьми — какое бремя!..» — из стихотворения Сологуба, начинающегося этой строкой.

«Тени» — Северный вестник, 1894, № 12. Стихи в этом журнале Сологуб печатал с 1892 г. «Ограда» — очевидно, стихотворение «Проходил я мимо сада...» (Северный вестник, 1896, № 10).

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — писатель, более всего известный повестью «Тарантас».

«...Приветствую тихие стены...» — из стихотворения Сологуба «Тихие стены».

Он учитель и директор — см.: «В 1892 году Сологуб переехал в Петербург, он получил место учителя математики Рождественского городского училища, с 1899 года он становится учителем, а затем инспектором Андреевского училища и членом Петербургского училищного совета» (Д и к м а н М. И. Поэтическое творчество Федора Сологуба.— В кн.: С о л о г у б Ф. Стихотворения. Л., 1979, с. 13).

Он жил с сестрой — Ольгой Кузьминичной Тетерниковой (1865—1907). После ее смерти Гиппиус писала Брюсову: «О смерти сестры Сологуба читала объявление, и очень я его жалею. Я ее знала и думаю, что для него это большая потеря».

«...Хочу конца, ищу начала...» — из стихотворения Сологуба «Наивно верю временам...».

Звезда Маир, Земля Ойле — символы из стихотворного цикла Сологуба «Звезда Маир», обозначающие миры недоступной мечты.

Дульцинея... дебелая Альдонса — постоянное противопоставление Сологуба, восходящее к роману Сервантеса «Дон

Кихот»: крестьянка Альдонса мечтой рыцаря превращается в красавицу дворянку Дульсинею Тобосскую.

Ева... Лилит — отсылка к стихотворению Сологуба «Я был один в моем раю...». Лилит — в еврейской мифологии — первая жена Адама, сотворенная, как и он, из глины, в отличие от второй — Евы, сотворенной из ребра Адама и потому ему подчиненной.

«Качайся, черт с тобой!» — из стихотворения Сологуба «Чертовы качели».

Переписка шутливая.— В целостном виде она сохранилась в копии литературоведа Д. М. Пинеса (ЦГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 70, указано А. Л. Соболевым). В переписку входят три стихотворения Гиппиус и два — Сологуба.

Случай с Вяч. Ивановым — см. недатированное письмо Гиппиус к Сологубу: «Федор Кузьмич! Когда был у вас Вячеслав Иванович и куда девался от вас? Лидия Дмитриевна (Зиновьева-Аннибал, жена Иванова.— *Н. Б.*) у нас и страшно беспокоится, в самом деле страшно, нигде его нет, ни дома,— ждем *немедленно* вестей от вас, все, все, что знаете» (ЦГАЛИ, ф. 482, оп. 2, ед. хр. 21).

«Все колдует, все морочит...» — В указанном списке этого стихотворения после стиха 10 следует еще два:

Не берись за что поплоше,
Брось Иванова с калошей.

«Ты не в круге...» — из стихотворения Гиппиус «Эко диво, ну и страх!..», входящего в ту же шутливую переписку.

«Водой спокойной отражены...» — см.: Сологуб Федор. Пламенный круг. М., 1908, с. 127 (впервые — *НП*, 1904, № 7; Гиппиус цитирует вариант книги).

«...в молчании...» — не вполне точная цитата из стихотворения Сологуба «Своеволием рока...».

«...Я — все во всем, и нет иного...» — из стихотворения Сологуба «В последнем свете злого дня...». В оригинале «я», «мне» и пр. выделены прописными буквами.

Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921) — переводчица, литературный критик, жена Сологуба с 1908 г.

Я — отсылка к статье Сологуба «Я. Книга совершенного самоутверждения» (Золотое руно, 1906, № 2). Ср. также название его книги «Литургия Мне. Мистерия» (М., 1907).

Иринушка, «Помнишь, не забудешь?» — Имеется в виду рассказ Сологуба «Помнишь, не забудешь» (Собр. соч., т. XIV. Книга стремлений. СПб., 1914).

«Не узнавай, куда я путь склонила...» — из стихотворения В. А. Жуковского «Голос с того света» (Из Шиллера).

«Я здесь один, жесток мой рок...» — из стихотворения Сологуба, начинающегося этими строками.

Писали радостно, что свершилось.— Более подробно об обстоятельствах, приведших к гибели Чеботаревской, см. в рецензии В. Ф. Ходасевича («Приложения»).

Глухой осенней ночью — 23 сентября 1921 г.

БЛАГОУХАНИЕ СЕДИН

Анна Михайловна *Евреинова* (1844—1919) — редактор журнала «Северный вестник» в 1885—1890 гг., первая русская женщина — доктор прав.

Сабашникова (в замуж. Евреинова) Антонина Васильевна (1861— после 1930) — издательница «Северного вестника» в первые годы его существования.

Льдов (Розенблюм) Константин Николаевич (1862 — после 1935) — поэт, популярный в 1880—1890-е годы, постоянный автор «Северного вестника».

Аполлон Аполлонович *Коринфский* (1868—1937) — поэт.

«...И грезят ландышей склоненные бокалы...» — из стихотворения Льдова «Не знаю почему — недвижная природа...» (1888).

«Как пламя дальнего кадила...» — первая строфа стихотворения Льдова без заглавия (Северный вестник, 1888, № 4). Последнюю строку Гиппиус цитирует неточно.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, редактор журнала «Русская старина». См. о круге знакомств Мережковских в те годы: «Куда только ни возил меня Д. С., кого только ни показывал! Очень было интересно, только очень уж много разнообразных кругов. Особенно пришелся мне тогда по душе кружок профессора Ореста Миллера. И сам он был удивительно приятный, и бывавшие у него студенты. Они напоминали мне недавний кружок моих гимназистов, и я там чувствовала себя хорошо, да и Дм. тоже. Напротив, у Семевского — все мне было чуждо: и стриженые (все еще!) курсистки, и их песни, и вообще какой-то... книжный воздух. В том смысле, что мне вспоминались старые романы вроде Чернышевского «Что делать» и всякое старое «студенчество» (*ДМ*, с. 46).

Полонский — цензор.— Он служил в Комитете иностранной цензуры и в Совете главного управления по делам печати в 1868—1896 гг.

Вейнберг Петр Исаевич (наиболее известный псевдоним — Гейне из Тамбова; 1831—1908) — поэт и переводчик. *«Море»* — самое популярное его стихотворение.

«Есть форма — но она пуста!..» — из стихотворения Полонского «Разговор».

«Что мне она? Не жена, не любовница...» — начало стихотворения Полонского «Узница».

«Писатель, если только он...» — стихотворение Полонского «В альбом К. Ш...».

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924) — ботаник и орнитолог, сотрудник «Нового времени».

Горбунов Иван Федорович (1831—1895) — артист и писатель, исполнитель собственных устных рассказов.

Антон Григорьевич *Рубинштейн* (1829—1894) — знаменитый пианист и композитор.

Жена гр. Алексея Толстого — Софья Андреевна, урожд. Бахметьева, в первом браке Миллер (1825—1895).

А ведь это Суворин! — Встреча с Сувориным и Чеховым произошла в 1891 г. Позже, 24 апреля 1894 г., Гиппиус писала Суворину из Венеции: «Венеция так напомнила мне вас и Чехова. ⟨...⟩ А хорошо было тогда, в отеле Бауер, за фалерно! С какой радостью я вспоминаю это время!» (ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2631).

Какой живой старик! — Это постоянная тема, проходящая через письма Гиппиус к Суворину.

Потом шли пить «фалерно» — ср. в письме Гиппиус от 9/23 мая 1894 г.: «Да, вы правы,— я иногда такой (так! — *Н. Б.*), какой вы меня тогда угадали, я все живая, я люблю все то, что есть, люблю и фалерно, и лунный свет, и кружева, и песни, и гондолу, но... не от рассудочности, не от вопросов о Боге, не от идей лишаю я себя кружев, фалерно и музыки. Я искренно и самостоятельно люблю искусство (ведь вы сами его любите), люблю некоторых мадонн, а без идей и вопросов о смерти, о Боге, думаю, и жить было бы невозможно. Но сознаюсь, что тоскую безумно и часто о том, о тех глупых и простых радостях, без которых трудно жить такой, какая я» (ЦГАЛИ, ф. 459, оп.1, ед. хр. 2631).

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — поэт, критик, драматург, пародист, постоянный автор «Нового времени», чрезвычайно враждебно относившийся ко всякому новому искусству.

Иветт Гильбер (1867—1944) — французская певица, исполнительница шансонеток. См. о ней: Воркунова Н. Тулуз-Лотрек. М., 1972, с. 121—132.

Тертий Иванович *Филиппов* (1825—1899) — писатель-славянофил консервативной ориентации.

Шекспировский кружок был открыт в Петербурге в конце 1875 г. как «частный кружок любителей» (Московские ведомости, 1875, 20 декабря).

Литературное общество существовало с 1886 г., его председателем был Петр Николаевич Исаков (1852—1917). Мережковский был действительным членом общества. См.: «Каждый понедельник Д. С. отправлялся в «Литературное общество» (*ДМ*, с. 53).

Потехин Алексей Антипович (1829—1908) — писатель.

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — певец, солист Мариинского театра. Его жена *Медея Фигнер* (1859—1952), итальянка по происхождению, также была солисткой Мариинского театра.

Ольга Андреевна *Шапир* (1850—1916) — писательница, символизировавшая для Гиппиус все зло бездарной описательной беллетристики.

Рассказывал нам про Достоевского.— Наиболее подробный анализ этого эпизода из биографии Достоевского см.: Федоров Г. А. «Помещик. Отца убили...», или История одной судьбы.— Новый мир, 1988, № 10. Версия, изложенная в воспоминаниях Гиппиус от имени Григоровича, была впервые обнародована дочерью Достоевского Любовью Федоровной. Следует отметить, что подобного рода рассказы (в том числе и про Достоевского) действительно были в обычае Григоровича. См.: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978, с. 75—109.

«Безобразный поступок «Века».— П. И. Вейнберг в фельетоне «Русские диковинки» (Век, 1861, 22 февраля) насмешливо описал публичное чтение отрывка из повести Пушкина «Египетские ночи», произошедшее в Перми, представив чтицу «жрицей разнузданного сладострастия». Подробнее см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. XIX. Л., 1979, с. 292—294.

Софья Андреевна Толстая (урожд. Берс; 1844—1919) — жена Л. Н. Толстого.

Николай Васильевич *Чайковский* (1850—1926) — политический деятель, публицист, после революции — в эмиграции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикуемая рецензия В. Ф. Ходасевича (Современные записки, 1925, кн. XXV) представляет собой наиболее содержательный отклик на мемуары Гиппиус и вносит значительное количество фактических уточнений. Письмо Гиппиус, написанное как ответ на рецензию и открывающее ряд ныне известных писем ее к Ходасевичу (Гиппиус З. Н. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978), определяет мно-

гие важные положения, касающиеся как текста мемуаров, так и собственной позиции Гиппиус.

Дело идет о предсмертной поре Розанова.— 15 июля 1925 г. Ходасевич писал Горькому по поводу «Живых лиц»: «...кое-что прилгнуто, в частности о Вас (по поводу Розанова). Я знаю, что Вы не любите этого, но придется мне написать, что Вы — не изверг, а напротив того. Не сердитесь: я не собираюсь восхвалять Ваши деяния, я только осторожно вправлю клевету, как вправляют грыжу» (Контекст 1978. М., 1978, с. 328).

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы и культуры, публицист.

Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо.— Это письмо полностью не опубликовано, и потому судить, насколько верно его содержание излагается в рецензии Ходасевича, трудно, но оно несомненно существует и частично процитировано по копии в архиве Горького (по которой его знал и Ходасевич) в статье М. А. Никитиной «М. Горький и Ф. Сологуб» (Горький и его эпоха, вып. 1. М., 1989, с. 200).

Н. А. Богомолов

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СОБРАНИЕ СТИХОВ. 1889—1903

СОБРАНИЕ СТИХОВ. КНИГА ВТОРАЯ. 1903—1909

ИЗ КНИГИ «СТИХИ. ДНЕВНИК 1911—1921»

У порога

Война

Революция

†

СИЯНИЯ

ЖИВЫЕ ЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Гиппиус З. Н.
Г 50 Стихотворения; Живые лица/Вступ. статья, Сост., подгот. текста, коммент. Н. Богомолова.— М.: Худож. лит., 1991.— 471 с. (Забытая книга).
ISBN 5-280-01327-7

Настоящее издание русской писательницы Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869—1945) составили 4 прижизненных поэтических сборника и книга «Живые лица», представляющая собой воспоминания о Блоке, Брюсове, Сологубе, Розанове и старших современниках Гиппиус — Плещееве, Полонском, Майкове, Вейнберге и др.

Г $\frac{4702010106-414}{028(01)-91}$ без объявл. ББК 84Р1



Зинаида Николаевна Гиппиус

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЖИВЫЕ ЛИЦА

Редакторы *Ю. Розенблюм, О. Ларкина*
Художественный редактор *Г. Масляненко*
Технический редактор *Л. Синицына*
Корректоры *О. Иванова, И. Шевякова*

ИБ № 6035

Сдано в набор 12.10.89. Подписано в печать 17.07.90. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,78. Усл. кр.-отт. 25,20. Уч.-изд. л. 24,17. Тираж 75 000 экз. Изд. № 1—3683. Заказ 313. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29


4 р. 50 к.